Ги де Мопассан

Пышка

Новеллы



Ги де Мопассан

Пышка

Новеллы

Перевод с французского

•



Москва
«Художественная литература»
1987

ББК 84.4Фр
М78

GUY DE MAUPASSANT

BOULE DE SUIF. NOUVELLES

Иллюстрации на обложке
Д. БИСТИ

Оформление
А. РЕМЕННИКА

М $\frac{4703000000-274}{028(01)-87}$ КБ-55-11-86

ПЫШКА

Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. Это было уже не войско, а беспорядочная орда. Бороды, отросшие у солдат за время отступления, были всклокочены, мундиры изорваны, и люди еле тащились, без знамен, вразброд. Измученные, подавленные, они, казалось, не в состоянии были ни думать, ни действовать и брели по привычке, а как только останавливались, падали от усталости. Особенно много было резервистов — мирных людей, безобидных рантье, изнемогавших под тяжестью винтовки, и солдат национальной гвардии, одинаково легко поддававшихся панике и воодушевлению, всегда готовых и к атаке и к бегству; среди них кое-где мелькали красные штаны — это были последние осколки дивизии, перемолотой в сражении; в одной шеренге с пехотинцами различных полков мелькали темные мундиры артиллеристов, изредка блестела каска тяжеловесного драгуна, с трудом поспевавшего за более проворной пехотой.

Проходили похожие на шайки разбойников отряды вольных стрелков с героическими наименованиями: «Мстители за поражение», «Граждане могилы», «Причастники смерти».

Командиры этих отрядов, бывшие суконщики или лабазники, недавние торговцы салом или мылом, случайные воины, произведенные в офицеры за деньги или за пышные усы, увешанные оружием, облаченные в мундиры с галунами, говорили громко и самодовольно, обсуждали планы кампании и похвалялись, что они одни поддерживают несчастную Францию; но вместе с тем они побаивались своих храбрых до безрассудства солдат — висельников, мародеров и распутников.

Поговаривали, что пруссаки вот-вот вступят в Руан.

Национальная гвардия, которая последние два месяца весьма осторожно вела разведку в окрестных лесах, подстреливая иногда своих же часовых и объявляя тревогу, стоило какому-нибудь зайчонку завозиться в кустах, разошлась по домам. Оружие, мундиры — все то грозное снаряжение, которым она еще недавно пугала придорожные столбы больших дорог на три мили в окружности, внезапно куда-то исчезло.

Последние французские солдаты переправились наконец через Сену, следуя в Понт-Одемер через Сен-Север и Бур-Ашар; позади всех, пешком, шел с двумя адъютантами генерал, удрученный, бессильный что-либо предпринять со своими разрозненными частями и сам растерявшийся от той страшной катастрофы, которая постигла великий народ, привыкший к победам, а теперь разбитый наголову, несмотря на свою легендарную храбрость.

Потом над городом нависла мертвая тишина, безмолвное ожидание неминуемой беды. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность за стойками и прилавками, со страхом ждали победителей, опасаясь, как бы те не сочли за оружие их вертела и большие кухонные ножи.

Жизнь в городе остановилась: лавки были закрыты, улицы опустели. Редкие прохожие, напуганные зловещей тишиной, робко жались к стенам.

Ожидание было столь мучительно, что даже вступление неприятеля, казалось, принесло бы облегчение.

На другой день после ухода французских войск, к вечеру, по городу промчались неведомо откуда взявшиеся уланы. Немного погодя по склону Сент-Катрин скатилась черная лавина; два других потока хлынули со стороны Дарнетальской и Буагийомской дорог. Авангарды всех трех корпусов одновременно появились на площади перед ратушей, и по всем соседним улицам развернулись батальоны германской армии, гулко печатая шаг по безлюдным мостовым.

Слова команды, выкрикиваемые непривычными гортанными голосами, достигали окон молчаливых домов, которые казались вымершими или покинутыми, а между тем из-за прикрытых ставней испуганные глаза украдкой разглядывали победителей, этих новых хозяев, получивших «по праву войны» власть над городом, над имуществом, над жизнью. Жители сидели в полутемных комнатах, объятые тем ужасом, какой вызывают великие катастрофы, грозные стихийные бедствия, перед которыми бессильны вся мудрость и вся мощь человека. Чувство ужаса охватывает нас всякий раз, когда установленный порядок ниспровергнут, сознание безопасности утрачено, когда все, что охранялось законами природы или законами людей, отдано во власть бессмысленной, грубой и беспощадной силы. Землетрясение, от которого жители целого города гибнут под обломками зданий, разлившаяся река, которая уносит тела утонувших крестьян вместе с трупами волов и сорванными стропилами крыш, или победоносная армия, которая убивает всех, кто защищается, уводит остальных в плен, грабит именем Меча и под грохот пушек возносит хвалу своему богу,— это бичи человечества, отнимающие у нас веру в извечную справедливость, в покровительство небес и разум человека.

Но у каждой двери уже стучались, а потом входили в дом небольшие отряды. За нашествием следовала оккупация. У побежденных появилась новая обязанность — проявлять любезность к победителям.

Прошло некоторое время, утих первый приступ страха, и снова воцарилось спокойствие. Во многих домах прусский офицер садился обедать за семейный стол. Если это был человек благовоспитанный, то он из вежливости жалел Францию, говорил, что ему тяжело участвовать в этой войне. Ему были признательны за такие чувства; к тому же в любой день могло понадобиться его покровительство. Угождая ему, пожалуй, удастся уменьшить постой на несколько человек. Да и к чему обижать того, от кого всецело зависишь? Ведь это даже не храбрость, это безрассудство. А руанские горожане теперь не грешат безрассудством, как во времена героических боев, которыми они прославились, обороняя свой город. И, наконец, каждый приводил неоспоримый довод, подсказанный французской учтивостью: у себя дома вполне допустимо быть вежливым с иноземным солдатом, лишь бы на людях не выказывать своей короткости с ним. На улице его не узнавали, но зато дома охотно беседовали с ним, и немец день ото дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у семейного камелька.

Да и сам город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дому, зато прусские солдаты так и кишели на улицах. Впрочем, офицеры голубых гусар, вызывающе волочившие по тротуарам свои длинные орудия смерти, по-видимому, презирали простых горожан не многим больше, чем офицеры французских егерей, выпивавшие в тех же кофейнях год тому назад.

И все же в городе чувствовалось что-то неуловимое и непривычное, его окутала какая-то чуждая, удушливая атмосфера, тяжелый, нестерпимый запах — запах нашествия. Он стоял в жилищах и в общественных местах, сообщал особый привкус кушаньям, порождал такое ощущение, будто путешествуешь по далекой стране, среди кровожадных диких племен.

Победители требовали денег, много денег. Жители платили и платили; впрочем, они были богаты. Но чем нормандский коммерсант богаче, тем сильнее страдает он от малейшего ущерба, от перехода мельчайшей крупицы своего достояния в чужие руки.

Между тем за городом, в двух-трех милях вниз по течению, возле Круасе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз поднимали с речного дна вздувшиеся трупы немецких солдат, зарезанных или убитых ударом кулака, с проломанной камнем головой или просто сброшенных в воду с моста. Речная тина скрывала эти жертвы тайной мести, жестокой и справедливой, эти подвиги безвестных героев, молчаливые ночные нападения, более опасные, чем битвы среди бела дня, и лишенные ореола славы.

Ненависть к Чужеземцу искони вооружает горсть Бесстрашных, готовых умереть за Идею.

Но так как завоеватели, хоть и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые, если верить молве, сопровождали их победоносное шествие,— жители в конце концов осмелели, и тяга к коммерции снова ожила в сердцах местных негоциантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, где стояли французские войска, и они надумали ехать сушей до Дьеппа, там сесть на пароход и добраться до Гавра.

Было пущено в ход влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд.

Итак, десять пассажиров, наняв большой дилижанс, запряженный четверкой лошадей, решили выехать во вторник утром, до рассвета, чтобы избежать стечения народа.

Уже несколько дней, как мороз сковал землю, а в понедельник днем, около трех часов, с севера надвинулись большие черные тучи, пошел снег и не прекращался весь вечер и всю ночь.

В половине пятого утра путешественники собрались во дворе «Нормандской гостиницы», где им надлежало сесть в карету.

Они еще не вполне проснулись и, дрожа от холода, зябко кутались в пледы и шали. В темноте они еле различали друг друга, а тяжелая зимняя одежда делала всех похожими на тучных кюре в длинных сутанах. Но вот двое пассажиров узнали друг друга, к ним подошел третий, и они разговорились.

— Я еду с женой,— сказал один из них.

— Я тоже.

— И я.

Первый добавил:

— В Руан мы уже не вернемся, а если пруссаки подойдут к Гавру, уедем в Англию.

У всех пассажиров были одинаковые намерения, так как это были люди одной среды.

А карету между тем все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался в одной темной двери и немедленно исчезал в другой. Из глубины конюшни доносился приглушенный соломенной подстилкой стук копыт и мужской голос, понукавший и бранивший лошадей. По тихому позвякиванию бубенцов можно было понять, что прилаживают сбрую; позвякивание вскоре перешло в отчетливый беспрерывный звон, отвечавший размеренным движениям лошади; иногда он замирал, затем сразу возобновлялся, и тогда слышался глухой стук подков.

Внезапно дверь затворилась. Все стихло. Озябшие путники умолкли; они стояли не двигаясь, оцепенев от холода.

Белые мелькающие хлопья все падали и падали на землю; они стерли очертания, опушили предметы льдистым мхом; и в великом безмолвии затихшего города, погребенного под покровом зимы, слышался лишь зыбкий, неясный, неизъяснимый шелест падающего снега,—скорее ощущение звука, чем самый звук, легкий шорох белых атомов, которые, казалось, заполняли все пространство, окутывали весь мир.

Человек с фонарем снова появился, таща на веревке понурую, нехотя переступавшую лошадь.

Он подвел ее к дышлу, привязал постромки и долго ходил вокруг, укрепляя сбрую одной рукой, так как в другой держал фонарь. Направляясь за второю лошадью, он заметил неподвижные фигуры путешественников, белые от снега, и сказал:

— Что же вы не сядете в дилижанс? Там хоть от снега укроетесь.

Они, вероятно, не подумали об этом и теперь гурьбой устремились к дилижансу. Трое мужчин посадили своих жен на заднее сиденье и вслед за ними влезли сами; потом другие закутанные и расплывчатые фигуры молча заняли последние места.

Пол дилижанса был устлан соломой, ноги тонули в ней. Дамы, сидевшие в глубине, разожгли медные грелки с химическим углем, которые они захватили с собой, и долго шепотом перечисляли друг другу их достоинства, повторяя все то, что каждой из них было давно известно.

Наконец, когда дилижанс, ввиду трудной дороги, был запряжен шестеркой лошадей вместо обычной четверки, чей-то голос снаружи спросил:

— Все сели?

Голос изнутри ответил:

— Все.

Дилижанс тронулся в путь.

Ехали медленно, очень медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу; кузов стонал и глухо поскрипывал; лошади скользили, храпели, от них валил пар; длинющий кнут возницы без устали хлопал, летал во все стороны, свиваясь и разворачиваясь, как тоненькая змейка, и с размаху стегал по выпуклому крупу то одну, то другую лошадь, чтобы она бежала веселей.

Между тем рассветало. Легкие снежинки, которые один из пассажиров, чистокровный руанец, сравнил с дождем хлопка, перестали сыпаться на землю. Мутный свет просачивался сквозь темные, тяжелые тучи, которые еще резче оттеняли ослепительную белизну полей, где виднелись то высокие деревья, покрытые инеем, то хижина под снежной шапкой.

При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством разглядывать друг друга.

В глубине дилижанса, на лучших местах, дремали друг против друга супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.

Луазо, бывший приказчик, купил дело у своего обанкротившегося хозяина и нажил состояние. Он по дешевке продавал мелким провинциальным торговцам самое дрянное вино и слыл среди друзей и знакомых отъявленным плутом, истым нормандцем — хитрым и жизнерадостным.

Репутация мошенника столь прочно укрепилась за ним, что как-то на вечере в префектуре г-н Турнель, сочинитель басен и куплетов, язвительный и острый ум, местная знаменитость, предложил дремавшим от скуки дамам сыграть в игру «птичка летает»;[1] шутка его облетела гостиную префекта, затем проникла во все гостиные города, и целый месяц вся округа покатывалась со смеху.

Помимо этого, Луазо славился своими забавными выходками, а также остротами, то удачными, то плоскими, и всякий, заговорив о нем, неизменно прибавлял: «Уж этот Луазо, он просто неподражаем!»

Он был невысокого роста и, казалось, состоял из одного шарообразного брюшка, над которым возвышалась красная физиономия, обрамленная седеющими бачками.

Его жена, рослая, энергичная, своевольная женщина, с резким голосом и решительным нравом, была воплощением порядка и расчета в их торговом доме, тогда как сам Луазо оживлял его своим весельем и кипучей деятельностью.

Подле них с явным сознанием своего достоинства и высокого положения восседал г-н Карре-Ламадон, фабрикант, особа значительная в хлопчатобумажной промышленности, владелец трех бумагопрядилен, офицер Почетного легиона и член Генерального совета. Во время Империи он возглавлял благонамеренную оппозицию с единственной целью получить впоследствии побольше за присоединение к тому лагерю, с которым он боролся, по его выражению, благородным оружием. Г-жа Карре-Ламадон, будучи гораздо моложе своего мужа, являлась истинным утешением для офицеров из хороших семей, назначенных в руанский гарнизон.

Она сидела напротив мужа, миниатюрная, хорошенькая, закутанная в меха, и сокрушенно разглядывала жалкую внутренность дилижанса.

Соседи ее, граф и графиня Юбер де Бревиль, носили одно из старинннейших и знатнейших нормандских имен. Граф, пожилой дворянин с величественной осанкой, старался ухищрениями туалета подчеркнуть свое природное сходство с королем Генрихом IV, от которого, согласно лестному семейному преданию, забеременела одна из его прабабок, а муж ее по сему поводу получил графский титул и губернаторство.

Граф Юбер, коллега г-на Карре-Ламадона по Генеральному совету, представлял орлеанистскую партию департамента. Женитьба его на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но так как графиня обладала аристократическими манерами, устраивала блестящие приемы и даже слыла за бывшую возлюбленную одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать увивалась вокруг нее, и ее салон считался первым в департаменте — единственным, где сохранилась еще старинная любезность и попасть в который было нелегко.

Состояние Бревилей, целиком вложенное в недвижимость, приносило, по слухам, пятьсот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть особ занимали глубину кареты и олицетворяли обеспеченный, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей влиятельных, религиозных и с твердыми устоями.

По странной случайности, все женщины разместились на одной скамье; рядом с графиней сидели две монахини, перебиравшие длинные четки и шептавшие «Отче наш» и «Богородицу». Одна из них была пожилая, с изрытым оспою лицом, словно в нее в упор выстрелили картечью. У другой,

[1] Игра слов: l'oiseau vole — птичка летает и Loiseau vole — Луазо ворует.

очень тщедушной, было красивое, болезнениое лицо и чахоточная грудь, истомлеиная той всепоглощающей верой, которая создает мучеников и фаиатиков.

Всеобщее виимаиие привлекали мужчииа и женщина, сидевшие против моиахииь.

Мужчииа был иебезызвестиый Кориюде, демократ, пугало всех почтеииых людей. Добрых двадцать лет окуиал ои свою длиииую рыжую бороду в пивиые кружки всех демократических кофееи. Ои прокутил со своими собратьями и друзьями довольио большое состояние, доставшееся ему от отца, бывшего коидитера, и с нетерпеиием ждал устаиовлеиия республики, чтобы получить наконец место, заслужеииое столь усердными революциоииыми возлияниями. Четвертого сеитября, быть может, введеиый в заблуждеиие чьей-нибудь шуткой, ои почел себя иазиачеииым иа должиость префекта; но когда ои вздумал приступить к исполнению своих обязаииостей, писари, оказавшиеся едииствеиыми хозяевами префектуры, ие пожелали его призиать, и ему пришлось ретироваться. Будучи в общем добрым малым, безобидиым и услужливым, ои с иеобычайиым рвением прииялся за оргаиизацию обороиы. По его распоряжеиию в полях вырыли волчьи ямы, в окрестиых лесах вырубили молодые деревца и все дороги покрыли западиями; удовлетвореиый принятыми мерами, он с приближением врага поспешио отступил к городу. Теперь он полагал, что гораздо больше пользы прииесет в Гавре, где тоже придется рыть траишеи и устраивать заграждеиия.

Жеищииа — из числа так называемых особ легкого поведения — славилась своею иеобыкиовеииой полиотой, которая стяжала ей прозвище «Пышка». Малеиькая, кругленькая, заплывшая жирком, с пухлыми пальцами, перетяиутыми в суставах наподобие сосиcок, с лосиящейся гладкой кожей, с необъятиой грудью, распнравшей платье, она все же была привлекательна и пользовалась успехом — до такой степени радовала взор ее свежесть. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распустнться бутон пиона; глаза, великолепные, чериые, былн осеиены длинными густыми ресннцами, отчего они казалнсь еще темнее, а прелестный, маленький, влажный рот с мелкими блестящими зубками точно ожидал поцелуя.

Если верить слухам, она отличалась многими другими иеоценнмыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочиыми женщинамн началось шушуканье; слова «позор», «распутная девка» были произнесены столь внятным шепотом, что Пышка подняла голову. Она окинула своих спутников таким вызывающим и дерзким взглядом, что тотчас же наступила полнейшая тишина и все потупились, исключая Луазо, который игрнво посматривал на нее.

Вскоре, однако, разговор между тремя дамами возобновился: присутствие такой женщины неожиданно сблизило, почти сроднило их. Добродетельные супруги почувствовали необходимость объедиииться перед лицом этой бесстыжей продажной твари, ибо любовь законная всегда отиосится с презреннем к своей свободиой сестре.

Трое мужчии, в которых, при взгляде иа Корнюде, заговорили коисервативиые иистинкты, рассуждали о делах, и в тоне их чувствовалось презреиие к бедиякам. Граф Юбер рассказывал об уроие, причииеином ему пруссаками, о больших убытках, поиесеиных от кражи скота и гибели урожая, ио в словах его сквозила спокойная увереииость вельможи и миллиоиера, которого такой ущерб мог стесиить самое большее иа год. Г-и Карре-Ламадон ввиду неустойчивого положеиия хлопчатобумажиой промышлеииости заблаговременио позаботился перевести в Аиглию шестьсот тысяч фраиков — капиталец, прибережеиный про чериый деиь. Что касается Луазо, то ои ухитрился продать французскому интендантству весь запас дешевых вии, оставшийся иа складе, так что государство было должио ему огромиую сумму, которую ои и надеялся получить в Гавре.

И все трое дружелюбио поглядывали друг иа друга. Несмотря на разницу обществеииого положения, оии чувствовали себя собратьями по богатству, члеиами великого франкмасоиского ордеиа, объединяющего всех имущих, всех тех, у кого в кармаиах звенит золото.

Дилижанс двигался так медлеиио, что к десяти часам утра ие сделал и четырех миль. Три раза мужчииам пришлось иа подъемах вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать предполагалось в Тоте, а теперь уже ие было иадежды добраться туда раиьше иочи. Все выглядывали в окиа, надеясь увидеть какой-иибудь придорожный трактирчик, как вдруг карета застряла в сугробе; потребовалось добрых два часа, чтобы вызволить ее оттуда.

Голод усиливался, мутил рассудок, а на пути не попадалось ии едииой харчевни, ии едииого кабачка, ибо приближеиие пруссаков н отход голодных французскнх войск иагиали страх на владельцев всех торговых заведеиий.

Мужчииы бегали за съестиым иа фермы, встречавшнеся по дороге, ио не моглн купнть там даже хлеба, так как недоверчивые крестьяие пряталн свои припасы из страха перед голодиыми солдатами, которые отнимали все, что попадалось им на глаза.

Около часу пополудни Луазо заявил, что у него иестерпимо сосет под ложечкой. Все остальиые мучились не меньше его, и жестокий, все усиливавшийся голод давио отбил всякую охоту к разговорам.

Время от временн кто-нибудь из пассажиров начинал зевать; его примеру почти тотчас же следовал другой; соответствеиио своему характеру, воспитанию и общественному положению, каждый поочередно открывал рот, кто с шумом, кто беззвучно, быстрым движеиием заслоняя рукой отверстие, из которого валил пар.

Пышка несколько раз наклонялась, словио нащупывая что-то на полу, под своими юбками. Бросив нерешительный взгляд на соседей, оиа снова выпрямлялась. У всех были бледные, осунувшиеся лица. Луазо заявил, что готов уплатить тысячу франков за малеиький окорок. Его жена невольно сделала негодующее движение, но тотчас же успокоилась. Одио упомииаине о брошен-

иых иа ветер деньгах приводило ее в иегодоваиие, и оиа даже ие поиимала шуток иа этот счет.

— В самом деле, мие что-то ие по себе,— сказал граф.—Как это я ие позаботился о провизии?

Каждый мыслеиио упрекал себя в том же.

Одиако у Кориюде оказалась целая фляжка рома: ои предложил его желающим; все холодио отказались. Одии только Луазо согласился отхлебиуть глоток и, возвращая фляжку, поблагодарил:

— А ведь хорошо! Греет и заглушает голод.

Ром привел его в хорошее иастроеиие, и ои предложил поступить, как иа корабле, о котором поется в песенке: съесть самого жирного из путешествеиииков. От этого косвеииого иамека иа Пышку все благовоспитаииые пассажиры поморщились. Никто ие ответил г-иу Луазо; один Корнюде улыбиулся. Монахиии перестали бормотать молитвы и, запрятав руки в широкие рукава, сидели ие двигаясь, упорио ие подымая глаз, и с мучеиическим терпеиием переиосили ииспосланиое им испытаиие.

Накоиец часа в три, когда они ехали по бескоиечиой равнине без едииой деревушки, Пышка проворио нагиулась и вытащила из-под скамьи большую корзииу, прикрытую белой салфеткой.

Сиачала она выиула оттуда фаяисовую тарелочку и серебряиый стакаичик, потом объемистую миску, где застыли в желе два разрезаииых иа куски цыплеика; в корзиие видиелись еще другие лакомые припасы, завериутые в бумагу: пироги, фрукты, сласти и прочая сиедь, заготовлеииая с таким расчетом, чтобы питаться три дия, ие притрагиваясь к трактириой еде. Между свертками с провизией выглядывали четыре бутылочных горлышка. Пышка взяла крылышко цыплеика и деликатио принялась есть его, закусывая хлебцем, иосящим в Нормаидии иазваиие «регеитского».

Все взоры устремились иа иее. Вскоре по дилижаису распростраиился соблазиительиый запах, от которого расширялись иоздри, иеудержимо текли слюии и мучительио сводило челюсти. Презреиие дам к проститутке смеиилось яростью, оии готовы были убить ее, вышвыриуть вои из дилижаиса прямо в сиег вместе с ее стакаичиком, корзиикой и провизией.

Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Накоиец ои заговорил:

— Вот это умио! Мадам оказалась предусмотрительиее иас. Есть люди, которые всегда обо всем позаботятся!

Пышка обериулась к иему:

— Не хотите ли, сударь? Нелегко поститься с самого утра.

Луазо поклонился.

— Да, по совести говоря, ие откажусь. На войие как иа войие, ие так ли, мадам?

И, окииув взглядом своих спутииков, добавил:

— В такие мииуты очеиь приятио встретиться с обязательной особой.

Он разостлал на колеиях газету, чтобы ие запачкать брюки; коичиком иожа, всегда иаходившегося у иего в кармаие, подцепил куриную иожку, всю подериутую желе, и, отрывая зубами куски, приился жевать с таким удовольствием, что по всей карете проиесся тоскливый вздох.

Пышка смиреииым и кротким голосом предложила моиахииям разделить с иею трапезу. Обе тотчас согласились и, ие подиимая глаз, только пробормотав слова благодариости, прииялись торопливо есть. Кориюде тоже ие отверг угощеиия соседки, и оии вместе с моиахииями устроили иечто вроде стола из газет, развериутых иа колеиях.

Рты иеустаиио открывались и закрывались, яростио жевали, уплетали, поглощали. Луазо в своем углу трудился вовсю и шепотом уговаривал жеиу последовать его примеру. Оиа долго сопротивлялась, ио потом, почувствовав спазмы в желудке, сдалась. Муж в изыскаииых выражеииях спросил у «очаровательиой спутиицы», ие позволит ли оиа предложить кусочек г-же Луазо. Пышка ответила:

— Разумеется, прошу вас, сударь.

И, любезио улыбаясь, протяиула миску.

Когда откупорили первую бутылку бордоского, произошло некоторое замешательство, имелся всего лишь одии стакаичик. Его стали передавать друг другу, предварительио вытирая края. Одии только Кориюде, вероятио, из галаитиости, прикосиулся губами к тому месту, где виднелся влажиый след от губ соседки.

Окружеииые людьми, жадио поглощавшими еду, и вдыхая ее запах, граф и графиия де Бревиль, как и супруги Карре-Ламадои, испытывали ту ужасиую пытку, которая получила иазваиие «муки Таитала». Вдруг молодая жеиа фабрикаита испустила такой глубокий вздох, что все обериулись: оиа побелела, как сиег за окиами дилижаиса, глаза ее закрылись, голова склоиилась иа грудь: оиа потеряла созиаиие. Перепугаиный муж стал взывать о помощи. Все растерялись; старшая из моиахиHь, поддерживая голову больиой, подиесла к ее губам стакаичик Пышки и заставила проглотить иесколько капель вииа. Дамочка пошевелилась, открыла глаза, улыбиулась и умирающим голосом проговорила, что ей уже лучше. Дабы обморок ие повторился, моиахиия заставила ее выпить целый стакаичик бордоского и сказала:

— Это ие ииаче как от голода.

Тогда Пышка, красиея и коифузясь, залепетала, обращаясь к четверым все еще постившимся спутиикам:

— Ах, боже мой, если бы я только смела предложить вам...

Оиа умолкла, опасаясь оскорбительиого отказа. Слово взял Луазо:

— Э, право же, в таких случаях все люди — братья и должиы помогать друг другу. Ну же, сударыии, не чиниитесь, соглашайтесь, что там толковать! Нам, может быть, и на ночь не удастся иайти пристаиище. При такой езде еще хорошо, если мы доберемся до Тота завтра к полудию.

Но те четверо еще колебались, иикто из иих ие решался взять иа себя ответствеииость за согласие.

Накоиец граф разрешил вопрос. Ои повериулся к смущенной толстушке и с самым величествеииым видом, иа какой был способеи, произиес:

— Мы с благодариостью прииимаем ваше предложеиие, мадам.

Трудеи был лишь первый шаг. Перейдя Руби-

кон, все перестали стесняться. Корзина вмиг была опустошена. В ней еще нашелся паштет из печенки, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, крассанские груши, понлевекский сыр, печенье и целая банка маринованных корнишонов и луку,— Пышка, как большинство женщин, обожала все острое.

Нельзя было уничтожать припасы этой женщины и не разговаривать с нею. Мало-помалу завязалась беседа, сначала чуть натянутая, но затем все более непринужденная, так как Пышка держалась превосходно. Графиня де Бревиль и г-жа Карре-Ламадон, обладавшие большим светским тактом, проявили утонченную любезность. А графиня выказала при этом учтивую снисходительность знатной дамы, которая не роняет своего достоинства, к кому бы она ни обращалась. Но энергичная г-жа Луазо, с душою жандарма, оставалась неприступной; она говорила мало, зато много ела.

Разговор шел, разумеется, о войне. Толковали о жестокости пруссаков, о храбрости французов; все эти люди, спасавшиеся от врага бегством, восхваляли мужество других. Вскоре начались рассказы о себе, и Пышка с неподдельным волнением, с той пылкостью, какую проявляют иной раз публичные женщины, когда говорят о своих естественных чувствах, поведала, почему она уехала из Руана.

— Сначала я думала остаться,— сказала она.— У меня был полон дом припасов, и я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем уезжать неведомо куда. Но когда я увидала этих пруссаков, то уже не могла совладать с собою! Все во мне так и переворачивалось от злости; я целый день проплакала со стыда. Ох, будь я мужчиной, я бы им показала! Я смотрела из окошка на этих толстых боровов в остроконечных касках, а служанка держала меня за руки, чтобы я не побросала им на голову всю свою мебель. Потом они явились ко мне на постой, и я первого же схватила за горло. Задушить немца не труднее, чем кого другого! И я бы его прикончила, если бы только меня не оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться. А как только подвернулся случай, я уехала — и вот я тут.

Все похвалили ее. Она сильно поднялась во мнении своих спутников, не проявивших такой отваги, и Корнюде, слушая ее, улыбался одобрительной и благосклонной улыбкой апостола; так священник слушает набожного человека, произносящего хвалу богу, ибо длиннобородые демократы стали такими же монополистами по части патриотизма, как священнослужители в вопросах благочестия. Потом он заговорил назидательным тоном, с пафосом, почерпнутым из прокламаций, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, беспощадно расправившись с «подлецом Баденге»[1].

Но Пышка возмутилась, она была бонапартисткой. Она покраснела, как вишня, и, заикаясь от негодования, проговорила:

— Хотела бы я видеть вашего брата на его месте. Хороши бы вы были, нечего сказать! Ведь вы-то его и предали! Если бы Францией управляли озорники вроде вас, только и оставалось бы бежать без оглядки!

Корнюде сохранял хладнокровие, улыбался презрительно и свысока, но чувствовалось, что сейчас дело дойдет до перебранки; тут вмешался граф и не без труда успокоил разгневанную женщину, властно заявив, что любое искреннее убеждение следует уважать. Меж тем графиня и жена фабриканта, питавшие, как все почтенные люди, безотчетную ненависть к республике и столь свойственное женщинам пристрастие к придворной мишуре и деспотическим монархам, почувствовали невольную симпатию к этой проститутке, которая держалась с таким достоинством и выражала чувства, столь схожие с их собственными.

Корзина была пуста. Вдесятером ее опорожнили без труда и только пожалели, что она невелика. Разговор тянулся еще некоторое время, хоть и стал менее оживленным после того, как покончили с едой.

Вечерело, сумерки постепенно сгущались; во время пищеварения холод чувствуется особенно сильно, и Пышка дрожала, несмотря на свой жирок. Г-жа де Бревиль предложила ей свою грелку, в которую уже несколько раз подкладывала уголь; Пышка тотчас же приняла предложение, так как ноги у нее совсем закоченели. Г-жа Карре-Ламадон и г-жа Луазо отдали свои грелки монахиням.

Кучер зажег фонари. Они ярко озарили облако пара, поднимавшееся над потными крупами коренников, и снег за обочинами дороги, который в изменчивом отблеске их огней казался бесконечной пеленой.

Внутри кареты уже ничего нельзя было различить, но в углу, где сидели Пышка и Корнюде, вдруг произошло какое-то движение, и г-ну Луазо, который пристально вглядывался в потемки, показалось, что бородач быстро отодвинулся, точно получив беззвучный, но чувствительный пинок.

Впереди на дороге замелькали огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже одиннадцать часов, а если добавить два часа, потраченные на четыре остановки, чтобы покормить лошадей и дать им передохнуть, выходило и все тринадцать. Дилижанс въехал в село и остановился у «Торговой гостиницы».

Дверца отворилась. И вдруг пассажиры вздрогнули, услышав хорошо знакомый звук: прерывистое бряцанье сабли, волочившейся по земле. И тотчас же резкий голос что-то прокричал по-немецки.

Несмотря на то, что дилижанс остановился, никто из пассажиров не тронулся с места; все словно боялись, что стоит им выйти, как их немедленно убьют. Появился кучер с фонарем в руке и внезапно осветил в глубине кареты два ряда испуганных лиц с разинутыми ртами и вытаращенными от удивления и ужаса глазами.

Рядом с кучером, в полосе света, стоял немецкий офицер — высокий белобрысый молодой человек, чрезвычайно тонкий, затянутый в мундир, как барышня в корсет; плоская лакированная фуражка, надетая набекрень, придавала ему сход-

[1] Презрительное прозвище Луи-Бонапарта.

ство с рассыльным из английского отеля. Непомерно большие и жесткие усы словно давили на края рта, оттягивая вниз щеки и уголки губ, и, постепенно утончаясь, переходили в один-единственный волосок, столь тонкий, что кончика его не было видно.

Он предложил путешественникам выйти, обратившись к ним резким тоном, на французском языке с эльзасским выговором:

— Выходите, коспота!

Первыми повиновались обе монахини — с кротостью святых дев, привыкших к послушанию. Затем показались граф с графиней, за ними фабрикант и его жена, а потом Луазо, подталкивавший свою внушительную половину. Выйдя из дилижанса. Луазо сказал офицеру, скорей из осторожности, чем из вежливости:

— Добрый день, сударь!

Офицер с наглостью всемогущего человека взглянул на него и ничего не ответил.

Пышка и Корнюде, хотя и сидели у самой дверцы, вышли последними, приняв перед лицом врага строгий и надменный вид. Толстуха по мере сил старалась не выдавать своей ненависти; демократ мрачно теребил слегка дрожащей рукою свою длинную рыжеватую бороду. Оба старались сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый отчасти представляет родную страну, их возмущала податливость других пассажиров, и Пышка хотела показать, что в ней больше гордости, чем в ее спутницах, порядочных женщинах, а Корнюде, сознавая, что обязан подавать пример, всем своим видом выражал, что продолжает выполнять миссию сопротивления, которую он начал с перекапывания дорог.

Все вошли в просторную кухню постоялого двора, и тут немец потребовал подписанное комендантом Руана разрешение на выезд, где были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников; он долго разглядывал всех по очереди, сличая людей с тем, что было о них написано.

Потом он резко сказал: «Карашо»,— и исчез.

Все облегченно вздохнули. Голод еще давал себя чувствовать; заказали ужин. На приготовление его требовалось полчаса, и, пока две служанки занимались стряпней, путешественники пошли осматривать помещение. Все комнаты были расположены вдоль длинного коридора, который упирался в матовую стеклянную дверь с многозначительным номером.

Когда наконец начали усаживаться за стол, появился хозяин, бывший барышник, астматический толстяк, в горле у которого постоянно что-то свистело, клокотало и хрипело. Фамилия его была Фоланви.

Он спросил:

— Кто здесь мадмуазель Элизабет Руссе?

Пышка вздрогнула и обернулась:

— Это я.

— Мадмуазель! Прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

— Со мной?

— Да, если вы — мадмуазель Элизабет Руссе.

Она смутилась, подумала и объявила напрямик:

— Вот еще!.. Не пойду!

Началось волнение: все разом заговорили, строя догадки о причине вызова. К Пышке подошел граф:

— Вы не правы, мадам,— ваш отказ может повести к серьезным неприятностям не только для вас, но и для всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. Это приглашение, несомненно, не представляет никакой опасности; вероятно, надо выполнить какую-нибудь пустяковую формальность.

Все присоединились к графу, стали упрашивать Пышку, уговаривать, увещевать и, наконец, убедили ее; каждый опасался осложнений, которые мог повлечь за собой столь безрассудный поступок.

В конце концов она сказала:

— Хорошо, но делаю я это только ради вас!

Графиня пожала ей руку:

— И мы вам так благодарны!

Пышка ушла. За стол не садились, ждали ее возвращения.

Каждый сокрушался, что вместо этой несдержанной, вспыльчивой женщины не пригласили его, и мысленно подготовлял всякие банальные фразы на случай, если и он будет вызван.

Но минут десять спустя Пышка вернулась, красная, запыхавшаяся, вне себя. Она бормотала:

— Ах, мерзавец! Какой мерзавец!

Все бросились к ней с расспросами, но она молчала; граф продолжал настаивать; наконец она ответила с большим достоинством:

— Вас это не касается, я не могу ничего сказать.

Все уселись вокруг большой суповой миски, оттуда шел запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин прошел весело. Сидр, который чета Луазо, а также монахини пили из экономии, был очень хорош. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была особенная манера откупоривать бутылку, пенить пиво, разглядывать его, сначала наклоняя стакан, потом подымая к лампе, чтобы лучше рассмотреть цвет. Когда он пил, его длинная борода, принявшая с течением времени оттенок любимого им напитка, словно трепетала от нежности, глаза косили, чтобы не терять из виду кружку, и казалось, будто он выполняет то единственное призвание, ради которого родился на свет. Он мысленно как бы старался сблизить, сочетать две великие страсти, заполнившие его жизнь: светлый эль и Революцию; несомненно, он не мог вкушать одного, не думая о другой.

Господин Фоланви с женой сидели в самом конце стола. Муж пыхтел, как старый паровоз, и в груди у него так клокотало, что он не мог разговаривать за едой; зато жена не умолкала ни на минуту. Она описала все свои впечатления от прихода пруссаков, рассказала, что они делали, что говорили; она ненавидела их, в первую очередь потому, что они стоили ей денег, а затем — потому, что у нее было два сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине,— ей лестно было разговаривать с благородной дамой.

Рассказывая что-нибудь щекотливое, она понижала голос, а муж время от времени прерывал ее:

— Лучше бы тебе помолчать, мадам Фоланви.

Но она, не обращая на него никакого внимания, продолжала:

— Да, сударыня, эти люди только и делают, что едят картошку со свининой да свинину с картошкой! И не верьте, пожалуйста, что они чистоплотны. Вовсе нет! Они, извините за выражение, гадят повсюду. А посмотрели бы вы, как они по целым часам, по целым дням проделывают свои упражнения: соберутся в поле — и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Лучше бы землю пахали у себя на родине или дороги прокладывали! Так вот нет же, сударыня, от военных никто проку не видит! И зачем это горемычный народ кормит их, раз они только тому и учатся, как людей убивать? Я старуха, откровенно говоря, необразованная, а когда посмотрю, как они, себя не жалея, топчутся с утра до ночи, всегда думаю: «Вот есть люди, которые делают всякие открытия, чтобы пользу принести, а к чему нужны такие, что из кожи вон лезут, лишь бы вредить?» Ведь правда: разве это не подлость — убивать людей, будь они пруссаки, или англичане, или поляки, или французы? Если мстишь кому-нибудь, кто тебя обидел,— за это наказывают, и, значит, это плохо, а когда сыновей наших убивают, как зайцев, из ружей, выходит, это хорошо: ведь тому, кто убьет побольше, дают ордена! Нет, знаете, никак я этого в толк не возьму.

Корнюде громко сказал:

— Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину!

Старуха опустила голову:

— Да, когда защищают — это другое дело; а все-таки лучше бы перебить всех королей, которые затевают войну ради своей потехи.

Глаза Корнюде загорелись.

— Браво, гражданка!— воскликнул он.

Господин Карре-Ламадон был озадачен. Хотя он и преклонялся перед знаменитыми полководцами, здравый смысл старой крестьянки заставил его призадуматься: как упрочили бы благосостояние страны столько праздных теперь, а следовательно, убыточных рабочих рук, столько бесплодно расточаемых сил, если бы применить их для больших начинаний в области промышленности, на завершение которых потребуются столетия.

Тем временем Луазо покинул свое место и, подсев к трактирщику, шепотом заговорил с ним. Толстяк хохотал, кашлял, отхаркивался; его круглое брюшко весело подпрыгивало от шуток Луазо, у которого он тут же закупил шесть бочек бордоского на весну, когда пруссаков, наверное, уже не будет!

Едва кончился ужин, как все почувствовали сильнейшую усталость и отправились спать.

Между тем Луазо, успев сделать кое-какие наблюдения, уложил в постель свою супругу, а сам начал прикладываться к замочной скважине то глазом, то ухом, дабы, как он выразился, проникнуть в «тайны коридора».

Через час он услышал шорох, мгновенно прильнул к замочной скважине и увидел Пышку, которая казалась еще пышнее в голубом кашемировом капоте, отделанном белыми кружевами. Она держала в руках подсвечник и направлялась к помещению под многозначительным номером в конце коридора. Но где-то рядом приоткрылась другая дверь, и, когда Пышка через несколько минут прошла обратно, за нею следовал Корнюде в подтяжках. Они говорили шепотом, потом остановились. По-видимому, Пышка решительно защищала доступ в свою комнату. Луазо, к сожалению, не разбирал слов, но под конец, когда они повысили голос, ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде настаивал. Он говорил:

— Послушайте, это глупо, ну что вам стоит?

Она ответила с явным возмущением:

— Нет, милейший, бывают случаи, когда это недопустимо, а здесь это был просто срам.

Он, должно быть, не понял ее и спросил — почему? Это вывело ее из себя, и она повысила голос:

— Почему? Вы не понимаете, почему? Когда пруссаки в доме, чуть ли не в соседней комнате?

Он умолк. Патриотическая стыдливость шлюхи, не уступавшей его домогательствам оттого, что кругом были враги, по-видимому, пробудила в его сердце остатки человеческого достоинства, ибо он только поцеловал ее и крадучись возвратился в свою комнату.

Луазо в самом игривом настроении оторвался от скважины, сделал антраша, надел ночной колпак, приподнял одеяло, под которым покоился жесткий остов его подруги, и, разбудив ее поцелуем, прошептал:

— Ты меня любишь, душенька?

Весь дом погрузился в безмолвие. Но вскоре, откуда-то, быть может, из погреба, а быть может, с чердака, донесся мощный однообразный, равномерный храп, глухой и протяжный гул, словно где-то кипел под большим давлением паровой котел. Это спал г-н Фоланви.

Так как решено было выехать на другой день в восемь часов утра, к этому времени все собрались в кухне; но дилижанс, брезентовый верх которого покрылся толстым слоем снега, одиноко высился посреди двора, без лошадей и без кучера. Тщетно искали его в конюшне, на сеновале, в сарае. Мужчины решили обследовать местность и вышли за ворота. Они очутились на площади, в противоположном конце которой находилась церковь, а по сторонам — два ряда низеньких домиков, где можно было рассмотреть прусских солдат. Первый, которого они заметили, чистил картошку. Второй, подальше, мыл зеркало в парикмахерской. Третий, заросший бородой до самых глаз, утешая плачущего мальчугана, качал его на коленях и целовал в голову. Дородные крестьянки, у которых мужья были в «действующей армии», знаками указывали своим послушным победителям работу, которую надлежало сделать: наколоть дров, засыпать суп, смолоть кофе; один из них даже стирал белье своей хозяйки, дряхлой и немощной старухи.

Удивленный граф обратился с вопросом к причетнику, вышедшему из дома священника. Старая церковная крыса ответила ему:

— Ну, эти-то не злые: они, говорят, не прусса-

ки. Оии откуда-то подальше, не знаю только откуда; и у них у всех иа родине остались жеиы и дети; им-то войиа ие в забаву! Наверно, и там плачут по мужьям, и иужда от всего этого будет там ие меньше иашей. Здесь пока что очеиь жаловаться ие приходится, потому что они дуриого ие делают и работают, словно у себя дома. Что ни говори, сударь, бедияки должиы помогать друг другу... Войну-то ведь затевают богачи.

Кориюде, возмущеииый сердечным согласием, установившимся между победителями и побежденными, ушел, предпочитая отсиживаться в трактире. Луазо пошутил:

— Они возмещают убыль населения.

Господии Карре-Ламадои серьезио возразил:

— Они возмещают убытки.

Кучер все не объявлялся. Наконец его иашли в деревеиском кабаке, где он расположился за столиком с денщиком прусского офицера. Граф спросил:

— Разве вам не приказывали запрячь к восьми часам?

— Приказывали, да потом приказали другое.

— А что?

— Вовсе не запрягать.

— Кто же вам дал такой приказ?

— Как кто? Прусский комеидаит.

— Почему?

— А я почем зиаю? Спросите у иего. Не велеио запрягать, я и ие запрягаю. Вот и все.

— Ои сам сказал вам это?

— Нет, сударь. Приказ мне передал от его имеии трактирщик.

— Когда?

— Вчера вечером, перед тем как спать ложиться.

Трое пассажиров возвратились в большой тревоге.

Вызвали г-иа Фоланви, ио служаика ответила, что из-за астмы хозяии иикогда ие встает раньше десяти. Ои строго-настрого запретил будить его раиьше, разве что случится пожар.

Хотели было повидаться с офицером, ио это оказалось невозможиым, хоть ои и жил тут же, в трактире; один только г-и Фоланви имел право говорить с иим по граждаиским делам. Решили ждать. Жеищнны разошлись по своим комиатам и заиялись всякими пустяками.

Кориюде расположился в кухие у очага, где пылал яркий огоиь. Ои велел приеести туда столик, бутылку пива и достал из кармана трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же уважеиием, как и он сам, словно, служа Кориюде, оиа служила самой родине. То была превосходиая пеиковая трубка, чудесио обкуреииая, такая же чериая, как зубы ее владельца, но душистая, изогнутая, блестящая, как бы сросшаяся с ним и дополнявшая его облик. И он замер, устремляя взгляд то на пламя очага, то на пену, венчавшую пивиую кружку, и после каждого глотка с удовольствием запускал худые пальцы в свои жирные длиные волосы и обсасывал бахрому пеиы с усов.

Луазо под предлогом размять ноги отправился к розиичным торговцам с предложением своего виия. Граф и фабрикаит завелн разговор о политике. Они прозревалн будущиость Фраиции. Одии уповал иа Орлеаиов, другой — иа иеведомого спасителя, на героя, который объявится в минуту полной безиадежностн: на какого-ннбудь дю Геклеиа или иа Жаииу д'Арк — как зиать? Или иа иового Наполеоиа I? Ах, если бы наследиый прниц ие был так юи! Слушая их, Корнюде улыбался с видом человека, которому ведомы тайиы судеб. Его трубка благоухала иа всю кухию.

Когда пробило десять часов, явился г-и Фолаиви. Все бросились его расспрашивать, но он раза три подряд, без всяких изменеиий, повторил следующее:

— Офицер сказал мие так: «Господии Фоланви! Не велите запрягать завтра карету этнх пассажиров. Я ие хочу, чтобы они уезжали без моего особого разрешеиия. Поияли? Вот и все».

Решеио было поговорить с офицером. Граф послал ему свою визитиую карточку, на которой г-и Карре-Ламадон добавил свою фамилию и все свои зваиия. Пруссак приказал ответить, что примет их после завтрака, то есть около часу.

Появились дамы; иесмотря на общую тревогу, путешествеииики перекуснли. Пышка, казалось, была больиа и сильио взволиоваиа.

Когда допивали кофе, за графом н фабрикаитом явился деищик.

Луазо присоедииился к ним; попробовали завербовать и Кориюде, дабы придать посещеиию больше торжествениости, ио ои гордо заявил, что ие намерен вступать с иемцами в какие-либо сиошения, и, потребовав еще бутылку пива, сиова уселся у очага.

Мужчины втроем поднялись иа второй этаж н были введены в лучшую комнату постоялого двора; офнцер приият их, развалясь в кресле, задрав ноги иа решетку камииа, покуривая длииную фарфоровую трубку и кутаясь в халат огиеиного цвета, иесомиеиио украдениый в покинутом доме какого-иибудь буржуа, ие отличавшегося хорошим вкусом. Он ие встал, ие поздоровался, ие взглянул иа иих. Ои являл собой велнколепиый образчик хамства, свойствеииого победоиосному солдафоиу.

После иепродолжнтельиого молчаиия он спросил:

— Што фи хотите?

Слово взял граф:

— Мы желали бы уехать, сударь.

— Нет.

— Осмелюсь узиать причину отказа?

— Потому што мие ие угодио.

— Позволю себе, сударь, почтительиейше заметить, что ваш геиерал дал иам разрешеине на проезд до Дьеппа, и, мие кажется, мы ие совершили ничего такого, что могло бы вызвать столь суровые меры с вашей стороны.

— Мне не угодно... это фсе... мошете идти.

Они поклонились и вышли.

День прошел уныло. Каприз немца был совершеиио непонятен; пассажиры строили самые дикие предположения. Все сидели в кухие и без конца обсуждали вопрос, высказывая догадки одиу неправдоподобиее другой. Быть может, их хотят ос-

тавить в качестве заложников? Но с какой целью? Или задержать как пленных? Или, вернее, потребовать с них крупный выкуп? При этой мысли их обуял ужас. Больше всех перепугались самые богатые: они уже представляли себе, как им придется ради спасения жизни отдать этому грубияну в мундире целые мешки золота. Они старались придумать какую-нибудь правдоподобную ложь, скрыть свое богатство, выдать себя за бедных, очень бедных людей. Луазо снял с себя часовую цепочку и спрятал в карман.

Надвигавшаяся темнота усугубила тревогу. Зажгли лампу, а так как до обеда оставалось еще два часа, г-жа Луазо предложила сыграть в тридцать одно. Это хоть немного развлечет их. Предложение было принято. Даже Корнюде, потушив из вежливости трубку, принял участие в игре.

Граф стасовал карты, сдал, и у Пышки сразу же оказалось тридцать одно очко; увлечение игрой вскоре заглушило опасения, тревожившие умы. Но Корнюде заметил, что чета Луазо сообща передергивает карты.

Когда собрались обедать, снова появился г-н Фоланви и прохрипел:

— Прусский офицер велел спросить у мадмуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она своего решения.

Пышка, побледнев как полотно, застыла на месте; потом вспыхнула, но гнев душил ее, и она не могла вымолвить ни слова. Наконец ее взорвало:

— Скажите этой гадине, этому пакостнику, этой прусской сволочи, что я ни за что не соглашусь! Слышите? Ни за что, ни за что, ни за что!

Толстяк-трактирщик вышел. Все окружили Пышку, осаждая ее вопросами, уговаривая поведать тайну ее разговора с офицером. Сначала она отказывалась, потом ярость в ней взяла верх.

— Чего он хочет?.. Чего он хочет? Он хочет спать со мной!—воскликнула она.

Эти слова никого не смутили — до такой степени все были возмущены. Корнюде с такой силой стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Поднялся дружный вопль — у всех вызывал негодование этот подлый солдафон, все пылали гневом, все объединились для сопротивления, словно у каждого из них просили частицу той жертвы, которой требовали от нее. Граф с отвращением заявил, что эти люди ведут себя не лучше древних варваров. В особенности женщины выражали Пышке горячее и ласковое сочувствие. Монахини, выходившие из своей комнаты только к столу, склонили головы и молчали.

Когда всеобщее возмущение несколько улеглось, все сели за стол, однако говорили мало: каждый о чем-то думал.

Дамы рано разошлись по своим комнатам, а мужчины, оставшись покурить, затеяли игру в экарте и пригласили принять в ней участие г-на Фоланви с намерением искусно выведать у него, какими средствами можно преодолеть сопротивление офицера. Но трактирщик думал лишь о картах, ничего не слушал, ничего не отвечал, а только твердил:

— Давайте же играть, господа, давайте играть!

Его внимание было так поглощено игрою, что он забывал даже сплевывать, отчего у него в груди раздавалось порою протяжное гудение, словно там был орга́н. Его свистящие легкие воспроизводили всю астматическую гамму, начиная с торжественных басовых звуков и кончая хриплым криком молодого петуха, впервые пробующего петь.

Он даже отказался идти спать, когда его жена, еле державшаяся на ногах от усталости, пришла за ним. И она удалилась одна, потому что вставала с восходом солнца, тогда как муж ее был полуночник и рад был просидеть с приятелями хоть до утра. Он крикнул ей: «Поставь мне гоголь-моголь на печку»,—и продолжал играть. Когда стало ясно, что ничего выпытать у него не удастся, решили, что пора ложиться, и все разошлись по своим комнатам.

На другой день встали опять-таки довольно рано, смутно надеясь на отъезд и еще сильнее желая уехать, ужасаясь при мысли, что придется снова провести день в этом отвратительном трактире.

Увы, лошади стояли в конюшне, кучера не было видно. От нечего делать все слонялись по двору вокруг кареты.

Завтрак прошел невесело; чувствовалось некоторое охлаждение к Пышке; как известно, утро вечера мудренее, и настроение несколько изменилось. Теперь спутники досадовали на нее за то, что она втихомолку не пошла к пруссаку и не приготовила приятного сюрприза к их пробуждению. Что могло быть проще? Да и кто бы об этом узнал? Приличия ради она могла сказать офицеру, что делает это из жалости к своим несчастным попутчикам. Ведь для нее это такой пустяк!

Но никто еще не высказывал таких мыслей.

В середине дня, когда все истомились от скуки, граф предложил совершить прогулку по окрестностям. Оделись потеплее, и маленькое общество тронулось в путь, за исключением Корнюде, предпочитавшего сидеть у огонька, да монахинь, которые проводили дни в церкви или у кюре.

Мороз, усиливавшийся день ото дня, жестоко щипал нос и уши; ноги так окоченели, что каждый шаг был мукой. А за деревней поля показались столь зловещими в своей беспредельной белизне, что у всех похолодело на душе и сжалось сердце, и компания повернула обратно.

Четыре женщины шли впереди, трое мужчин следовали за ними.

Луазо, прекрасно понимавший положение, вдруг спросил, долго ли им придется торчать в этой трущобе из-за «какой-то потаскухи». Граф, неизменно учтивый, сказал, что нельзя требовать от женщины столь тягостной жертвы,—подобная жертва может быть только добровольной. Г-н Карре-Ламадон заметил, что если французы перейдут в контрнаступление через Дьепп,— а вопрос стоял именно так,—то столкновение с пруссаками произойдет не иначе как в Тоте. Эта мысль встревожила его собеседников.

— А что, если нам уйти пешком?— промолвил Луазо.

Граф пожал плечами.

— Да что вы! По такому снегу, с женами! Кроме того, за нами тотчас же пошлют погоню,

поймают через десять минут и как пленников отдадут в руки солдат.

Конечно, так бы оно и было. Все умолкли.

Дамы разговаривали о нарядах, но некоторая принужденность, казалось, разъединяла их.

Вдруг в конце улицы показался прусский офицер. На фоне бесконечного снега выступила его высокая фигура, напоминавшая осу в мундире; он шагал, выворачивая колени, особенной походкой военного, который старается не запачкать тщательно начищенных сапог.

Поравнявшись с дамами, он поклонился им и презрительно взглянул на мужчин, у которых, впрочем, хватило собственного достоинства не снять шляп, хотя Луазо и потянулся было к своему картузу.

Пышка покраснела до ушей, а три замужние женщины почувствовали глубокое унижение от того, что этот солдафон встретил их в обществе девицы, с которой он повел себя так бесцеремонно.

Заговорили о нем, о его фигуре, о лице. Г-жа Карре-Ламадон, знавшая многих офицеров и понимавшая в них толк, находила, что этот вовсе не так уж плох; она даже пожалела, что он не француз, ибо из него вышел бы красивый гусар, который, несомненно, сводил бы с ума всех женщин.

Возвратившись с прогулки, попутчики уже решительно не знали, чем заняться, и даже стали обмениваться колкостями по самому пустячному поводу. Обед прошел в молчании и длился недолго, а затем все отправились спать, чтобы как-нибудь убить время.

Когда на другой день путешественники сошли вниз, у всех на лицах была усталость, а на сердце злоба. Женщины почти не разговаривали с Пышкой.

Зазвонил колокол. В церкви готовились к крестинам. У Пышки был ребенок, который воспитывался у крестьян в Ивето. Она видалась с ним не чаще раза в год, никогда о нем не думала, но мысль о младенце, которого собираются крестить, вызвала в ее сердце внезапный неистовый прилив нежности к своему ребенку, и ей неудержимо захотелось посмотреть на крестины.

Как только она ушла, попутчики переглянулись, потом придвинулись поближе друг к другу — все чувствовали, что пора в конце концов что-нибудь предпринять. Луазо вдруг осенило: он сказал, что нужно предложить офицеру задержать одну Пышку, а остальных отпустить.

Господин Фоланви согласился выполнить поручение, но почти тотчас же возвратился обратно: немец, зная человеческую природу, выставил его за дверь. Он намеревался задержать всех путешественников до той поры, пока его желание не будет удовлетворено.

Тут грубая натура г-жи Луазо развернулась во всю ширь:

— Не сидеть же нам здесь до старости! Раз эта пакостница занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое право она имеет отказывать кому бы то ни было? Скажите на милость, в Руане она путалась с кем попало, даже с кучерами! Да, сударыня, с кучером префектуры! Я-то отлично знаю — он у нас вино берет. А теперь, когда нужно вызволить нас из беды, эта девка разыгрывает из себя недотрогу!.. По-моему, офицер ведет себя как нельзя лучше. Быть может, он уже давно не видел женщин и, конечно, предпочел бы кого-нибудь из нас троих. А он все-таки довольствуется той, которая принадлежит всякому. Он уважает замужних женщин. Подумайте только, ведь он здесь хозяин. Ему достаточно сказать: «Я хочу»,—и при помощи солдат он может силой овладеть нами.

Женщины вздрогнули. Глаза хорошенькой г-жи Карре-Ламадон блестели, и она была несколько бледна, словно мысленно уже видела, как офицер хочет силой овладеть ею.

Мужчины, рассуждавшие в сторонке, подошли к дамам. Луазо бушевал и был готов выдать врагу «эту дрянь», связав ее по рукам и по ногам. Но граф, потомок трех поколений посланников и сам внешностью напоминавший дипломата, высказался за применение искусного маневра.

— Надо ее переубедить,—сказал он.

Составился заговор.

Женщины пододвинулись поближе, разговор стал общим, и каждый, понизив голос, стал излагать свое мнение. Впрочем, все было вполне прилично. Дамы в особенности умели находить деликатные слова и удачные обороты для обозначения самых непристойных понятий. Посторонний ничего бы даже не понял — до того осмотрительно подбирались выражения. Но так как легкая броня целомудренной стыдливости, в которую облекаются светские женщины, защищает их лишь для вида, все они безмерно наслаждались этим фривольным приключением, чувствуя себя в своей сфере и обделывая это любовное дельце с вожделением повара-лакомки, приготовляющего ужин для другого.

Хорошее расположение духа возвращалось само собой, настолько забавна, в конце концов, была вся история. Граф иногда ронял несколько рискованные замечания, но столь тонкие, что они только вызывали улыбку. Луазо отпускал более соленые шутки, однако никто ими не оскорблялся — у всех в голове крепко засела мысль, грубо выраженная его женою: «Раз это ее ремесло, с какой стати она вздумала выбирать, кому отказывать, кому нет?» Миловидная г-жа Карре-Ламадон, по-видимому, даже думала, что на месте Пышки она скорее отказала бы кому-нибудь другому, чем этому офицеру.

Заговорщики долго обсуждали тактику осады, словно речь шла о взятии крепости. Каждый взял на себя определенную роль, условились, какие доводы кто будет пускать в ход, какие осуществлять маневры. Был выработан план атак, хитрых уловок, внезапных нападений, которые принудят эту живую крепость сдаться неприятелю.

Внимание собеседников было настолько поглощено этой затеей, что никто не услышал, как вошла Пышка, и когда граф прошептал: «Тсс»,— и все подняли глаза, она уже была в комнате. Заговорщики умолкли и, чувствуя некоторое замешательство, не знали, как заговорить с нею. Графиня, более других искушенная в светском двуличии, спросила ее:

— Что ж, интересиые были крестииы?

Толстуха, еще взволноваиная богослужеиием, подробио описала все: и лица, и позы, и даже церковь. Потом добавила:

— Хорошо иногда помолиться!

До завтрака дамы ограиичились учтивой предупредительностью в обращеиии с ней, дабы завоевать ее доверие и тем самым заставить последовать их советам.

Но как только сели за стол, иачалось иаступлеиие. Сперва завели отвлеченый разговор о самопожертвоваиии. Приводили примеры из древиих времеи — Юдифь и Олофериа, затем нн с того ни с сего Лукрецию н Секста, помянули Клеопатру, которая принннмала иа своем ложе всех вражеских военачальников и приводнла их к рабской покорностн. Была даже рассказаиа возиикшая в воображенни этих миллионеров-невежд фаитастнческая история о рнмлянках, которые отправлялись в Капую убаюкивать в своих объятиях Ганннбала, а вместе с ннм его полководцев и целые фаланги наемннков. Затем припомнили всех женщин, которые преграднли путь завоевателям, сделав свое тело полем битвы, орудием властн, н геронческими ласками покорнлн отвратительиых нлн ненавнстных тнранов, пожертвовав своим целомудрием ради мести.

Рассказалн также, в тумаииых выражеииях, об одиой англичанке старниного и знатного рода, привившей себе ужасную болезнь, чтобы заразить ею Боиапарта, которого чудесиым образом спасла внезапная слабость в мииуту рокового свидаиия.

Все это излагалось в пристойных и сдержаиных выраженнях, н лншь изредка прорывался деланный восторг, рассчнтанный на то, чтобы поощрить сотрапезников к соревнованию.

В конце концов можно было подумать, что еднственное назначенне женщины иа земле — это постоянное самопожертвование, непрерывное подчинеиие прихотям солдатни.

Моиахиии, погруженные в глубокое раздумье, казалось, ничего не слышалн. Пышка молчала.

Ей дали на размышленне целый деиь. Но теперь ее уже не называлн, как раньше, «мадам»; ей говорнли просто «мадмуазель», хотя иикто не знал хорошеиько, почему, собственно; вероятно для того, чтобы свести ее на ступеньку ниже с той высоты, на которую она поднялась в общем миении, и дать ей почувствовать постыдиость ее ремесла.

Как только подалн суп, опять появнлся г-н Фоланви и повторил вчерашнюю фразу:

— Прусский офнцер спрашивает, не изменнла лн мадмуазель Элнзабет Руссе своего решения.

Пышка сухо ответила:

— Нет.

Но во время обеда коалицня стала слабеть. У Луазо вырвалось иесколько иеосторожиых слов. Каждый из кожн лез, стараясь выдумать иовый пример, и ничего не находил, как вдруг графиия, быть может, не предумышленно, а просто смутно желая выразить уважение к религии, обратилась к старшей монахнне с вопросом о велнкнх подвнгах нз житий святых. Ведь многне святые совершали деяиия, которые в наших глазах былн бы преступны, но церковь легко отпускает этн прегрешения, если они содеяиы во славу божию или на благо ближнему. Это был иеопровержимый довод; графиия поспешила воспользоваться им. И вот — то ли в силу молчаливого уговора, тайиого попустительства, которое столь искусио применяют духовные особы всех раигов, то ли в силу счастливого недомыслия, спасительиой глупости — старая моиахиия оказала коалиции огромиую поддержку. Ее считали застенчивой, оиа же выказала себя смелой, речистой, резкой. Она ие плутала в казуистических дебрях, убеждеиия ее были словио из железа, вера незыблема, совесть ие зиала сомнений. Для иее в жертвоприиошеиии Авраама ие было ннчего противоестественного, ибо оиа сама, не задумываясь, убнла бы отца и мать, получнв указанне свыше; никакой проступок, по ее миению, не мог прогневить господа, если ои совершен с похвальным намереннем. Графиия, желая нзвлечь как можно больше пользы из ореола святости своей неждаииой сообщиицы, вызвала ее на подробиое иазидательное истолкование нравственного правила: «Цель оправдывает средства».

Оиа задавала ей вопросы:

— Итак, сестра, вы думаете, что бог приемлет все путн и прощает проступок, еслн побуждеиие чисто?

— Как можно сомневаться в этом, сударыия? Нередко поступок, сам по себе достойный осуждения, становится похвальным благодаря иамерению, которое его вдохновляет.

И она продолжала в том же духе, обсуждая волю господа, предугадывая его решеиня, прнписывая ему вмешательство в дела, которые, право же, совсем его не касаются.

Все это преподносилось замаскироваино, искусио, пристойно. Но каждое слово святой девы в моиашеском одеяннн пробивало брешь в иегодующем сопротнвлении куртнзаики. Потом разговор иесколько отклонился в стороиу, и монахиня заговорила о моиастырях своего ордеиа, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей миловидной соседке, возлюблениой сестре нз общины св. Никифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухажнвать в госпиталях за солдатамн, больиыми оспой. Она рассказывала об этнх несчастиых, подробно описывала их болезиь. И в то время как по прихоти этого пруссака нх задержнвают в пути, сколько умрет французов, которых они, быть может, спаслн бы! Ухажнвать за ранеиыми н больными воеиными было ее специальностью, она побывала в Крыму, в Италин, в Австрии; повествуя о своих походах, она вдруг выказала себя одною из тех лихих и воинствеииых монахннь, которые словно для того и создаиы, чтобы следовать за войском, подбирать раиеных в разгар сражеиия н лучше любого начальиика единым словом укрощать непокориых вояк; это была нстнниая «военная сестра», и ее изможденное, нзрытое оспой лнцо было как бы символом разрушеннй, причиияемых войиой.

После нее иикто ие пророинл ни слова, дабы не портнть впечатлення, которое, бесспорио, должиы были произвести ее слова.

Тотчас после обеда все поспешнли разойтись по комиатам и вышли только на другое утро, довольно поздно.

Завтрак прошел спокойно. Выжидали, чтобы семена, посеянные накануне, проросли и дали плоды.

Среди дня графиня предложила совершить прогулку; и, как заранее было условлено, граф взял Пышку под руку и немного отстал с нею от других.

Он говорил с нею фамильярным, чуть пренебрежительным тоном, каким солидные мужчины разговаривают с публичными женщинами, называл ее «дитя мое», снисходя к ней с высот своего общественного положения, того почета, каким он был окружен. Он без обиняков приступил к сути дела:

— Итак, вы готовы держать нас здесь и подвергать, как и самое себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии, только бы не оказать любезности, которую вы оказывали в своей жизни столько раз?

Пышка ничего не ответила.

Он действовал лаской, доводами разума, взывал к ее чувствам. Соответственно своему графскому достоинству он проявлял галантность, когда это было нужно, льстил,—словом, пускал в ход все свои чары. Он превозносил услугу, которую она могла бы оказать им, говорил о том, как они были бы ей признательны, а затем вдруг весело обратился к ней на «ты»:

— И знаешь, дорогая, он вправе будет хвастаться, что полакомился хорошенькой девушкой, каких не много найдется у него на родине.

Пышка ничего не ответила и, ускорив шаг, догнала всю компанию.

Возвратившись домой, она тотчас поднялась к себе и больше не выходила. Беспокойство достигло крайних пределов. На что она решится? А что, если она будет упорствовать? Какой ужас!

Настал час обеда; она не показывалась. Наконец явился г-н Фоланви с известием, что мадмуазель Руссе не совсем здорова, можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шепотом спросил:

— Согласилась?

— Да.

Приличия ради он ничего не сказал своим попутчикам, а только слегка кивнул им. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения, лица просияли. Луазо закричал:

— Черт меня возьми! Плачу за шампанское, если таковое имеется в сем заведении!

И, к великому ужасу г-жи Луазо, хозяин вскоре принес целых четыре бутылки. Все сразу стали необыкновенно общительны и шумливы; сердца взыграли буйным весельем. Граф, казалось, впервые заметил, что г-жа Карре-Ламадон очень мила; фабрикант отпускал комплименты графине. Разговор за обедом шел оживленный, игривый, блистал остроумием.

Вдруг Луазо сделал испуганное лицо и, воздев руки, завопил:

— Тише!

Сотрапезники смолкли в удивлении и даже в страхе. Он прислушался, помахал руками, призывая всех к молчанию, поднял глаза к потолку, снова прислушался и проговорил своим обычным голосом:

— Успокойтесь, все в порядке.

Никто не решился показать, что понял, о чем идет речь, но улыбка мелькнула на всех лицах.

Через четверть часа он повторил ту же шутку и в течение вечера возобновлял ее несколько раз; он делал вид, будто обращается к кому-то на верхнем этаже, и давал тому двусмысленные советы, черпая их из запасов своего коммивояжерского остроумия. Порою он с напускной грустью вздыхал: «Бедная девушка!» Или свирепо цедил сквозь зубы: «Ну и негодник этот пруссак!» Несколько раз, когда, казалось, никто уже не думал об этом, он начинал вопить дрожащим голосом: «Довольно! Довольно!»—и добавлял словно про себя: «Только бы нам увидеть ее живой, только бы этот негодяй не уморил ее!»

Хотя шутки его были самого дурного тона, они забавляли общество и никого не коробили, ибо праведный гнев, подобно всему остальному, зависит от окружающей среды; атмосфера же, создавшаяся в трактире, была насыщена фривольными мыслями.

За десертом даже женщины стали делать сдержанно игривые намеки. Глаза у всех разгорелись: выпито было много. Граф, сохранявший величавость даже в тех случаях, когда позволял себе вольности, сравнил их положение с окончанием вынужденной зимовки на полюсе, а их чувства — с радостью людей, потерпевших кораблекрушение, которые видят наконец, что им открылся путь на юг; сравнение имело большой успех.

Разошедшийся Луазо встал с бокалом в руке:

— Пью за наше освобождение!

Все поднялись и хором подхватили его тост. Даже монахини поддались уговорам дам и согласились пригубить пенистого вина, которого они еще никогда не пробовали. Они объявили, что оно похоже на шипучий лимонад, только гораздо вкуснее.

Луазо пришел к такому выводу:

— Какая досада, что нет фортепьяно, хорошо бы кадриль сплясать!

Корнюде за весь вечер не проронил ни слова, не пошевелился; казалось, он был погружен в мрачное раздумье и только изредка неистово дергал свою длинную бороду, словно пытаясь еще удлинить ее. Наконец около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком:

— Что это вы невеселы нынче? Почему вы всё молчите, гражданин?

Корнюде резко поднял голову и, окинув общество горящим, грозным взглядом, ответил:

— Знайте, что все вы совершили подлость!

Он встал, дошел до двери, еще раз повторил: «Да, подлость!»—и скрылся.

Сначала всем сделалось неловко. Озадаченный Луазо стоял разинув рот, потом к нему вернулась обычная самоуверенность, и он вдруг захохотал, приговаривая:

— Зелен виноград, приятель, зелен!

Так как никто не понимал, в чем дело, он пове-

дал «тайны коридора». Последовал взрыв неистового веселья. Дамы покатывались со смеху. Граф и г-н Карре-Ламадон хохотали до слез. Им даже плохо верилось, что это правда.

— Как? Неужели? Он хотел...

— Да говорю же вам, я сам видел.

— И она отказала?..

— Потому что пруссак находился в соседней комнате.

— Быть не может!

— Клянусь вам!

Граф просто задыхался. Фабрикант держался за бока. Луазо не унимался:

— Понятно, что сейчас ему совсем, совсем не до шуток!

И все трое снова принимались хохотать до колик, до слез.

Наконец разошлись. Г-жа Луазо, особа ехидная, ложась спать, заметила мужу, что «эта гадюка» Карре-Ламадон весь вечер смеялась как бы против воли.

— Знаешь, когда женщина бредит мундиром, ей, право, все равно, носит ли его француз или пруссак!.. Ну не срам ли, прости господи?

И всю ночь во мраке коридора проносились слабые шелесты, шорохи, вздохи, легкие шаги босых ног, едва уловимые скрипы. Постояльцы заснули, очевидно, очень поздно, потому что под дверями еще долго виднелись узкие полоски света. Шампанское часто так действует,— говорят, от него не спится.

На другое утро снег ослепительно сверкал под ярким зимним солнцем. Дилижанс, наконец-то запряженный, дожидался у ворот, а стая белых голубей, розовоглазых, с черными точками зрачков, пыжась в своем густом оперении, важно разгуливала между ног шестерки лошадей и, разбрасывая лапками дымящийся навоз, искала в нем корма.

Кучер в тулупе покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на весь остаток пути.

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она казалась взволнованной, смущенной и робко подошла к своим спутникам, но все точно по уговору отвернулись, будто не замечая ее. Граф с важным видом взял жену под руку и отвел в сторону, дабы оградить ее от нечистого соприкосновения.

Пышка в изумлении остановилась, потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и пролепетала:

— Здравствуйте, сударыня!

Та чуть заметно надменно кивнула головой и бросила на нее взгляд оскорбленной добродетели. Все суетились, притворяясь, что очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки, точно в юбках она принесла какую-то заразу. Затем все бросились к дилижансу; она вошла последней и молча уселась на то же место, которое занимала в начале пути.

Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали; только г-жа Луазо, негодующе посмотрев на нее издали, сказала мужу вполголоса:

— Какое счастье, что я сижу далеко от нее!

Тяжелая карета тронулась, и путешествие возобновилось.

Сначала все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она и негодовала на своих соседей, и чувствовала, что унизилась, уступив им, что осквернена поцелуями пруссака, в объятия которого ее толкнули эти лицемеры.

Вскоре графиня, обратившись к г-же Карре-Ламадон, прервала тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с госпожою д'Эстрель?

— Да, это моя приятельница.

— Какая прелестная женщина!

— Очаровательная! Натура незаурядная, и к тому же она такая образованная, талантливая! Она восхитительно поет и превосходно рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь дребезжание оконниц порою слышались слова: «Купон—вексель—платеж—в срок».

Луазо, стащивший в трактире старую колоду карт, засаленных за пять лет игры на плохо вытертых столах, затеял с женою партию в безик.

Монахини взялись за длинные четки, свисавшие у них с пояса, перекрестились, и вдруг губы их проворно задергались, заспешили, все ускоряя невнятный шепот, словно состязаясь в быстроте; время от времени они целовали образок, снова крестились, затем продолжали свое торопливое и непрерывное бормотанье.

Корнюде сидел, задумавшись, не шевелясь.

После трех часов пути Луазо собрал карты и заявил:

— Не худо бы закусить.

Его жена достала перевязанный бечевкою сверток и вынула кусок холодной телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие, плотные ломтики, и они принялись за еду.

— Не последовать ли и нам их примеру?— спросила графиня.

Получив согласие, она развернула провизию, припасенную для двух супружеских пар. В продолговатой фаянсовой миске, на крышке которой был изображен заяц, указывавший, что здесь покоится заячий паштет, лежала сочная коричневая мякоть дичи, смешанная с другими мелко нарубленными сортами мяса, по которой бежали белые ручейки сала. На объемистом куске сыра, вынутом из газеты, виднелось слово «Происшествия», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности.

Монахини достали целую колбасу, пахнувшую чесноком, а Корнюде, засунув руки в глубокие карманы пальто, вынул из одного четыре крутых яйца, а из другого краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал есть, роняя на длинную бороду светло-желтые крошки, казавшиеся в ней звездочками.

В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ни о чем позаботиться и теперь, задыхаясь от досады и ярости, смотрела на этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее охватил гнев, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, готовой сорваться с ее губ, но негодование душило ее.

Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал.

Она чувствовала, что ее захлестывает презрение этих почтенных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули, как ненужную грязную тряпку. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая вкусной снедью, которую они так прожорливо уничтожили, вспомнились два цыпленка в прозрачном желе, паштеты, груши, четыре бутылки бордоского; ее гнев вдруг прошел, словно где-то внутри у нее лопнула натянутая струна, и она почувствовала, что вот-вот расплачется. Она делала неимоверные усилия, чтобы сдержаться, глотала слезы, как ребенок, но они выступали на глазах, поблескивали на ресницах и вскоре две крупные слезинки медленно скатились по щекам. За ними последовали другие, более проворные; они бежали все быстрее, стекали, словно капли воды из расщелины утеса, и падали на крутой выступ ее груди. Она сидела прямо, с застывшим, бледным лицом, глядя в одну точку и надеясь, что на нее не обратят внимания.

Но графиня заметила слезы Пышки и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами, как бы говоря: «Что ж поделаешь, я тут ни при чем». Г-жа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала:

— Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумажку остатки колбасы, снова начали молиться.

Корнюде, переваривая съеденные яйца, протянул длинные ноги под скамейку напротив, откинулся, скрестив руки, усмехнулся, словно придумал удачную шутку, и стал насвистывать «Марсельезу».

Все нахмурились. Народный гимн, очевидно, не нравился его соседям. Они стали нервничать, злиться и, казалось, готовы были завыть, как собаки, заслышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порою он даже напевал слова:

Любовь к отечеству святая!
Дай мести властвовать душой,
Веди, свобода дорогая,
Твоих защитников на бой![1]

Ехали теперь быстрее, так как снег стал более плотным; и до самого Дьеппа, в течение долгих, унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге, в вечерних сумерках, а затем в глубоких потемках, он с ожесточением, с упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталых и раздраженных спутников следить за песней от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт.

А Пышка все плакала, и порою, между двумя строфами, во тьме прорывались рыдания, которых она не могла сдержать.

ПАПА СИМОНА

Часы били двенадцать. Дверь школы распахнулась, и оттуда хлынула толпа сорванцов, толкаясь и торопясь поскорее уйти. Но вместо того, чтобы рассыпаться в разные стороны и помчаться домой обедать, как это бывало каждый день, они собрались кучками в нескольких шагах от школы и стали шептаться.

Дело в том, что утром в школу впервые пришел Симон, сын Бланшотты, и хотя на людях с ней обходились любезно, в разговоре между собой взрослые отзывались о ней с презрительным сожалением, которое передалось и детям, хотя они не понимали, в чем тут дело. Симона ребята мало знали: он постоянно сидел дома, не резвился с ними на деревенской улице или на берегу речки. За это они его недолюбливали и теперь с некоторым злорадством, хотя и не без удивления, услышали и повторяли друг другу слова пятнадцатилетнего озорника, который, по-видимому, знал многое, ибо говорил, хитро подмигивая:

— Послушайте... у Симона... да ведь у него папы-то нет!

Сын Бланшотты показался на пороге школы. Ему было лет семь-восемь. Это был бледненький, опрятно одетый мальчик, такой застенчивый, что казался из-за этого неуклюжим.

Симон пошел было домой, но товарищи, перешептываясь и поглядывая на него насмешливо и жестоко,—так смотрят дети, задумавшие злую проказу,—обступали мальчика все теснее и теснее, пока кольцо не сомкнулось. Он стоял неподвижно, удивленный и смущенный, не понимая, что с ним собираются делать. Парень, принесший эту новость и гордый своим успехом, спросил:

— Эй, ты, как тебя зовут?

— Симон.

— А дальше как?

Ребенок смутился.

— Симон,—повторил он.

Парень крикнул ему:

— Симон, ну, а потом? Какая ж это фамилия— «Симон»!

Мальчик, сдерживая слезы, повторил в третий раз:

— Меня зовут Симон.

Ребята захохотали. Парень торжествующе возвысил голос:

— Ну вот, сами видите, нет у него папы!

Наступила гробовая тишина. Дети были поражены необычайным, невероятным, из ряда вон выходящим обстоятельством: у мальчика нет папы!

Они разглядывали его, словно перед ними было невиданное чудище, и в них росло непонятное им доселе презрение, какое питали их матери к Бланшотте.

Симон прислонился к дереву, чтобы не упасть; он был сражен непоправимым несчастьем. Он искал слов, хотел объяснить что-то, опровергнуть страшное обвинение, будто у него нет папы, и не мог.

Побелев как полотно, он крикнул наугад:

— Неправда, у меня есть папа!

— Где же он?

Симон ничего не мог сказать: он не знал.

Ребята смеялись, они были очень возбуждены; как дети полей, близкие к природе, они подчинялись тому жестокому инстинкту, который заставляет кур на птичьем дворе приканчивать раненую

[1] Перевод Георгия Шеигели.

птицу. Вдруг Снмон заметил соседа, сыннщку вдовы, который тоже жил вдвоем с матерью.

— Вот и у тебя нет папы.

— Нет,— ответил мальчнк,— у меия есть папа!

— Где же он?

— Он умер,— с торжествующей гордостью отвечал ребеиок,— мой папа лежит на кладбище!

Одобрнтельный шепот проиесся в толпе сорванцов, как будто бы то обстоятельство, что отец мальчика умер и похоронен на кладбище, возвеличило его н уннзило того, другого, у которого совсем не было отца. Мальчуганы, отцы которых по большей части были грубияиамн, пьяннцамн, ворами и тнранилн своих жеи, подходилн все ближе и ближе к Снмону; казалось, они, закониые детн, хотят задушить иезакоиного.

Вдруг одии из инх, стоявшнй почти вплотную к Симоиу, иасмешливо показал ему язык и закричал:

— Нет у тебя папы! Нет папы!

Снмон обенми рукамн схватнл его за волосы, впился зубами в щеку н стал пннать его ногамн. Началась свалка. Дерущнхся разнялн. Симон лежал на земле избнтый, в синяках, в изорванной блузе среди толпы мальчнков, радостно хлопавшнх в ладошн.

Когда он поднялся, машннально стряхивая с себя пыль, кто-то крнкнул:

— Пойди-ка пожалуйся своему папе!

Тогда он почувствовал, что все рушится. Они были сильнее, онн нзбилн его, н он ннчего не мог ответнть — ведь н правда у него нет папы. Из гордостн ои попробовал бороться с душившими его слезамн, ио задохиулся и беззвучио заплакал, содрогаясь всем телом.

Тут его врагов охватил свирепый восторг; подобио днкарям, предающимся иеобуздаииому веселью, они взялись за руки н сталн плясать вокруг Снмоиа, повторяя, как припев:

— Нет у тебя папы!

Вдруг Симон перестал рыдать. В ием вспыхиула ярость. Под иогами у него оказались камии, ои набрал их н изо всех сил принялся швырять в своих мучителей. Он попал в двух нли трех, и оии убежали с воплямн. У мальчика был такой грозный вид, что все остальиые испугались. Трусливые, как труслива бывает толпа перед лицом исступленного человека, онн бросились врассыпную.

Мальчик, у которого не было отца, постоял однноко и побежал в поле: иа память ему пришел иедавний случай, подсказавший ему, как поступить. Ои решил утопиться в реке.

Неделю тому назад один бедняк, живший мнлостыией, бросился в реку, потому что у иего больше ие было денег. Симои видел, как вытащили из воды утоплениика. И вот этот убогий старик, который обычно казался ему жалким, иеопрятиым и безобразиым, поразил его своим видом: лицо у иего было бледиое, иевозмутнмое, длиииая борода намокла, но раскрытые глаза смотрели спокойно. Вокруг говорили:

— Ои умер!

А кто-то добавил:

— Теперь ему хорошо!

И Снмои тоже решил утопиться; у того иесчастиого не было денег, а у него не было отца.

Он подошел вплотную к реке и посмотрел, как оиа течет. Юркие рыбкн резвилнсь в прозрачиой воде, подскакнвалн н хваталн летавшую над рекой мошкару. Мальчнк перестал плакать н с любопытством следил за нимн. Но порой, подобио тому как во время краткого затншья перед грозой вдруг иалетает порыв ветра, с треском сотрясает деревья и уноснтся вдаль, к Снмоиу возвращалась все та же мысль, причииявшая ему острую боль: «Я должен утопиться, потому что у меня нет папы».

Вокруг было так тепло, так хорошо. Солнце пригревало траву. Вода блестела, как зеркало. Мниутами Снмон испытывал радость, сладкую истому, какая бывает после слез; ему хотелось усиуть в траве на солнышке.

У его ног прыгал зеленый лягушонок. Он попытался поймать его. Лягушонок ускользиул. Ои погнался за ним н трижды упустил. Накоиец схватил за заднне лапкн н рассмеялся прн внде усилий, которые делал лягушоиок, чтобы освободнться. Он подбирал под себя ножки, потом иеожиданно вытягнвал нх, н они становились твердымн, как две палочки. Вращая своимн круглымн глазамн с золотым ободком, лягушонок шевелнл передиими лапкамн, точио руками. Симону это напомиило одну игрушку: узкие зигзагообразно скреплеииые дощечки, которые двигались точио так же вместе с выстроившнмися на них солдатиками. Ои подумал о своем доме, о маме, ему сделалось очень грустно, и он опять заплакал, поминутно вздрагивая. Он стал иа колеии и иачал читать молитву, как перед сиом, ио ие мог докоичить, потому что рыдаиия бурно, иеудержимо подступилн к горлу, сотрясая все его тело. Он был поглощен своим горем, больше ии о чем ие думал, иичего ие видел вокруг, только плакал.

Вдруг тяжелая рука легла иа его плечо, и чейто звучиый голос спросил:

— Кто тебя обидел, мальчугаи?

Симон обернулся. Высокий рабочнй, кудрявый, чериоволосый, чернобородый, прнветлнво смотрел иа него. Ребеиок отвечал со слезами на глазах, прерывающнмся голосом:

— Они поколотили меня... потому что... у меия... нет папы... иет папы.

Незнакомец улыбнулся.

— Как же это так? У всякого есть папа.

Мальчик с трудом выговорил:

— У меия... у меня... иет!

Лицо рабочего стало серьезным; он узиал сына Бланшотты, о которой уже кое-что слышал, хотя поселился здесь иедавио.

— Не плачь, мальчик, успокойся,— сказал он,— пойдем со мной к твоей маме! Мы иайдем тебе... папу.

Большой взял маленького за руку, и оии отправились в путь. Рабочий улыбался; ои был не прочь познакомнться с Бланшоттой, которая слыла одиой из самых красивых девушек в деревие. Может быть,— смутио думалось ему,— девушка, одиажды согрешившая, согрешит еще раз. Они подошли к небольшому, чисто выбеленному домику.

— Вот здесь! — сказал мальчнк н громко крикнул: — Мама!

В дверях показалась жеищниа, и рабочий сразу перестал улыбаться. Он поиял, что эта высокая бледная девушка не допустнт вольиостей. Оиа глядела сурово, как бы запрещая мужчниам доступ в дом, где уже была обманута одинм нз ннх. Рабочнй смутнлся н пробормотал, комкая фуражку:

— Вот, хозяйка, я вам привел вашего сыиа, он заблудился около рекн.

Но Снмон броснлся на шею матерн н опять заплакал.

— Нет, мама, я хотел утопнться, потому что они меня избили... избили... потому что у меня нет папы.

Жгучнй румянец залил щеки молодой жеищниы; взволнованиая до глубиины души, она обияла ребенка, н слезы хлынулн у нее нз глаз.

Растрогаииый рабочнй стоял, не зиая, как уйтн. Вдруг Симои подбежал к нему и спросил:

— Хотнте быть монм папой?

Наступнло молчанне. Бланшотте было мучнтельно стыдно; не проронив ни слова, она прислоиилась к стене н прижала рукн к сердцу, а ребеиок, вндя, что ему ие отвечают, снова сказал:

— Раз вы не хотите, я опять пойду топнться.

Рабочнй попытался обратнть все в шутку и отвечал со смехом:

— Да нет же, я согласен!

— А как тебя зовут? — спросил ребеиок. — Мие иадо знать, чтобы ответнть, когда меня спросят ребята.

— Фнлнпп, — ответнл рабочнй.

Снмон помолчал, стараясь получше запомиить это имя, потом, окоичательио утешившись, протянул руки рабочему и сказал:

— Зиачит, Филипп, ты мой папа!

Тот поднял его, крепко расцеловал и, широко шагая, пошел своей дорогой.

На следующнй деиь в школе ребята встретили Симоиа злобиым смехом. Прн выходе, когда тот же мальчишка хотел повторить вчерашнюю забаву, Симон бросил ему в лнцо так, как броснл бы камень:

— Фнлипп — вот как зовут моего папу!

Раздался взрыв злорадиого хохота:

— Филнпп, а дальше? Что это за Филипп? Откуда ты взял своего Фнлиппа?

Симои иичего ие ответил. Полиый иепоколебимой веры, ои вызывающе смотрел иа ребят и готов был скорее переиести пытку, чем сдаться. Его спасло появлеиие учителя, н он побежал домой, к матери.

В течение трех месяцев высокнй рабочий Филипп часто проходил мимо дома Блаишотты. Иной раз, когда оиа шнла у окна, ои осмеливался заговорить с ией. Блаишотта отвечала вежливо, серьезно, иикогда ие шутила с иим, ие приглашала войтн. Одиако Филипп, самоиадеяиный, как и все мужчииы, вообразил, что ее щекн слегка розовеют, когда она разговаривает с иим.

Но испорчеиную репутацню восстаиовнть трудно, а запятиать еще больше иичего ие стонт, и, несмотря иа иедоверчивую сдержаиность Блаишотты, в деревие уже началн сплетиичать.

Снмон очень полюбил своего нового папу, н почтн каждый вечер, когда Фнлнпп коичал работу, они шлн гулять вместе. Мальчик усердио посещал школу и с достоииством проходил мимо школьииков, никогда не отвечая на нх насмешкн.

И все-таки парнишка, первый задевшнй Симоиа, однажды сказал ему:

— Ты соврал, иет у тебя ннкакого папы Филиппа!

— Почему иет?— заволновавшнсь, спросил Снмон.

Тот продолжал, потнрая руки:

— Да потому, что, будь у тебя папа, он был бы мужем твоей мамы.

Правильиость довода смутила Симоиа, одиако он ответил:

— А все-такн Филнпп мой папа!

— Может быть,— ухмыляясь, возразнл парень,— да только он ие совсем твой папа.

Сыи Бланшотты опустил голову н, задумавшись, пошел по дороге к кузнице дядн Луазона, у которого работал Фнлипп.

Кузиица будто пряталась под густыми деревьями. В ией было очень темио, только красное пламя огромного горна яркнм отблеском ложнлось на фигуры пяти кузнецов с обнаженными руками, оглушнтельно стучавшнх по наковальиям. Оии стояли в этнх отсветах, точио дьяволы, устремнв глаза иа раскаленное железо, терзаемое их молотами, вместе с которымн взлеталн н опускались их тяжеловесиые мыслн.

Симои незаметио проскользиул в кузницу н тихонько потянул своего друга за блузу. Филипп обернулся. Работа прностановнлась, кузнецы виимательио разглядывалн мальчика. Средн наступнвшей иеобычной тишины раздался тонеиькнй голосок Симона:

— Послушай, Фнллип! Сыи Мншоды говорит, что ты ие совсем мой папа.

— А почему?— спросил рабочий.

Ребенок ответил с полиой иаивностью:

— Потому что ты не муж моей мамы.

Никто не засмеялся. Филипп стоял, опершись лбом иа свои большие руки, в которых держал рукоятку молота, стоявшего иа иаковальие. Ои задумался. Четыре товарища ие спускали с иего глаз, а Снмои, такой малеиький средн этнх велнкаиов, тревожно ждал ответа. Вдруг один нз кузиецов, как бы отвечая иа то, о чем думали все, сказал Филнппу:

— А все-таки Блаишотта хорошая, порядочиая девушка. Живет оиа степеиио н хозяйствеиио, хоть н случилось с ней иесчастье. Оиа будет хорошей женой честиому человеку.

— Это правда,— подтвердилн остальиые.

Рабочий продолжал:

— Оиа лн вииовата, что оступилась? Ведь ои обещал жеииться иа ией, а мало лн мы зиаем почтеиных жеищин, с которыми случилось то же самое?

— Это правда!— хором подхватнлн остальные.

— А как ей было трудно одиой растнть ребеика, сколько слез оиа пролила с тех пор — одии бог ведает, и иикуда-то она не ходнт, кроме церкви.

— И это правда,— опять сказали кузнецы.

Был слышен только шум мехов, раздувавших огонь в горне. Филипп порывисто наклонился к Симону:

— Скажи маме, что я приду вечером потолковать с ней.

Он тихонько подтолкнул мальчика к двери и снова принялся за работу.

Пять молотов, как один, ударили по наковальням. До самой ночи ковали кузнецы железо, мускулистые, сильные, радостные, довольные. И как в праздничный день соборный колокол своим звоном заглушает перезвон других колоколов, так и молот Филиппа покрывал стук остальных молотов, ежесекундно опускаясь с оглушительным грохотом на наковальню. Глаза Филиппа горели, и он яростно ковал железо среди снопа искр.

Небо было усыпано звездами, когда Филипп постучался к Бланшотте. На нем была воскресная блуза, свежая рубашка, бороду он подстриг. Молодая женщина показалась на пороге; она с горечью сказала ему:

— Нехорошо так поздно приходить, господин Филипп.

Он хотел ответить, но, сконфузившись, что-то невнятно пробормотал. Она продолжала:

— Поймите, я не хочу, чтобы про меня снова стали болтать.

Он неожиданно выпалил:

— А кому какое дело, если вы согласны быть моей женой?

Ответа не последовало, но послышался шум, как будто бы кто-то опустился на стул в полумраке комнаты. Филипп быстро вошел, и Симон, уже лежавший в кроватке, различил звук поцелуя и несколько слов, чуть слышно произнесенных его матерью. Затем сильные руки подхватили мальчика, и, держа его в своих геркулесовых объятиях, друг крикнул ему:

— Скажи своим товарищам, что твой папа — кузнец Филипп Реми и что он отдерет за уши всякого, кто посмеет тебя обидеть.

На следующий день, когда мальчишки собрались в школе, маленький Симон поднялся с места перед началом урока. Он был бледен, губы его дрожали.

— Мой папа,— звонким голосом сказал мальчик,— кузнец Филипп Реми, и он обещал отодрать за уши всякого, кто посмеет меня обидеть!

На этот раз никто не засмеялся,— все знали кузнеца Филиппа Реми. Это был такой папа, которым каждый мальчик мог бы гордиться.

МАДМУАЗЕЛЬ ФИФИ

Командир пруссаков майор граф фон Фарльсберг дочитывал почту, откинувшись на спинку гобеленового кресла и положив ноги на изящную каминную доску, в которой за три месяца пребывания в замке Ювиль он шпорами продолбил ямки, становившиеся глубже день ото дня.

Столик маркетри, на котором дымилась чашка кофе, был закапан ликерами, прожжен сигарами и выщерблен перочинным ножом: когда офицер-победитель чинил карандаш, он по прихоти своей бесцеремонной фантазии чертил на тонких инкрустациях цифры или фигуры.

Прочтя письма и пробежав немецкие газеты, только что доставленные войсковым почтарем, майор встал, подбросил в камин три-четыре огромных сырых полена,— господа офицеры постепенно вырубали на топливо усадебный парк,— и подошел к окну.

Лил дождь, нормандский дождь, словно кем-то выплеснутый со зла, частый дождь, встающий стеной из косых полос, режущий, хлещущий, все затопляющий дождь, каким славится руанская округа, поистине ночной горшок Франции.

Офицер долго смотрел на залитые лужайки, на речку Андель, которая, вздувшись, выступила из берегов, и барабанил по стеклу «Рейнский вальс»; обернулся он на шум шагов — это был его заместитель барон фон Кельвейнгштейн, имевший чин, равный у нас чину капитана.

Майор был широкоплечий великан с длинной, веерообразной бородой, устилавшей ему грудь; всей своей фигурой он напоминал павлина, напыщенного боевого павлина, но только хвост он распустил у подбородка. Глаза у него были голубые, холодные и спокойные; на щеке — шрам от сабельного удара, полученного во время Австрийской кампании. Он слыл не только хорошим офицером, но и хорошим человеком.

Капитан, приземистый, краснолицый толстяк, туго стягивал живот, брил свою огненную бороду, но из-за рыжей щетины на щеках при определенном освещении казалось, будто лицо его натерто фосфором.

Как-то, во время очередной попойки, он потерял два передних зуба и поэтому говорил невнятно, шепеляво выплевывая слова; на самой макушке у него была плешь вроде монашеской тонзуры, а вокруг этого оголенного кружка курчавились блестящие золотистые волоски.

Командир пожал ему руку и, выслушав рапорт о происшествиях по службе, залпом выпил чашку кофе (шестую по счету с утра); потом оба подошли к окну и в который раз отметили, что живется им невесело. Майор, человек спокойный, семейный, мирился со всем, но капитан, неисправимый кутила, завсегдатай притонов, заядлый бабник, бесился от вынужденного трехмесячного воздержания на этом уединенном посту.

В ответ на легкий стук командир крикнул: «Войдите!» И в дверях показался один из вышколенных немецких солдат-автоматов, безмолвным появлением своим докладывая, что завтрак подан.

В столовой собрались уже трое офицеров, младших по чину: поручик Отто фон Грослинг и два подпоручика — Фриц Шейнаубург и маркиз Вильгельм фон Эйрик, миниатюрный блондин, чванный, грубый с солдатами, жестокий к побежденным, готовый вспыхнуть, как порох, по любому поводу. Со времени вступления во Францию товарищи называли его не иначе как мадмуазель Фифи. Этим прозвищем он был обязан

жеманному виду, тонкой талии, словно затянутой в корсет, бледному лицу с еле пробивающимися усиками, а главное — усвоенной им привычке в знак величайшего презрения ко всем одушевленным и неодушевленным предметам на каждом шагу произносить с присвистом по-французски: Fi, fi donc!

Столовая замка Ювиль была длинным царственным покоем, где звездообразные трещины от пуль на старинных зеркалах и лохмотья фландрских шпалер, искромсанных саблей, свидетельствовали о занятиях мадмуазель Фифи в часы досуга.

На трех фамильных портретах, висевших по стенам, воин в латах, кардинал и судья курили теперь длинные фарфоровые трубки, а в рамке, с которой годы стерли позолоту, знатная дама в узком корсаже щеголяла лихими усищами, выведенными углем.

Офицеры молча позавтракали в этом изувеченном покое, где было темно от ливня и тоскливо от лежащей на всем печати поражения и где старинный дубовый паркет был затоптан, как пол в кабаке.

Кончили есть, принялись пить, закурили трубки, и начался ежедневный разговор об одолевавшей их всех тоске. Бутылки коньяка и ликера переходили из рук в руки, офицеры откинулись на спинки стульев и потягивали вино мелкими, частыми глотками, зажав в углу рта длинные, изогнутые трубки с фаянсовым яйцом на конце, размалеванным на зависть готтентотам.

Не успев выпить рюмку, они жестом безысходной скуки вновь наполняли ее. Только мадмуазель Фифи то и дело бил свою рюмку, и прислуживавший солдат сейчас же заменял ее другой.

Облако едкого дыма заволакивало их, и они погружались в унылое и сонное опьянение, в мрачную хмельную одурь людей, которым нечего делать. Но вдруг барона прорвало, он вскочил с места и рявкнул:

— Черт знает что! Так больше нельзя, надо же наконец что-нибудь изобрести.

Поручик Отто и подпоручик Фриц, два немца с типично прусскими физиономиями, топорными и тупыми, в один голос спросили:

— Что же изобрести, капитан?

Капитан задумался на минуту, затем ответил:

— Как что? Надо устроить пирушку с разрешения командира.

Майор вынул изо рта трубку:

— Какую пирушку, капитан?

Барон подошел к нему:

— Я берусь все устроить. Я пошлю в Руан Чего-Изволите, и он привезет дам,— я уж знаю, где их сыскать. А у нас будет приготовлен ужин,— все, что надо для этого, тут найдется, и мы хоть один вечер повеселимся.

Граф фон Фарльсберг, улыбаясь, пожал плечами:

— Друг мой, вы сошли с ума.

Но все остальные офицеры вскочили, окружили командира и принялись его упрашивать:

— Разрешите, господин майор, здесь ведь такая тоска!

Под конец командир уступил. «Согласен»,— сказал он, и барон сейчас же вызвал Чего-Изволите. Это был старый фельдфебель; никто никогда не видел у него на лице улыбки, зато он ревностно выполнял любые распоряжения начальства.

Стоя навытяжку, с невозмутимым видом выслушал он указания барона, затем вышел, а через пять минут большая полковая повозка, крытая брезентом и запряженная четверкой лошадей, мчалась в город под непрерывным дождем.

Мигом все встрепенулись, расслабленных поз как не бывало, лица оживились, завязалась беседа.

Хотя дождь хлестал с прежней силой, майор находил, что посветлело, а поручик Отто утверждал, что скоро совсем прояснится. Даже мадмуазель Фифи не сиделось на месте: юный маркиз то вскакивал, то опять бросался в кресло. Его светлые злые глаза искали вокруг, что бы разбить. Неожиданно устремив взгляд на даму с усами, он вынул револьвер.

— Тебе это незачем видеть,— сказал он и, не вставая со стула, прицелился. Две пули, одна за другой, пробили оба глаза на портрете.

После этого мадмуазель Фифи крикнул:

— А теперь заложим мину!

И сразу же разговоры прекратились, как будто всех увлекла новая захватывающая идея.

Мина — это была его выдумка, его способ разрушения, излюбленная забава.

Покидая имение, законный его владелец граф Фернан д'Алуа д'Ювиль не успел ничего ни увезти, ни спрятать, кроме серебра, которое удалось замуровать в стене. А так как он был богачом и меценатом, то большая гостиная, смежная со столовой, до бегства хозяина представляла собой настоящий музей.

Стены были увешаны ценными полотнами, рисунками, акварелями, а на столиках, этажерках, в шкафах и в изящных витринах собраны были сотни безделушек: японские вазы, статуэтки, саксонские фигурки, китайские болванчики, старинные изделия из слоновой кости и венецианского стекла — пестрая и редкостная коллекция, заполнявшая огромный зал.

Теперь от них мало что уцелело. Их не разграбили — майор граф фон Фарльсберг этого бы не допустил; но мадмуазель Фифи время от времени «закладывал мину», и все офицеры в тот день развлекались от души в течение целых пяти минут.

Юный маркиз отправился в гостиную подыскать подходящий сосуд. Принес он оттуда миниатюрный китайский чайник «семейства розовых», насыпал в него пороху, через носик осторожно ввел длинный трут, поджег его и побежал с этой адской машиной обратно в гостиную.

Затем поспешно возвратился и закрыл дверь. Все немцы ожидали стоя, с улыбкой младенческого любопытства на лицах; и как только взрыв потряс здание, все разом кинулись в гостиную.

Мадмуазель Фифи вбежал первым и не помня себя от восторга захлопал в ладоши при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отскочила голова; каждый спешил поднять с полу

куски фарфора, любовался причудливыми извилинами черепков, обследовал разрушения, спорил, какие трещины новые, а какие остались от предыдущего взрыва; майор отеческим оком озирал громадную комнату, разгромленную по методу нового Нерона и усеянную обломками произведений искусства. Первым выходя из нее, командир благодушно отметил:

— Здорово получилось сегодня.

От порохового дыма, проникшего в прокуренную столовую, там нечем стало дышать. Командир распахнул окно, и другие офицеры, возвратившиеся сюда выпить последнюю рюмку коньяка, тоже поспешили к раскрытому окну.

В комнату вливался влажный воздух, обдавая их запахом сырости и осыпая бороды водяной пылью. Немцы смотрели, как никнут под дождем большие деревья, как заливает широкую равнину потоками воды из низких, темных туч и только вдали сквозь дождевую завесу выступает серый шпиль колокольни.

С самого их прихода колокольня молчала. Во всей округе захватчики встретили сопротивление только в ее безмолвии. Кюре беспрекословно взял на постой и кормил прусских солдат. Он даже не раз принимал приглашение распить бутылку бордо или пива с вражеским командиром, а тот часто пользовался его благосклонным посредничеством, но не мог добиться, чтобы церковный колокол зазвонил хоть раз. Кюре скорее пошел бы на расстрел. В этом выражался его протест против оккупации, беззлобный, молчаливый протест, единственный, по его словам, вид протеста, подобающий священнику, чье орудие — кротость, а не кровь. И все жители на десять миль вокруг прославляли героическую стойкость аббата Шантавуана, который дерзал утверждать народный траур упорным молчанием своей церкви.

И все село, воодушевленное этим сопротивлением, готово было до последней крайности поддерживать своего пастыря, все готово было претерпеть, считая, что таким безмолвным протестом оно оберегает честь нации. Крестьянам казалось, что этим они служат родине не хуже Бельфора и Страсбурга, что они подают такой же достойный пример, который обессмертит название их села; во всем же остальном они подчинялись немцам-победителям.

Командир и офицеры смеялись над столь безобидным проявлением отваги, и, так как все местные жители держали себя услужливо и покорно, немцы терпели их немой патриотизм.

И только юный маркиз Вильгельм, будь его воля, принудил бы колокол звонить. Его бесила дипломатическая снисходительность начальства к строптивому священнику; не проходило дня, чтобы он не вымаливал у командира разрешения «звякнуть хоть разок, один-единственный разок, так только, для смеху». И просил он, ластясь по-кошачьи, кокетничая по-женски, томным голосом, точно капризная любовница, одержимая какой-нибудь прихотью. Но командир не сдавался, и мадмуазель Фифи утешения ради «закладывал мины» в господском доме.

Все пятеро постояли несколько минут у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец подпоручик Фриц изрек с плотоядным смешком:

— Барышни, правда, будут иметь плохой погода для такой прогулка.

Затем все отправились по своим делам; у капитана было особенно много хлопот с обедом.

В сумерках они сошлись снова и расхохотались, увидев друг друга: напомаженные, надушенные, посвежевшие, все были нарядны и вылощены, как на параде. У командира волосы казались менее седыми, чем утром, а капитан побрился так гладко, что только усы пламенели у него под носом.

Несмотря на дождь, окна не закрывали, и время от времени кто-нибудь подходил к нему и прислушивался. Было десять минут седьмого, когда барон уловил отдаленный грохот колес. Все бросились к окну; вскоре у подъезда остановился фургон: четверка лошадей в грязи по самую холку, дымясь и храпя, все тем же галопом примчала его из города.

И по ступенькам крыльца взошли пять женщин, пять красивых девушек, тщательно подобранных приятелем капитана, которому Чего-Изволите отвез записку начальника.

Девицы недолго ломались, не сомневаясь, что им хорошо заплатят. За три месяца они успели узнать пруссаков, но мирились с людьми и обстоятельствами. «Что поделаешь — ремесло!..» — убеждали они себя дорогой, должно быть, отвечая на тайные укоры еще не заглохшей совести.

Все направились прямо в столовую. При свете она казалась еще мрачнее в своем вопиющем разрушении, а стол с яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, куда его спрятал хозяин, придавал ей вид притона, где бандиты собрались поужинать после грабежа. Капитан сиял, он распоряжался женщинами, словно привычными предметами обихода, он их разглядывал, обнимал, обнюхивал, оценивал достоинства каждой как орудия наслаждения; а когда трое молодых людей пожелали выбрать себе девушек, он решительно воспротивился, ибо намеревался сам произвести дележ по справедливости, согласно чинам, чтобы ни на йоту не нарушить иерархии.

И тут во избежание спора, пререканий, подозрений в пристрастии он расставил всех женщин по росту, а затем тоном команды обратился к самой высокой:

— Как зовут?

Она ответила нарочитым басом:

— Памела.

Тогда он объявил:

— Номер первый, по имени Памела, назначается командиру.

Поцелуем утвердив затем свое право собственности на вторую — Блондинку, он предоставил толстуху Аманду поручику Отто, Еву Свеклу — подпоручику Фрицу, а самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик капитан отдал самую маленькую — Рашель, юную брюнетку, с глазами словно чернильные пятна, еврейку, чей вздернутый носик был исклю-

чением из правила, приписывающего всем ее соплемеииикам крючковатые иосы.

Впрочем, все женщины были миловидные и пухлые, без определеииой индивидуальности, все почти на один образец маиерами и цветом лица по причине повседиевных любовных упражнений и одииаковой жизни в публичном доме.

Трое молодых людей собрались тотчас же увести своих дам якобы для того, чтобы они почистились и помылись с дороги; ио капитаи предусмотрительно этому воспротивился, доказывая, что оии достаточио опрятиы и вполне могут сесть за стол, а иначе те, кто уедииится, вериувшись, захотят новизны и нарушат произведениое распределение. Его опытность взяла верх. Все ограиичились бесчисленными поцелуями ожидания.

Вдруг Рашель захлебиулась, закашлялась до слез, а из иоздрей у нее пошел дым; целуя ее, маркиз впустил ей в рот затяжку табачиого дыма. Она не вспылила, не вымолвила ни слова, только пристально взглянула иа своего обладателя, и в глубине ее чериых глаз загорелся гиев.

Все расселись. Даже комаидир был в восторге; справа от себя он посадил Памелу, слева Блондиику и заявил, развертывая салфетку:

— Вам пришла блестящая мысль, капитан.

Поручик Отто и подпоручик Фриц держали себя с соседками точио со светскими дамами и этим иесколько смущали их. Зато барои фои Кельвейгштейи, чувствуя себя в привычиой атмосфере, сиял, бросал фривольные словечки, а его огиениая шевелюра так и пылала. Ои любезничал на французско-рейиском диалекте, и его кабацкие комплименты, пролетая между выбитыми зубами, обдавали девиц целым фонтаном слюны.

Впрочем, оии не поиимали ни слова; в них пробудился иитерес, только когда он начал сыпать сальиостями, похабиыми словами, искажеиными иностраиным выговором. Тогда девицы принялись дружно хохотать, повалились иа своих соседей, повторяя выражения, которые барои теперь уже коверкал умышлеиио, чтобы побудить их говорить иепристойности. Оии охотио вторили ему и, охмелев с первых же бутылок вина, отбросили церемоиии, стали сами собой, целовали усы иаправо и иалево, щипали своих кавалеров, дико визжали, пили изо всех рюмок, пели французские куплеты и обрывки иемецких песенок, которым обучились при тесиом общеиии с иеприятелем.

Вскоре и мужчииы, опьяиеные женским телом, доступиым их обоияиию и осязанию, в иступлении принялись орать, бить посуду, между тем как стоявшие за каждым стулом солдаты невозмутимо прислужнвали им.

Один только комаидир сохраиял сдержаиность.

Маркиз фои Эйрик — мадмуазель Фифи — посадил Рашель к себе на колени и в бесстрастиом возбуждении то целовал смоляиые завитки у иее на шее, вдыхая сквозь вырез корсажа нежную теплоту н пряиый аромат ее тела, то давал волю яростиой жестокости, безудержиой потребностн разрушения и так больио щипал ее через ткань платья, что она поневоле вскрикивала. Иногда же, стисиув ее в объятиях и прижимая к себе изо всей силы, он впивался в цветущий рот еврейки и целовал ее так, что у обоих захватывало дух; но вдруг он укусил ее, и струйка крови потекла с подбородка за корсаж девушки.

Она снова поглядела ему прямо в глаза и, вытирая кровь, прошептала:

— За это платят.

Ои засмеялся злым смехом.

— Что ж, я заплачу,— ответил ои.

Подали десерт. Начали разливать шампанское. Комаидир встал и с тем же видом, с каким провозгласил бы тост за здоровье императрицы Августы, подиял бокал:

— За наших дам!

Тут послышались тосты, вполне достойиые пьяиых солдафонов, перемешанные с цииичными шутками, особенно грубыми нз-за незнания языка.

Немцы вставали один за другим и силились блесиуть остроумием, посмешить общество, а женщины, совсем охмелев, заводили глаза, еле шевелили языком и всякий раз бешено рукоплескали.

Капитаи, желая, вероятио, придать оргии галаитиый характер, в свою очередь поднял бокал и произнес:

— За иаши победы над сердцами!

Тогда поручик Отто, истый шварцвальдский медведь, которому винные пары ударили в голову, вскочил с места и в порыве пьяного патриотизма рявкиул:

— За иаши победы иад Францией!

Как ии были пьяны женщины, они умолкли, а Рашель, вся задрожав, обернулась:

— Послушай-ка, есть французы, при которых ты это не посмел бы сказать.

Но юиый маркиз, повеселевший от вииа, захохотал, ие спуская ее с колеи:

— Ого-го! Я таких пока ие видал. Стоит иам появиться, как оии удирают!

Девушка вспыхнула и крикиула ему в лицо:

— Лжешь, гадина!

Ои посмотрел на нее холодным взглядом, как смотрел иа картины, которые пробивал из пистолета, а затем сиова захохотал:

— Ого, как бы не так, красотка! Разве мы попали бы сюда, ие будь оии трусами?— И, возбуждаясь все более, выпалил:— Мы здесь — господа! Вся Фраиция — иаша!

Оиа рваиулась с его колеи и упала на свой стул. Он поднялся, протяиул бокал иад столом и повторил:

— Вся Фраиция и фраицузы, все леса, н поля, и дома Франции — наши!

Другие немцы, совершеиио пьяные скоты в мундирах, виезапно распалилнсь, схватилн бокалы и, заорав: «Да здравствует Пруссия!» — залпом опорожиили их.

Девушки не протестовали, только притихли пугливо. Даже Рашель смолчала, ие решаясь возразить.

Тогда юный маркиз, поставив иа голову еврейки виовь иаполиеиный бокал шампанского, выкрикнул:

— И все женщины Фраиции наши!

Она вскочила так стремительно, что бокал опрокинулся, упал иаземь и разбился, а светлое вино, как вода при крещении, пролилось иа ее чериые волосы. Глядя в упор иа офицера, который все еще смеялся, оиа пролепетала дрожащими губами, и голос ее срывался от гиева:

— Нет, нет, врешь, не будут женщииы Фраиции вашими!

Он опустился на стул, чтобы посмеяться всласть, и бросил:

— Вот это здорово! Зачем же ты-то сюда явилась, голубка?

Растерявшись и плохо соображая от волнения, она сперва промолчала, а затем, когда осмыслила его слова, выкрикиула в ответ возмущенно и страстно:

— Что я! Я не женщина, а шлюха, а других пруссакам не видать.

Не успела она договорить, как он наотмашь ударил ее по щеке; но когда он вторичио занес руку, она, обезумев от гнева, схватила со стола десертный ножичек и внезапно, так, что другие ничего не заметили, воизила ему серебряное лезвие прямо в ямку у самой шеи, туда, где начинается грудь.

Слово застряло у него в горле, он застыл, раскрыв рот, страшио выкатив глаза.

Все вскочили, заметались с яростиыми воплями, но Рашель швырнула стул под ногн поручику Отто, тот растяиулся во весь рост, а оиа бросилась к окну, распахнула его, прежде чем ее успели настичь, н прыгнула во мрак, под дождь, который лил по-прежнему.

Мадмуазель Фифи почти сразу испустил дух. Фриц и Отто выхватнли саблн из ножен, чтобы зарубнть жеищин, которые валялнсь у иих в ногах. Майор не без труда предотвратнл бойню н приказал запереть четырех обезумевших девушек в отдельную комнату под охраной двух солдат; затем с эиергией комаидира, который готовится к бою, он сиарядил погоню за беглянкой, ие сомиеваясь, что ее удастся схватить.

Пятьдесят человек, подхлестнутых угрозами, рассеялись по парку. Еще двестн обыскали леса и дома по всей долине.

Стол, вмиг очищенный от посуды, был превращеи в смертный одр; четверо офнцеров, мрачные, отрезвевшие, стоялн у окна, вглядываясь в иочь; лица у нних были суровые, как подобает прн исполнении воинского долга.

Ливень ие утнхал. Мрак был полои неумолчного плеска, легкого журчаиия воды — льющейся, текущей, каплющей, хлещущей.

Внезапно раздался выстрел, за ним другой, где-то далеко, н в теченне четырех часов то вблнзн, то вдалн слышалась пальба, снгналы сбора, странные окрнкн гортаниых голосов.

К утру все вериулнсь. Двое солдат были убиты, а трое ранены свонмн же товарнщами в пылу ночной охоты и в суматохе погонн.

Рашель найтн не удалось. Тогда началось преследоваине жителей; в домах все было перевернуто вверх дном, вся местиость нсхожеиа, нзъезжена, обыскана. Еврейка нсчезла без следа.

Генерал, получив донесение, приказал замять дело, дабы не подавать дурного примера армии, иаложил дисциплинарное взыскание иа комаидира, а тот приструнил своих подчиненных. Генерал выразился так:

— Мы воюем ие для забавы и не для потех с публичиыми девками.

И граф фон Фарльсберг решил сорвать злость иа местном населении. Так как ему нужеи был предлог, чтобы свирепствовать без стесиения, ои вызвал к себе кюре и приказал звонить в колокол при погребении маркиза фон Эйрик.

Против ожидания священиик проявил покориость, смиреиие, предупредительиость. И когда тело мадмуазель Фифи, которое окружали, сопровождали, охраняли вооружеииые солдаты, вынесли из замка Ювиль иа кладбище, все услышали звон колокола, погребальный звон, четкий и чистый, как будто его ласкала дружеская рука.

Вечером он звонил снова, звоиил и иа другое утро и все последующие дни; ои звоиил, сколько бы ии потребовалось. Случалось также, что ночью он начинал звонить сам по себе, бросал во мглу короткие, мягкие звуки, страииым образом развеселясь, пробудясь бог весть отчего. Все местные крестьяне в одии голос объявили, что он заколдован, и никто, кроме священиика и поиомаря, ие решался подойти к таинствеиной колокольне.

Там, наверху, в страхе и одиночестве жила несчастная девушка, а священиик н поиомарь потихоньку кормили ее.

Пробыла оиа там до ухода германских войск. Затем, однажды вечером, кюре взял у булочиика шарабаи и сам довез свою плеииицу до руаиской заставы. На прощаиие священннк поцеловал ее. Сойдя с шарабана, оиа пешком добежала до публичиого дома, хозяйка которого считала ее погибшей.

Некоторое время спустя ее вызволил оттуда человек без предрассудков, патриот, который пленился ее героическим поступком, а позднее, полюбив ее, жеиился иа ней, и она стала дамой, ие менее достойиой, чем миогие другие.

ПЛЕТЕЛЬЩИЦА СТУЛЬЕВ

Леону Эннику

Это было в конце обеда в день открытия охоты у маркиза де Бертраиа. Вокруг большого, ярко освещеиного стола, украшеиного цветами и уставлеииого вазами с фруктамн, сидели одниадцать охотииков, восемь молодых женщии и местиый врач.

Заговорили о любви, подиялся оживленный спор, вечиый спор о том, любят ли истииной любовью только раз в жизни или можно любить много раз. Приводилн прнмеры, когда люди любили по-иастоящему лншь раз в жизни; приводили и другие, когда любили страстно много раз. Мужчины в большннстве своем счнтали, что страсть, так же как н болезнь, может поражать одного и того же человека иеоднократио, может обрушнться на него, довестн до гибели, если иа пути ее встретнтся какое-ннбудь препятствие. Хотя такой взгляд

не вызывал споров, женщины, мнение которых скорее основывалось на поэзии, чем на жизненном опыте, уверяли, что любовь, истинная, настоящая, великая любовь, может посетить смертного только раз; любовь эта подобна молнии, она испепеляет, опустошает душу, и никакое сильное чувство, даже тень его уже не может зародиться в ней.

Маркиз, человек, много любивший, горячо оспаривал это мнение.

— Верьте мне, можно любить не раз, отдаваясь любви всей душой. Вы мне приводили примеры самоубийства как доказательство неповторимости страсти. А я скажу вам, что если бы люди не совершили этой глупости — самоубийство, конечно, глупость, отнимающая возможность снова впасть в грех,— они бы исцелились, и опять пришла бы любовь, и так было бы до самой их смерти. Влюбчивые люди подобны пьянице: кто пил — будет пить, кто любил — будет любить. Человеком повелевает темперамент.

Арбитром избрали местного врача, старого доктора, парижанина, обосновавшегося в этих краях; его попросили высказать свое мнение.

Определенного суждения у него не было.

— Маркиз правильно сказал: все зависит от темперамента. Я знал об одной любви, которая длилась пятьдесят пять лет, ее прервала только смерть.

Маркиза захлопала в ладоши.

— Как это правильно! Можно только мечтать о такой любви! Какое счастье прожить пятьдесят пять лет в плену глубокой, непреодолимой страсти! Каким был счастливцем, как должен был благословлять судьбу тот, кого так боготворили!

Врач улыбнулся.

— Вы не ошиблись, сударыня, любим был мужчина. И вы знаете его — это господин Шуке, наш аптекарь. А женщину вы тоже знали; это старуха — плетельщица стульев, она каждый год приходила в замок. Но я расскажу вам обо всем подробно.

Восторги дам поутихли, на их разочарованных лицах можно было прочесть: «Только-то!» Словно любовь была уделом натур утонченных, изысканных, которые одни могут занимать воображение людей из порядочного общества.

Врач продолжал свой рассказ:

— Три месяца тому назад я был приглашен к этой старой женщине, она была при смерти. Накануне она приехала сюда в повозке, служившей ей домом; повозку тащила кляча, которую вы не раз видели, и сопровождали ее две большие черные собаки — друзья и сторожа старухи. Когда я пришел, священник уже был у ее изголовья. Умирающая избрала нас своими душеприказчиками, и для того, чтобы стала понятна ее последняя воля, она рассказала нам свою жизнь. Ничего более странного и трогательного я никогда не слышал.

И отец и мать ее были плетельщиками стульев. У нее никогда не было жилища, твердо стоявшего на земле.

Ребенком она бродила в грязных, омерзительных, вшивых лохмотьях. Семья останавливалась за деревней и располагалась у канавы; отпрягали лошадь, и она паслась на воле; собака спала, положив голову на лапы; девочка кувыркалась в траве, а мать и отец в тени придорожных вязов чинили соломенные сиденья старых деревенских стульев. У обитателей этого жилища на колесах было не в обычае много разговаривать. Перекинувшись несколькими словами, чтобы решить, кому в тот день обходить дома, выкликая знакомое всем: «Стулья чиним, стулья плетем!»—муж и жена принимались скручивать солому, сидя рядом или же друг против друга. Когда девочка убегала поиграть с деревенскими сорванцами, слышался окрик отца: «Иди сию минуту сюда, негодница!»

Когда она подросла, ее начали посылать по дворам собирать заказы на починку. Бродя по деревням, она познакомилась с мальчуганами, но родители ее новых приятелей грубо окликали своих детей:

— Пойди сюда, озорник! Если я еще раз увижу, что ты разговариваешь со всякими оборвышами, смотри у меня!..

Нередко мальчишки бросали в нее камнями.

Когда какая-нибудь богатая дама подавала ей несколько су, девочка бережно припрятывала их.

Однажды — ей тогда было одиннадцать лет,— оказавшись в здешних местах, она повстречала за кладбищем маленького Шуке; мальчик плакал: кто-то из его сверстников отнял у него два лиарда. Слезы маленького буржуа, одного из тех малышей, которые убогому воображению забитой нищенки рисовались вечно счастливыми и довольными, поразили ее. Девочка подошла к сыну аптекаря и, узнав причину его горя, сунула ему все свои сбережения — семь су, которые мальчишка, конечно, взял, вытирая слезы. Вне себя от радости, она расхрабрилась и поцеловала его. Поглощенный рассматриванием монеток, мальчик не противился. Видя, что ее не оттолкнули и не ударили, девочка снова обняла его, поцеловала от всей души и убежала.

Что происходило в душе несчастной бродяжки? Привязалась ли она к этому малышу потому, что пожертвовала ради него всеми своими нищенскими сбережениями, или, может быть, потому, что подарила ему свой первый нежный поцелуй? Таинство любви совершается одинаково в душе ребенка и в душе взрослого.

В течение долгих месяцев она мечтала об этом уголке кладбища и о встреченном ею мальчике. В надежде снова увидеть его она стала воровать деньги у родителей: то утаивала одно су за починку стульев, то обсчитывала их на покупке провизии.

Когда она снова приехала в эту деревню, в кармане у нее уже были припрятаны накопленные два франка, но маленького, чистенького сына аптекаря она увидела только в окно аптеки между банкой с солитером и красным стеклянным шаром.

Она еще сильнее полюбила мальчика, покоренная, растроганная, восхищенная сиянием пурпуровой воды, ослепительным блеском банок.

Девочка хранила в душе это неизгладимое воспоминание, и когда увидела маленького Шуке на следующий год, за школой, где он играл с товарищами в шарики, она кинулась к нему, обняла и так крепко поцеловала, что он перепугался и за-

кричал. Чтобы успокоить его, она отдала ему все свои деньги: три франка двадцать сантимов — целое состояние; он смотрел на них во все глаза.

Мальчик взял деньги и позволил нищенке ласкать его, сколько ей было угодно.

В течение четырех лет она отдавала ему все свои сбережения, и он уже вполне сознательно брал их в обмен на поцелуи, которые он милостиво допускал. Иногда она давала ему тридцать су, иногда два франка, а случалось, только двенадцать су (она плакала от огорчения и стыда, но такой уж плохой выдался год), а в последний раз дала ему пятифранковик — большую круглую монетку; он даже засмеялся от удовольствия.

Она думала только о нем; он тоже поджидал ее с нетерпением, а завидев, бежал навстречу, и сердце девочки начинало учащенно биться.

Неожиданно он исчез. Его отправили учиться в коллеж. Об этом она узнала путем осторожных расспросов. Прибегнув к бесконечным уловкам, она убедила родителей изменить маршрут, чтобы попасть в наши края к тому времени, когда он приедет на каникулы. Девочке это удалось, но только через год,— целый год ей пришлось хитрить. Два года она не видела его и, встретив, с трудом узнала — так он изменился, вырос, похорошел, таким стал представительным в мундирчике с золотыми пуговицами. Он сделал вид, будто не узнает ее, и гордо прошел мимо.

Два дня она плакала; и с тех пор страданьям ее не было конца.

Она приезжала сюда каждый год, проходила мимо него, не осмеливаясь ему поклониться, а он ни разу даже не взглянул на нее. Она безумно любила его. Она сказала мне:

— Только он один существовал для меня на свете, доктор, других я даже не замечала.

Родители ее умерли. Она продолжала их ремесло, жила все так же, только вместо одной собаки завела двух — двух страшных псов, которых чужим следовало остерегаться.

Как-то раз, приехав в деревню, по которой так тосковала ее душа, она увидела, как из аптеки вышел ее любимый Шуке под руку с молодой женщиной. Это была его жена. Он женился.

Вечером она бросилась в пруд, на площади перед мэрией. Запоздалый прохожий, пьяница, возвращавшийся из кабака, вытащил ее и отвел в аптеку. Сын Шуке сошел вниз в халате, чтобы оказать ей помощь, и словно бы не узнав ее, раздел, растер, потом сухо сказал: «Да вы просто спятили! Нельзя же быть такой дурой!» Это ее воскресило. Он, он говорил с ней! Долгое время она вспоминала об этом счастье.

Аптекарь не захотел взять с нее платы за услуги, хотя она настойчиво просила его об этом.

И так прошла ее жизнь. Она чинила стулья, мечтая о Шуке. Каждый год она видела его в окне аптеки. Она неизменно покупала у него лекарства для того, чтобы посмотреть на него вблизи, говорить с ним и опять давать ему деньги.

Как я уже сказал, она умерла этой весной. Перед смертью, поведав мне свою печальную историю, она попросила меня передать тому, кого она любила такой смиренной, безропотной любовью, все свои сбережения, все, что удалось ей скопить за целую жизнь; ведь работала она только для него, «для него одного», сказала она; иногда она даже голодала, чтобы сберечь лишний грош и быть уверенной, что он хоть раз подумает о ней, когда ее не станет.

Она вручила мне две тысячи триста двадцать семь франков. Я отдал священнику двадцать семь франков на похороны, а остальные взял, когда она испустила последний вздох.

На следующий день я пошел к Шуке. Супруги доедали завтрак, сидя друг против друга, толстые и красные, пропахшие особым запахом аптеки, преисполненные важности и самодовольства.

Меня пригласили сесть; предложили вишневой настойки, от которой я не отказался; затем я, уверенный, что они будут тронуты до слез, взволнованно начал свой рассказ.

Как только Шуке понял, что его любила какая-то нищая плетельщица стульев, шатавшаяся по всей округе, какая-то бродяжка, он вскочил. Аптекарь негодовал, словно она погубила его репутацию, лишила его уважения честных людей,— любовь ее была как бы покушением на его честь, на нечто такое, что ему было дороже всего в жизни.

Его жена была тоже вне себя и все повторяла: «Ну что за дрянь! Что за дрянь!» — как бы не находя иных слов.

Шуке встал и принялся ходить по комнате большими шагами. Феска его сползла на одно ухо. Он бормотал:

— Как вам это нравится, доктор? Ведь вот какая беда стряслась! Что мне делать? Ах, если бы я только знал об этом, когда она была жива, я бы добился, чтобы ее арестовали и засадили в тюрьму! И уж оттуда она бы не вышла, ручаюсь вам!

Я был ошеломлен: мое посредничество, вызванное добрыми побуждениями, приняло неожиданный оборот. Я не знал, что говорить, что делать. Но я должен был довести свою миссию до конца и сказал:

— Покойница поручила мне передать вам ее сбережения — две тысячи триста франков. Но, насколько я понял, все, что вы от меня узнали, вас крайне неприятно поразило, и, может быть, лучше всего будет отдать эти деньги бедным.

Аптекарь и его супруга смотрели на меня, растерянные, смущенные.

Я вынул из кармана деньги, жалкий капитал, истертые монеты, собранные повсюду, золотые вперемешку с медяками. Затем я спросил:

— Как же вы решите?

Госпожа Шуке заговорила первая:

— Но... ведь это последняя воля несчастной женщины... мне кажется, нам было бы просто неудобно отказаться.

Муж чуть смущенно проговорил:

— Мы могли бы купить на эти деньги что-нибудь нашим детям.

— Как вам будет угодно,— сухо сказал я.

— Что ж, дайте нам деньги,— сказал аптекарь,— раз она вам это поручила. Мы найдем способ употребить их на какое-нибудь доброе дело.

Я отдал деньги, откланялся и ушел.

На следующий день г-н Шуке явился ко мне и решительно заявил:

— Ведь она оставила здесь свою повозку, эта... эта женщина. Зачем она вам?

— Повозка мне не нужна, возьмите, если хотите.

— Прекрасно, я возьму, она мне пригодится: я сделаю из нее сторожку для огорода.

Он уже собрался уйти. Я ему напомнил:

— После нее остались еще старая лошадь и две собаки. Хотите забрать?

Он в изумлении остановился.

— Ну нет, зачем они мне? Располагайте ими, как вам заблагорассудится.

Господин Шуке рассмеялся. Затем он протянул мне руку, и я пожал ее. Ничего не поделаешь, доктор и аптекарь должны жить в дружбе!

Я оставил собак себе. Священник, у которого был большой двор, взял лошадь. Повозка превратилась в сторожку на огороде Шуке; на деньги умершей он купил пять акций железнодорожной компании.

Вот единственная настоящая любовь, которую я встретил в своей жизни.

Врач умолк.

Маркиза, у которой на глазах были слезы, вздохнула:

— Да, одни только женщины умеют любить.

ЛУННЫЙ СВЕТ

Аббату Мариньяну очень подходила его воинственная фамилия, — у этого высокого худого священника была душа фанатика, страстная, но суровая. Все его верования отличались строгой определенностью и чужды были колебаний. Он искренне полагал, что постиг господа бога, проник в его промысел, намерения и предначертания.

Расхаживая широкими шагами по своему саду, он иногда задавал себе вопрос: «Зачем бог сотворил то или это?» Мысленно становясь на место бога, он упорно допытывался ответа и почти всегда находил его. Да, он был не из тех, кто шепчет в порыве благочестивого смирения: «Неисповедимы пути твои, господи». Он рассуждал просто: «Я служитель божий и должен знать или по крайней мере угадывать его волю».

Все в природе казалось ему созданным с чудесной, непреложной мудростью. «Почему» и «потому» всегда были в непоколебимом равновесии. Утренние зори созданы для того, чтобы радостно было пробуждаться, летние дни — чтобы созревали нивы, дожди — чтобы орошать поля, вечера — для того, чтобы подготовлять ко сну, а темные ночи — для мирного сна.

Четыре времени года превосходно соответствовали всем нуждам земледелия, и никогда у этого священника даже и мысли не возникало, что в природе нет сознательных целей, что, напротив, все живое подчинено суровой необходимости, в зависимости от эпохи, климата и материи.

Но он ненавидел женщину, бессознательно ненавидел, инстинктивно презирал. Часто повторял он слова Христа: «Жена, что общего между тобой и мною?» Право, сам создатель был как будто недоволен этим своим творением. Для аббата Мариньяна женщина поистине была «двенадцать раз нечистое дитя», о котором говорит поэт.

Она была искусительницей, соблазнившей первого человека, и по-прежнему вершила свое черное дело, оставаясь все тем же слабым и таинственно волнующим существом. Но еще больше, чем ее губительное тело, он ненавидел ее любящую душу.

Нередко он чувствовал, как устремляется к нему женская нежность, и, хотя он твердо был уверен в своей неуязвимости, его приводила в негодование эта потребность в любви, вечно томящая душу женщины.

Он был убежден, что бог создал женщину лишь для искушения, для испытания мужчины. Приближаться к ней следовало осторожно и опасливо, точно к западне. Да и в самом деле, она подобна западне, ибо руки ее простерты для объятия, а губы отверсты для поцелуя.

Снисходительно он относился только к монахиням, так как обет целомудрия обезоружил их, но и с ними он обращался сурово: он угадывал, что в глубине заключенного в оковы, усмиренного сердца монахинь живет извечная нежность и все еще изливается даже на него — на их пастыря.

Он чувствовал эту нежность в их благоговейном, влажном взгляде, не похожем на взгляд набожных монахов, в молитвенном экстазе, к которому примешивалось нечто от их пола, в порывах любви ко Христу, которые возмущали его, ибо это была любовь женская, любовь плотская; он чувствовал эту окаянную нежность даже в их покорности, в кротком голосе, в потупленном взоре, в смиренных слезах, которые они проливали в ответ на его гневные наставления. И, выйдя из монастырских ворот, он отряхивал сутану и шел быстрым шагом, словно убегал от опасности.

У него была племянница, которая жила с матерью в соседнем домике. Он все уговаривал ее пойти в сестры милосердия.

Она была хорошенькая и ветреная насмешница. Когда аббат читал ей нравоучения, она смеялась; когда он сердился, она горячо целовала его, прижимала к сердцу, а он бессознательно старался высвободиться из ее объятий, но все же испытывал сладостную отраду от того, что в нем пробуждалось тогда смутное чувство отцовства, дремлющее в душе у каждого мужчины.

Прогуливаясь с нею по дорогам, среди полей, он часто говорил ей о боге, о своем боге. Она совсем его не слушала, глядела на небо, на траву, на цветы, и в глазах ее светилась радость жизни. Иногда она убегала вдогонку за пролетающей бабочкой и, поймав ее, говорила:

— Посмотрите, дядечка, до чего хорошенькая! Просто хочется поцеловать ее.

И эта потребность поцеловать какую-нибудь букашку или звездочку сильно тревожила, раздражала, возмущала аббата, — он вновь видел в этом неистребимую нежность, заложенную в женском сердце.

И вот однажды утром жена пономаря — домоправительница аббата Мариньяна — осторожно

сообщила ему, что у его племянницы появился воздыхатель.

У аббата горло перехватило от волнения, он так и застыл на месте, позабыв, что у него все лицо в мыльной пене, — он как раз брился в это время.

Когда к нему вернулся дар речи, он крикнул:

— Быть не может! Вы лжете, Мелани!

Но крестьянка прижала руку к сердцу:

— Истинная правда, убей меня бог, господин кюре. Каждый вечер, как только ваша сестрица лягут в постель, она убегает из дому. А уж он ее ждет у речки, на берегу. Да вы сходите как-нибудь туда между десятью и двенадцатью. Сами увидите.

Он перестал скоблить подбородок и стремительно зашагал по комнате, как обычно в часы глубокого раздумья. Затем опять принялся бриться и три раза порезался — от носа до самого уха.

Весь день он молчал, кипел возмущением и гневом. К яростному негодованию священника против непобедимой силы любви примешивалось оскорбленное чувство духовного отца, опекуна, блюстителя душ, которого обманула, надула, провела хитрая девчонка; в нем вспыхнула горькая обида, которая терзает родителей, когда дочь объявляет им, что она без их ведома и согласия выбрала себе супруга.

После обеда он пытался отвлечься от своих мыслей чтением, но безуспешно, и раздражение его все возрастало. Лишь только пробило десять, он взял свою палку, увесистую дубинку, которую всегда брал в дорогу, когда шел ночью навестить больного. С улыбкой поглядев на эту тяжелую палицу, он угрожающе покрутил ее своей крепкой крестьянской рукой. Затем скрипнул зубами и вдруг со всего размаху так хватил по стулу, что спинка раскололась и рухнула на пол.

Он отворил дверь, но замер на пороге, пораженный сказочным, невиданно ярким лунным светом.

И так как аббат Мариньян наделен был восторженной душой, такой же, наверно, как у отцов церкви, этих поэтов-мечтателей, он вдруг позабыл обо всем, взволнованный величавой красотой тихой и светлой ночи.

В его садике, залитом кротким сиянием, шпалеры плодовых деревьев отбрасывали на дорожку тонкие узорчатые тени своих ветвей, едва опушенных листвой; огромный куст жимолости, обвивавшей стену дома, струил такой нежный, сладкий аромат, что казалось, в прозрачном теплом сумраке реяла чья-то благоуханная душа.

Аббат долгими жадными глотками впивал воздух, наслаждаясь им, как пьяницы наслаждаются вином, и медленно шел вперед, восхищенный, умиленный, почти позабыв о племяннице.

Выйдя за ограду, он остановился и окинул взглядом всю равнину, озаренную ласковым, мягким светом, тонувшую в серебряной мгле безмятежной ночи. Поминутно лягушки бросали в пространство короткие металлические звуки, а поодаль заливались соловьи, рассыпая мелодичные трели своей песни, той песни, что гонит раздумье, пробуждает мечтания и как будто создана для поцелуев, для всех соблазнов лунного света.

Аббат снова двинулся в путь, и почему-то сердце у него смягчилось. Он чувствовал какую-то слабость, внезапное утомление, ему хотелось присесть и долго-долго любоваться лунным светом, молча поклоняясь богу в его творениях.

Вдалеке, по берегу речки, тянулась извилистая линия тополей. Легкая дымка, пронизанная лучами луны, словно серебристый белый пар, клубилась над водой и окутывала все излучины русла воздушной пеленой из прозрачных хлопьев.

Аббат еще раз остановился; его душу переполняло неодолимое, все возраставшее умиление.

И смутная тревога, сомнение охватили его, он чувствовал, что у него вновь возникает один из тех вопросов, какие он подчас задавал себе.

Зачем бог создал все это? Если ночь предназначена для сна, для безмятежного покоя, отдыха и забвения, зачем же она прекраснее дня, нежнее утренних зорь и вечерних сумерек? И зачем сияет в неторопливом своем шествии это пленительное светило, более поэтичное, чем солнце, такое тихое, таинственное, словно ему указано озарять то, что слишком сокровенно и тонко для резкого дневного света; зачем оно делает прозрачным ночной мрак?

Зачем самая искусная из певчих птиц не отдыхает ночью, как другие, а поет в трепетной мгле?

Зачем наброшен на мир этот лучистый покров? Зачем эта тревога в сердце, это волнение в душе, эта томная нега в теле?

Зачем раскинуто вокруг столько волшебной красоты, которую люди не видят, потому что они спят в постелях? Для кого же сотворено это величественное зрелище, эта поэзия, в таком изобилии нисходящая с небес на землю?

И аббат не находил ответа.

Но вот на дальнем краю луга, под сводами деревьев, увлажненных радужным туманом, появились рядом две человеческие тени.

Мужчина был выше ростом, он шел, обнимая свою подругу за плечи, и, время от времени склоняясь к ней, целовал ее в лоб. Они вдруг оживили неподвижный пейзаж, обрамлявший их, словно созданный для них фон. Они казались единым существом, тем существом, для которого предназначена была эта ясная и безмолвная ночь, и они шли навстречу священнику, словно живой ответ, ответ, посланный господом на его вопрос.

Аббат едва стоял на ногах, — так он был потрясен, так билось у него сердце; ему казалось, что перед ним библейское видение, нечто подобное любви Руфи и Вооза, воплощение воли господней на лоне прекрасной природы, о которой говорят священные книги. И в голове у него зазвенели стихи из *Песни Песней,* крик страсти, призывы тела, вся огненная поэзия этой поэмы, пылающей любовью.

И аббат подумал:

«Быть может, бог создал такие ночи, чтобы покровом неземной чистоты облечь любовь человеческую».

И он отступил перед этой обнявшейся четой. А ведь он узнал свою племянницу, но теперь спрашивал себя, не дерзнул ли он воспротивиться воле божьей. Значит, господь дозволил людям любить

друг друга, если он окружает их любовь таким великолепием.

И он бросился прочь, смущенный, почти пристыженный, словно украдкой проникнул в храм, куда ему запрещено было вступать.

НАСЛЕДСТВО

Катюлю Мендесу

I

Еще не было десяти, а чиновники, торопливо стекавшиеся со всех концов Парижа, вливались потоком в широкий подъезд морского министерства: был канун Нового года — пора повышений по службе, а потому и необычайного усердия. Поспешный топот разносился по обширному зданию с его лабиринтом длинных и путаных коридоров, куда выходили двери бесчисленных отделов.

Чиновники расходились по своим местам, пожимали руки явившимся ранее сослуживцам, снимали новый сюртук, надевали для работы старый, и каждый усаживался за стол, где его ждала куча бумаг. Затем чиновники шли за новостями в соседние отделы и прежде всего справлялись, здесь ли начальник, в каком он расположении духа, много ли прибыло почты. Регистратор «отдела материальной части» г-н Сезар Кашлен, бывший унтер-офицер морской пехоты, ожидавший за выслугой лет производства в старшие регистраторы, одну за другой заносил в огромную книгу бумаги, только что принесенные рассыльным из кабинета начальника. Против него сидел экспедитор — папаша Савон, выживший из ума старик, прославившийся на все министерство невзгодами своей супружеской жизни. Скособочившись и окаменев на стуле, как подобает старательному писцу, он искоса заглядывал в лежавшую рядом бумагу и, неторопливо водя пером, усердно переписывал депешу начальника.

Г-н Кашлен, тучный мужчина с подстриженными ежиком седыми волосами, сказал, не прерывая работы:

— Тридцать две депеши из Тулона. Они присылают столько же, сколько четыре порта, вместе взятые.

Затем, обратясь к папаше Савону, он спросил, как делал это каждое утро:

— Ну-с, папаша Савон, как поживает супруга?

Продолжая водить пером, старик ответил:

— Вы же знаете, господин Кашлен, мне тяжело говорить об этом.

Регистратор рассмеялся, как смеялся каждое утро, слыша один и тот же ответ.

Дверь отворилась, и вошел Маз, красивый, щеголевато одетый брюнет, полагавший, что занимаемое им служебное положение не достойно его наружности и превосходных манер. Он носил массивные перстни, массивную часовую цепь, монокль — больше из франтовства, так как снимал его за работой,— и то и дело встряхивал манжетами, стараясь выставить напоказ крупные сверкающие запонки.

Еще в дверях он спросил:

— Много нынче дел?

Кашлен ответил:

— Тулон все шлет и шлет. Сразу видно, что Новый год не за горами, вот они и стараются.

В эту минуту вошел еще один человек — г-н Питоле, известный забавник и остряк. Он рассмеялся и спросил:

— А мы-то разве не стараемся?

И, вынув часы, объявил:

— Без семи минут десять, а все уже на местах! Черт подери, Маз, что вы на это скажете?! Бьюсь об заклад, что его милость господин Лезабль пришел к девяти, как и наш высокочтимый начальник.

Регистратор отодвинул бумаги, сунул перо за ухо и, облокотясь на стол, воскликнул:

— Ну, уж этот наверняка выслужится! Ведь он из кожи лезет вон!..

А г-н Питоле, усевшись на край стола и болтая ногами, ответил:

— Ну, конечно, выслужится, папаша Кашлен, не сомневайтесь, что выслужится. Ставлю двадцать франков против одного су, что не пройдет и десяти лет, как он станет начальником отдела.

Маз, который свертывал сигарету, грея ляжки перед камином, воскликнул:

— Нет уж, увольте, я предпочитаю всю жизнь оставаться при двух с половиной тысячах, чем расшибаться в лепешку, как он!

Повернувшись на каблуках, Питоле насмешливо возразил:

— Что не помешало вам, дорогой мой, сегодня, двадцатого декабря, прийти задолго до десяти.

Но Маз хладнокровно пожал плечами:

— Еще бы! Я вовсе не желаю, чтобы кто-нибудь меня обскакал! Раз вы являетесь до зари, приходится и мне делать то же, хотя я вовсе не в восторге от такого усердия. Но я, по крайней мере, далек от того, чтобы называть начальника «дорогим патроном», как Лезабль, уходить в половине седьмого да еще брать с собой работу на дом. Впрочем, я ведь бываю в свете, у меня есть и другие обязанности, которые требуют времени.

Кашлен перестал писать и, задумавшись, уставился в пространство. Наконец он спросил:

— Как вы полагаете, получит он и в этом году повышение?

— Конечно, получит, да еще как получит! Это такой ловкач!—воскликнул Питоле.

И все заговорили на извечную тему о повышениях по службе и наградах, уже целый месяц будоражившую этот огромный чиновничий улей от подвала до чердака.

Взвешивали шансы, прикидывали размеры наградных, перебирали должности, заранее негодовали, боясь, что их обойдут. С утра до вечера велись бесконечные споры, к ним неизменно возвращались на другой день, приводя те же доводы, те же возражения, те же доказательства.

Вошел г-н Буассель, тщедушный, бледный, болезненного вида чиновник, видевший жизнь в свете романов Александра Дюма. Всюду ему мерещились необычайные приключения, и по утрам он сообщал своему сослуживцу Питоле, какие не-

вероятные встречн произошли у него накануне, какие драмы якобы разыгрываются в доме, где он живет, и как отчаянные вопли, донесшиеся с улицы в половине четвертого ночи, заставили его вскочить и броситься к окну. Ежедневно ему приходилось то разнимать дерущихся, то укрощать лошадей, то спасать женщин, которым грозила смертельная опасность. Физическое убожество не мешало ему самоуверенно и нудно похваляться своими подвигами и необыкновенной силой.

Услышав, что речь идет о Лезабле, он заявил:

— Я когда-нибудь еще покажу этому сопляку! Посмей он только меня обскакать, я его так трахну, что у него сразу пропадет охота выслуживаться!

Маз, продолжая курить, усмехнулся:

— Хорошо бы вам поторопиться, ибо мне известно из достоверных источников, что в этом году вас обошли, чтобы повысить Лезабля.

Потрясая кулаком, Буассель воскликнул:

— Клянусь, если это так...

Дверь снова отворилась, и торопливо вошел озабоченный молодой чиновник, небольшого роста, с баками, как у флотского офицера или адвоката, в очень высоком стоячем воротничке, так быстро сыпавший словами, словно он опасался, что не успеет высказать все, что нужно. Он наскоро пожал всем руки, с видом крайне занятого человека, и обратился к регистратору:

— Дорогой Кашлен, дайте, пожалуйста, папку Шаплу, проволока для тросов, Тулон, АТВ, тысяча восемьсот семьдесят пять.

Кашлен поднялся, достал у себя над головой папку, вынул из нее пачку бумаг в синей обложке и, подавая ее сослуживцу, сказал:

— Вот, господин Лезабль. Вам известно, что начальник взял отсюда вчера три депеши?

— Знаю. Они у меня, благодарю.

И молодой человек поспешно удалился.

Только он вышел, Маз воскликнул:

— Видали, сколько форсу! Можно подумать, что он уже начальство.

А Питоле подхватил:

— Погодите! Он получит отдел скорее, чем любой из нас.

Кашлен так и не вернулся к своим бумагам. Казалось, им овладела какая-то навязчивая мысль. Он спросил:

— Так, значит, это молодой человек с будущим?

Маз презрительно буркнул:

— Да, если полагать, что министерство — блестящее поприще; но кое для кого этого маловато!

Питоле перебил его:

— Уж не рассчитываете ли вы стать посланником?

Маз нетерпеливо поморщился:

— Дело не во мне. Мне-то наплевать! Но в глазах света начальник отдела всегда будет ничтожеством.

Экспедитор, папаша Савон, не отрывался от своих бумаг. Но вот уже несколько минут он раз за разом макал перо в чернильницу, упорно вытирал его о влажную губку и все-таки не мог вывести ни одной буквы. Черная жидкость скатывалась с кончика пера и жирными кляксами капала на бумагу. Растерявшийся старик с отчаянием глядел на депешу, которую придется переписывать заново, как и множество других бумаг за последнее время.

— Опять чернила негодные!— уныло пробормотал он.

Раздался громовой хохот. Кашлен смеялся так, что у него тряслось брюхо и подпрыгивал стол, за которым он сидел. Маз перегнулся пополам и скорчился, словно собирался, пятясь, влезть в камин; Питоле топал ногами и, захлебываясь, тряс правой рукой, будто она была мокрая. Даже Буассель задыхался от смеха, хотя обычно воспринимал события скорее трагически, нежели комически.

Но папаша Савон, вытирая перо о полу сюртука, проворчал:

— Нечего тут смеяться. Мне приходится по два-три раза переписывать всю работу.

Он вытащил из папки чистый лист бумаги, подложил транспарант и начал выводить заголовок: «Уважаемый господин министр...» Перо уже больше не оставляло клякс и писало четко. Старик привычно сел бочком и принялся за переписку.

Все продолжали хохотать. Они задыхались от смеха. Вот уже почти полгода они разыгрывали все ту же комедию, а старик ничего не замечал. Стоило накапать немного масла на влажную губку, служившую для вытирания перьев, и чернила скатывались с вымазанного жиром пера. Изумленный экспедитор часами предавался отчаянию, изводил целые коробки перьев и бутыли чернил и, наконец, пришел к убеждению, что канцелярские принадлежности стали никуда не годными.

И вот для затравленного старика служба превратилась в пытку. В табак ему подмешивали порох, в графин, из которого папаша Савон частенько наливал себе воды, подсыпали всякую дрянь, уверяя его, что со времен Коммуны социалисты только и делают, что портят предметы первой необходимости, чтобы опорочить правительство и вызвать революцию.

Старик воспылал смертельной ненавистью к анархистам, притаившимся, как ему мерещилось, всюду и везде его подстерегавшим, его одолевал суеверный страх перед неведомой и грозной опасностью.

Внезапно в коридоре резко прозвенел колокольчик. Всем хорошо был знаком этот яростный звонок начальника, г-на Торшбефа; чиновники бросились к дверям и рассыпались по своим отделам.

Кашлен принялся было снова за регистрацию бумаг, но положил перо и задумался, подперев голову руками. Ему не давала покоя мысль, которую он вынашивал последнее время. Бывший унтер-офицер морской пехоты, уволенный вчистую после трех ранений — одного в Сенегале и двух в Кохинхине,—он по особой милости был зачислен в штат министерства. Начав с низших ступеней, он медленно продвигался по служебной лестнице, претерпевая множество обид, невзгод и лишений. И власть, узаконенная власть, представлялась ему самым прекрасным, что есть на свете. Начальник

отдела казался ему существом исключительным, существом высшего порядка; чиновники, о которых говорилн: «Ну, это ловкач, он далеко пойдет»,— были для него людьми иного склада, иной породы, нежели он сам.

Вот почему к своему сослуживцу Лезаблю он питал глубочайшее уважение, граничившее с благоговением, н лелеял заветную мечту, неотступиую мечту — выдать за него свою дочь.

Когда-нибудь она будет богата, и даже очень богата. Об этом знало все министерство: ведь у его сестры, мадмуазель Кашлен, был целый миллион, свободный от долгов и в надежном обеспечении. Правда, как уверяли злые языки, она приобрела его ценою «любви», но греховное происхождение деиег было искуплено запоздалым благочестием.

Престарелая девица, некогда дарившая ласки многнм, удалнлась на покой, владея полумиллионом франков, и за восемнадцать лет свирепой бережливости и более чем скромного образа жизнн сумела удвоить эту сумму. Давно живя у брата, оставшегося вдовцом с дочкой Корали на руках, она вносила лишь весьма незначительную долю в общее хозяйство. Охраняя н прнумножая свои капнталы, она постоянно твердила брату:

— Все равно все это достанется твоей дочерн! Только выдай ее поскорее замуж. Я хочу видеть своих внучатых племянников. То-то будет радость, когда я смогу поцеловать ребенка нашей крови.

В министерстве все это зиали, и в претендентах недостатка не было. Поговаривали, что сам Маз, красавец Маз, этот министерский лев, с явными намерениями увнвался вокруг папаши Кашлена. Но отставной унтер-офицер, ловкнй проныра, побывавшнй под всеми широтами, желал иметь зятем человека с будущим, человека, который со временем займет большой пост и этим придаст веса и ему, Сезару, бывшему унтеру. Лезабль вполне отвечал этим требованиям, и Кашлен давно уже нскал способа заманить его к себе.

Вдруг он поднялся, потирая руки. Нашел! Кашлен хорошо знал слабости своих сослуживцев. Лезабля можно было покорнть, польстив его тщеславию, его чиновничьему тщеславню. Он попроснт у Лезабля покровительства, как просят его у какого-ннбудь сенатора или депутата, у любой высокопоставленной особы.

Кашлен вот уже пять лет не получал повышения и был почти уверен, что оно ждет его в этом году. Так вот, он притворится, будто полагает, что обязан этим повышением Лезаблю, и в знак благодарностн пригласит его к себе отобедать.

Как только этот план созрел у него в голове, Кашлен принялся за его осуществление. Он достал нз шкафа свой выходной сюртук, скинул старый и, захватив все зарегистрироваиные бумаги, находившиеся в веденин Лезабля, направился в кабинет, который был предоставлен тому по особому благоволению начальства — снисходя к его рвению н важности возложеиных на него обязанностей.

Лезабль писал, сидя за большим столом, среди вороха раскрытых папок и бумаг, заиумерованных красными илн синнми чернилами.

Увндев Кашлена, он спросил запросто, но тоном, в котором сквозило уважение:

— Ну, что, дружище, много ли вы мне дел прннесли?

— Да, немало. Но, помнмо того, я хотел с вамн поговорить.

— Присаживайтесь, друг мой, я вас слушаю.

Кашлен сел, откашлялся, нзобразил на лице смущенне и нерешительно произнес:

— Вот я о чем, господнн Лезабль. Не стану ходить вокруг да около. Я старый солдат, буду говорить напрямик. Я хочу просить вас об услуге.

— Какой?

— В двух словах: мне необходнмо в этом году получнть повышение. У меня нет ннкого, кто бы за меия похлопотал, и я подумал о вас.

Удивленный Лезабль слегка покраснел; довольный и преисполненный горделивого смущения, он все же возразил:

— Но я здесь ничто, дружище, я значу тут куда меньше, чем вы. Ведь вас и так скоро повысят. Ничем не могу помочь. Поверьте, что...

Кашлен оборвал его с грубоватой почтительностью:

— Ну, ну, ну! Начальннк к вам прислушнвается, и, если вы замолвите за меня словечко, дело выгорит. Подумайте только: через полтора года я вправе выйти на пенсию, а не получив к первому января повышения, я потеряю на этом пятьсот франков в год. Я прекрасно знаю, все говорят: Кашлен не нуждается, его сестра миллнонерша. Это верно, что у сестры есть миллнон, но этот миллион приносит проценты ей, а не мне. Он достанется дочери,—это верно, но моя дочь и я — не одно и то же. Какая мне польза от того, что моя дочь с зятем будут кататься как сыр в масле, если мне придется положить зубы на полку? Вот каковы дела, понимаете?

Лезабль кивнул в знак согласня:

— Справедливо, весьма справедливо. Ваш зять может отнестись к вам не так, как должно. К тому же куда приятней никому не быть обязанным. Ну что ж! Обещаю вам сделать все, что от меня зависит: поговорю с начальннком, обрнсую положение, буду настаивать, если иужио. Рассчнтывайте на меня!

Кашлен поднялся, схватил сослуживца за обе руки и, крепко, по-солдатскн, тряхнув их, пробормотал:

— Спасибо, спасибо. Знайте, что если мие когда-либо представится случай... еслн я когдаиибудь смогу...

Он не договорил, не находя слов, и ушел, гулко, по-солдатски, печатая щаг.

Но тут он заслышал нздали яростно звеневший колокольчнк и бросился бежать, ибо сомнений не было: начальник отдела, г-н Торшбеф, требовал к себе регнстратора.

Неделю спустя Кашлен, придя в миинстерство, нашел на своем столе запечатанное письмо следующего содержания:

«Дорогой коллега! Рад сообщить вам, что, по представленню директора нашего департамеита н начальника отдела, министр вчера подписал прн-

каз о назначении вас старшим регистратором. Завтра вы получите официальное извещение, до тех пор вы ничего не знаете,— не так ли?

Преданный вам *Лезабль*».

Сезар тут же поспешил в кабинет своего молодого сослуживца и, выражая признательность, стал расшаркиваться, заверяя его в своей преданности и рассыпаясь в благодарностях.

Уже на следующий день стало известно, что Лезабль и Кашлен получили повышение. Что же касается остальных чиновников, то им придется подождать до лучших времен, а пока удовольствоваться наградами в размере от ста пятидесяти до трехсот франков.

Буассель объявил, что в один из ближайших вечеров, ровно в полночь, подстережет Лезабля на углу, когда тот будет возвращаться домой, и задаст ему такую взбучку, что от него останется мокрое место. Остальные чиновники молчали.

В следующий понедельник, едва придя в министерство, Кашлен поспешил к своему покровителю и, с торжественным видом войдя в кабинет, напыщенно произнес:

— Надеюсь, что вы окажете мне честь и отобедаете у нас по случаю рождественских праздников. Соблаговолите сами указать день.

Лезабль поднял голову и несколько удивленно взглянул в лицо своему сослуживцу; не спуская с него глаз и пытаясь прочесть его мысли, он ответил:

— Но, дорогой мой, дело в том... у меня все вечера заняты... я уже давно обещал...

Кашлен дружески настаивал:

— Ну вот! Не станете же вы огорчать нас своим отказом. Вы так много для нас сделали. Прошу вас от своего имени и от имени моего семейства.

Озадаченный Лезабль колебался. Он отлично все понял, но не успел подумать и взвесить все «за» и «против» и поэтому не знал, что ответить Кашлену. Наконец он решил про себя: «Это меня ни к чему не обяжет»,— и, весьма довольный, согласился, пообещав прийти в ближайшую субботу.

— Тогда на другое утро можно будет поспать подольше,—добавил он, улыбаясь.

II

Господин Кашлен жил на пятом этаже, в начале улицы Рошешуар, в небольшой квартирке с балконом, откуда был виден весь Париж. Из четырех комнат одну занимала сестра г-на Кашлена, другую — дочь, третью — он сам, столовая служила заодно и гостиной.

Всю неделю Кашлен волновался из-за предстоящего обеда. Долго в семье обсуждали меню, которому полагалось быть скромным, но изысканным. Порешили так: закуски — креветки, колбаса, омары; бульон с яйцом, жареная курица, зеленый горошек, паштет из гусиной печенки, салат; мороженое и фрукты.

Паштет купили в соседней колбасной, попросив отпустить самого лучшего, так что горшочек обошелся в три с половиной франка. Что до вина, то Кашлен приобрел его в погребке на углу, где постоянно покупал разливное красное, которым обычно довольствовался. Он не захотел обращаться в большой магазин, рассуждая так: «Мелким торговцам редко удается сбыть дорогое вино, так что оно подолгу хранится у них в погребе и должно быть превосходным».

В субботу он вернулся домой пораньше, чтоб удостовериться, что все готово. Служанка, открывшая ему дверь, была краснее помидора, потому что из страха опоздать она затопила плиту с полудня и целый день жарилась возле нее, да и волнение давало себя знать.

Кашлен наведался в столовую, чтобы проверить, все ли на месте. В ярком свете лампы под зеленым абажуром, посреди небольшой комнаты белел накрытый скатертью круглый стол. По бокам каждой из четырех тарелок с салфетками, которые тетка, мадмуазель Кашлен, свернула наподобие епископской митры, лежали ножи и вилки из белого металла, а перед каждым прибором стояло по две рюмки — большая и маленькая. Сезар сразу же решил, что этого недостаточно, и крикнул:

— Шарлотта!

Дверь слева отворилась, и вошла низенькая старушка. Шарлотта была старше брата на десять лет. Ее худое лицо обрамляли седые букли, завитые на папильотках. Тоненький голосок казался слишком слабым даже для ее тщедушного, сгорбленного тела; ходила она словно сонная, слегка волоча ноги.

В дни молодости о ней говорили: «Какая миленькая!»

Теперь она превратилась в сухонькую старушонку, по старой памяти очень опрятную, упрямую, своевольную и раздражительную, с умом ограниченным и мелочным. Она была очень набожна и, казалось, совсем позабыла похождения минувших дней.

Шарлотта спросила брата:

— Тебе что?

Он ответил:

— По-моему, двух рюмок мало — получается недостаточно внушительно. Что, если подать шампанское? Это обойдется не дороже трех-четырех франков, а зато можно будет поставить бокалы. Комната сразу примет другой вид.

Шарлотта возразила:

— Не вижу надобности в таком расходе. Впрочем, ведь платишь ты, меня это не касается.

Кашлен колебался, пытаясь убедить самого себя:

— Уверяю тебя, что так будет лучше. И потом, это внесет оживление; подать к праздничному пирогу шампанское совсем неплохо.

Этот довод заставил его решиться. Надев шляпу, он снова спустился вниз и пять минут спустя вернулся с бутылкой, украшенной огромной белой этикеткой с пышным гербом: «Шампанское пенистое. Высшего качества. Граф де Шатель-Реново».

— И обошлось всего в три франка,—объявил Кашлен,—а, кажется, превосходное.

Он сам вынул из буфета бокалы и поставил перед каждым прибором.

Дверь справа отворилась. Вошла дочь. Это

была голубоглазая румяная девица с каштановыми волосами — рослая, пышная, крепкого сложения. Скромное платье хорошо обрисовывало ее полный и гибкий стан. В ее звучном, почти мужском голосе слышались волнующие низкие ноты.

— Боже мой, шампанское! Вот радость-то!— воскликнула она, по-детски хлопая в ладоши.

— Смотри, будь любезна с гостем, он оказал мне большую услугу,—предупредил отец.

Она звонко расхохоталась, что должно было означать: «Понимаю».

В передней зазвенел колокольчик; входная дверь открылась и захлопнулась. Вошел Лезабль. Он был очень представителен; черный фрак, белый галстук, белые перчатки. Восхищенный Кашлен в смущении бросился навстречу:

— Но, дорогой друг, здесь все только свои; я, как видите, в пиджаке!

Молодой человек возразил:

— Знаю, вы говорили мне. Но у меня такая привычка — выходить по вечерам только во фраке.

Он раскланивался, держа цилиндр под мышкой. В петлице у него красовался цветок. Сезар познакомил его:

— Моя сестра мадмуазель Шарлотта, моя дочь Корали; мы запросто зовем ее Кора.

Все обменялись поклонами. Кашлен продолжал:

— Гостиной у нас нет. Это немного стеснительно, но мы обходимся.

Лезабль возразил:

— Но у вас прелестно!

Затем у него отобрали цилиндр, который он держал в руках. И он стал снимать перчатки.

Все сели, молча, через стол, разглядывая гостя; немного погодя Кашлен спросил:

— Начальник еще долго оставался? Я ушел пораньше, чтобы помочь дамам.

Лезабль ответил небрежным тоном:

— Нет. Мы вышли с ним вместе: нам надо было переговорить по поводу брезентов из Бреста; это очень запутанное дело, с ним у нас будет много хлопот.

Кашлен счел нужным осведомить сестру:

— Все трудные дела поступают к господину Лезаблю, он у начальника правая рука.

Старуха, вежливо кивнув, сказала:

— Как же, как же, я слышала о способностях господина Лезабля.

Толкнув коленкой дверь, вошла служанка, высоко, обеими руками, неся большую суповую миску.

— Прошу к столу!— пригласил хозяин.— Господин Лезабль, садитесь здесь, между моей сестрой и дочерью. Надеюсь, вы не боитесь дам?

И обед начался.

Лезабль был очень любезен, но с оттенком превосходства, почти снисходительности; он искоса поглядывал на молодую девушку, изумляясь ее свежести и завидному здоровью. Зная о намерении брата, мадмуазель Шарлотта изо всех сил старалась поддержать пустую болтовню, перескакивая с одного предмета на другой. Сияющий Кашлен говорил слишком громко, шутил, подливал гостю вина, купленного час назад в лавчонке на углу.

— Стаканчик бургундского, господин Лезабль. Не стану утверждать, что это высший сорт, но винцо недурное — выдержанное и, во всяком случае, натуральное, за это я ручаюсь. Мы получили его от наших тамошних друзей.

Корали молчала, слегка раскрасневшись и робея от соседства с молодым человеком, мысли которого она угадывала.

Когда подали омара, Сезар объявил:

— Вот с кем я охотно сведу знакомство.

Лезабль, улыбаясь, рассказал, что какой-то писатель назвал омара «кардиналом морей», не подозревая, что омары, прежде чем их сварят, бывают черного цвета. Кашлен захохотал во все горло, повторяя:

— Вот забавно! Ха, ха, ха!

Но мадмуазель Шарлотта рассердилась и обиженно сказала:

— Не понимаю, что тут смешного. Этот ваш писатель просто невежа. Я готова понять любую шутку, любую, но высмеивать при мне духовенство не позволю.

Желая понравиться старухе, Лезабль воспользовался случаем, чтобы заявить о своей приверженности католической церкви. Он осудил людей дурного тона, легкомысленно толкующих о великих истинах, и заключил:

— Что касается меня, то я уважаю и почитаю веру наших отцов и ей останусь предан до конца моих дней.

Кашлен уже не смеялся. Он катал хлебные шарики и поддакивал:

— Справедливо, весьма справедливо.

Решив переменить наскучившую тему, он заговорил о службе, как склонны делать все, кто изо дня в день тянет лямку.

— Красавчик Маз, наверно, бесится, что не получил повышения, а?

Лезабль улыбнулся:

— Что поделаешь? Каждому по заслугам.

И они заговорили о министерстве; все оживились,—ведь дамы, которым Кашлен постоянно рассказывал обо всех чиновниках, знали каждого из них почти так же хорошо, как и он сам. Мадмуазель Шарлотту весьма привлекали романтические фантазии и мнимые похождения Буасселя, о которых он так охотно повествовал, а мадмуазель Кору втайне занимал красавец Маз. Впрочем, они никогда не видали ни того, ни другого.

Лезабль отзывался о сослуживцах свысока, словно министр о своих подчиненных.

Его слушали внимательно.

— У Маза есть, конечно, свои достоинства; но, если хочешь чего-нибудь достигнуть, надо работать усердней. Он же любит общество, развлечения. Все это сбивает его с толку. Если он ничего не достигнет, то по своей вине. Может быть, благодаря своим связям он и дослужится до столоначальника, но не более того. Что до Питоле, надо признать, что бумаги он составляет недурно, у него неплохой слог,—этого нельзя отрицать, но ему не хватает основательности. Все у него поверхностно. Такого человека не поставишь во главе

какого-нибудь важного отдела, но толковому начальнику, который сумеет ему все разжевать, он может быть полезен.

Мадмуазель Шарлотта спросила:

— А господин Буассель?

Лезабль пожал плечами:

— Ничтожество, полнейшее ничтожество. Вечно ему бог весть что мерещится. Выдумывает всякую чушь. Для нас он просто пустое место.

Кашлен захохотал:

— А лучше всех папаша Савон!

И все рассмеялись.

Затем перешли к театру и новым пьесам. Лезабль столь же авторитетно судил о драматургии и драматургах, оценивая сильные и слабые стороны каждого с самоуверенностью человека, который считает себя всеведущим и непогрешимым.

Покончили с жарким. Сезар бережно открыл горшочек с гусиной печенкой, и торжественность, с какой он это сделал, позволила судить о совершенстве содержимого. Он заметил:

— Не знаю, окажется ли паштет удачным. Мы получаем его от двоюродного брата из Страсбурга, и обычно он бывает превосходен.

И все с почтительной медлительностью принялись за это кушанье в желтом глиняном горшочке.

С мороженым произошла беда. В компотнице плескалась какая-то светлая жидкость — не то соус, не то суп, ибо служанка, опасаясь, что не сумеет справиться сама, попросила кондитера, явившегося к семи часам, вынуть мороженое из формы.

Расстроенный Кашлен распорядился его убрать, но тут же утешился, вспомнив о праздничном пироге; он стал разрезать его с таким загадочным видом, словно в нем заключалась величайшая тайна. Все взоры устремились на этот символический пирог; каждому полагалось отведать его, выбрав кусок с закрытыми глазами.

Кому же достанется боб? Глуповатая улыбка блуждала у всех на устах. Вдруг у Лезабля вырвалось изумленное: «Ах!»— и он показал крупную белую фасолину, еще облепленную тестом, держа ее двумя пальцами. Кашлен захлопал в ладоши и закричал:

— Выбирайте королеву! Выбирайте королеву!

Король мгновение колебался. Не сделает ли он удачный дипломатический ход, избрав мадмуазель Шарлотту? Она будет польщена, побеждена, завоевана. Но он тут же рассудил, что пригласили-то его ради Коры, и он будет глупцом, если выберет тетку. Поэтому, обратившись к своей юной соседке, он сказал:

— Мадмуазель, разрешите предложить вам этот боб.

И вручил ей знак королевского могущества. Впервые они взглянули в глаза друг другу. Она ответила:

— Спасибо, сударь!— и приняла из его рук этот символ власти.

«А ведь она хороша,—подумал Лезабль,—глаза у нее чудесные. И что за плутовка, черт подери!»

Звук, похожий на выстрел, заставил подскочить обеих женщин. Кашлен откупорил шампанское, и жидкость неукротимой струей полилась из бутылки на скатерть. Наполнив бокалы пенистой влагой, хозяин заявил:

— Сразу видно, что шампанское лучшей марки.

А так как Лезабль торопился отпить из своего бокала, опасаясь, что вино перельется через край, Кашлен воскликнул:

— Король пьет! Король пьет!

И, развеселившись, старушонка тоже взвизгнула своим писклявым голоском:

— Король пьет! Король пьет!

Лезабль уверенно осушил бокал и, поставив его на стол, заметил:

— Как видите, я не сплоховал.

Затем, обратившись к Корали, он сказал:

— Теперь дело за вами, мадмуазель!

Кора пригубила вино, но тут раздались возгласы:

— Королева пьет! Королева пьет!

Она покраснела и, засмеявшись, отставила свой бокал.

Конец обеда прошел очень весело. Король усердно ухаживал за королевой. После десерта и ликеров Кашлен объявил:

— Сейчас уберут со стола, и станет просторней. Если нет дождя, можно побыть на балконе.

Было уже совсем темно, но Кашлену очень хотелось показать гостю вид, открывавшийся сверху на Париж.

Отворили застекленную дверь. Повеяло сыростью. Воздух был теплый, словно в апреле, и, перешагнув через порожек, все вышли на широкий балкон. Можно было различить только туманное сияние, реявшее над огромным городом, подобно лучистому венчику, какие рисуют над головами святых. Кое-где свет казался более ярким, и Кашлен принялся объяснять:

— Глядите, вон там сверкает Эден. А вот вереница бульваров. Их сразу отличишь! Днем отсюда открывается великолепный вид! Сколько ни путешествуй, лучше не увидишь.

Лезабль облокотился на железные перила рядом с Корой, которая молчаливо и рассеянно глядела в темноту, внезапно охваченная тоскливым томлением, порой наполняющим душу. Мадмуазель Шарлотта, опасаясь сырости, вернулась в столовую. Кашлен продолжал разглагольствовать, указывая рукой, где находится Дом инвалидов. Трокадеро, Триумфальная арка на площади Звезды.

Лезабль спросил вполголоса:

— А вы, мадмуазель Кора, любите смотреть отсюда на Париж?

Она вздрогнула, словно очнувшись, и ответила:

— Я?.. Да, особенно по вечерам. Я думаю обо всем, что происходит там, внизу. Сколько счастливых людей и сколько несчастных в этих домах! Как много бы мы узнали, если б всё могли увидеть!

Он придвинулся к ней, так что их плечи и локти соприкасались.

— При лунном свете зрелище, должно быть, волшебное.

Она сказала очень тихо:

— О да! Словно гравюра Гюстава Доре. Какое было бы наслаждение подолгу бродить по этим крышам!

Лезабль стал расспрашивать Кору о ее вкусах, заветных желаниях, радостях. Она отвечала без всякого стеснения, как разумная, рассудительная и не слишком мечтательная девушка. Лезабль обнаружил в ней много здравого смысла, и ему вдруг захотелось обвить рукой этот полный упругий стан и медленно, короткими поцелуями, словно маленькими глотками, как смакуют хорошее вино, впивать свежесть этой щечки, вот здесь, у самого ушка, на которое падал отсвет лампы. Он почувствовал влечение, взволнованный этой близостью, охваченный жаждой созревшего девственного тела, смущенный нежной прелестью юной девушки. Он готов был долгие часы, ночи, недели, вечность вот так, облокотившись, стоять рядом, ощущая ее подле себя, проникнутый очарованием ее близости. Что-то похожее на поэтическое чувство зашевелилось в его душе перед лицом громадного, раскинувшегося внизу Парижа, озаренного огнями, живущего своей ночной жизнью— жизнью разгула и наслаждений. Ему чудилось, что он владычествует над великим городом, что он реет над ним; и он подумал, как восхитительно было бы стоять так каждый вечер, облокотившись на перила балкона, подле прекрасной женщины, и любить друг друга, и целовать друг друга, и сжимать в объятиях друг друга здесь, в вышине, над громадным городом, над всеми любовными страстями, в нем заключенными, над всеми грубыми наслаждениями, над всеми пошлыми желаниями,—здесь, в вышине, под самыми звездами.

Бывают вечера, когда наименее восторженные люди предаются мечтам, словно у них выросли крылья. А может быть, он был немного пьян.

Кашлен, уходивший за трубкой, вернулся на балкон и закурил.

— Я знаю, что вы не курите, поэтому и не предлагаю вам сигарет,—сказал он.—Нет ничего лучше, чем подымить немножко тут, наверху. Если б мне пришлось поселиться внизу, для меня это была бы не жизнь. Ведь мы могли спуститься и ниже,—дом-то принадлежит сестре, да и оба соседние тоже, вон этот налево и тот направо. Они приносят ей порядочный доход. А в свое время они достались ей по недорогой цене.

И, повернувшись в сторону столовой, он крикнул:

— Шарлотта, сколько ты заплатила за эти участки?

Визгливым голосом старуха затараторила. До Лезабля доносились лишь обрывки фраз:

— В тысяча восемьсот шестьдесят третьем... тридцать пять франков... построен позже... три дома... банкир... перепроданы... самое меньшее полмиллиона франков.

Она рассказывала о своем состоянии с самодовольством старого солдата, повествующего о былых походах. Она перечисляла свои приобретения, полученные ею деловые предложения, свои доходы и так далее.

Лезабль, крайне заинтересованный, обернулся к двери и стоял теперь, прислонившись спиной к перилам балкона. Но все же он улавливал лишь обрывки фраз. Тогда он неожиданно покинул свою собеседницу и вернулся в столовую, чтобы не упустить ни слова. Усевшись рядом с мадмуазель Шарлоттой, он подробно обсудил с ней, насколько можно будет повысить квартирную плату и какое помещение капитала выгоднее — в ценных бумагах или в недвижимости.

Он ушел около полуночи, пообещав прийти еще раз.

Месяц спустя в министерстве только и разговора было, что о женитьбе Жака-Леопольда Лезабля на мадмуазель Селестине-Корали Кашлен.

III

Молодожены поселились на той же площадке, что и Кашлен с сестрой, в такой же точно квартире, откуда выпроводили жильцов.

Но душу Лезабля снедала тревога: тетка не захотела официально закрепить за Корой право наследования. Правда, она поклялась, «как перед господом богом», что завещание ее составлено и хранится у нотариуса, г-на Белломá. Кроме того, она обещала, что все ее состояние достанется племяннице, но при одном условии. Какое это условие — она объяснить не пожелала, несмотря на все просьбы, хотя и заверяла с благожелательной усмешкой, что выполнить его нетрудно.

Лезабль почел за благо пренебречь всеми сомнениями, вызванными упорной скрытностью старой ханжи, и, так как девица ему очень нравилась, он уступил своему влечению и поддался упрямой настойчивости Кашлена.

Теперь он был счастлив, хотя неуверенность в будущем и не переставала его мучить; и он любил жену, ни в чем не обманувшую его ожиданий. Жизнь его текла однообразно, спокойно. Прошло несколько недель; он уже привык к положению женатого человека и оставался все таким же исполнительным чиновником, как и прежде.

Прошел год. Снова наступило первое января. К великому удивлению Лезабля, он не получил повышения, на которое рассчитывал. Только Маз и Питоле продвинулись по службе. И Буассель по секрету сообщил Кашлену, что собирается как-нибудь вечерком, уходя из министерства, подстеречь у главного подъезда обоих сослуживцев и на глазах у всех их отколотить. Разумеется, он этого не сделал.

Целую неделю Лезабль не спал, ошеломленный тем, что, невзирая на проявленное усердие, его обошли по службе. А ведь он трудится, как каторжный, постоянно замещает помощника начальника, г-на Рабо; тот хворает девять месяцев в году и только и делает, что отлеживается в больнице Валь-де-Грас; а он что ни утро — приходит в половине девятого; что ни вечер — уходит в половине седьмого. Чего им еще надо? Ну, что ж, раз не ценят такую работу, такое усердие, он будет поступать, как прочие, только и всего. Каждому по заслугам. Но как мог господин Торшбеф, относившийся к нему словно к родному сыну, пренебречь его интересами? Необходимо узнать, что за этим

кроется. Он пойдет к начальнику и объяснится с ним.

И вот в понедельник утром, до прихода сослуживцев, Лезабль постучался в кабинет властелина.

Резкий голос произнес:

— Войдите!

Лезабль вошел.

За большим столом, заваленным бумагами, сидел г-н Торшбеф — коротенький, с огромной головой, словно покоящейся на бюваре, и что-то писал.

— Добрый день, Лезабль, как поживаете?— спросил он, увидев своего любимца.

— Добрый день, господин Торшбеф. Спасибо, очень хорошо,—ответил Лезабль.—А вы?

Начальник положил перо и повернулся к посетителю вместе со своим креслом. Его тщедушное, немощное тело, затянутое в строгого покроя черный сюртук, казалось крохотным в широком кожаном кресле с высокой спинкой. Розетка Почетного легиона, огромная, яркая, чересчур крупная для этого маленького человечка, сверкала, будто пылающий уголь, на впалой груди, как бы раздавленной тяжестью черепа, такого большого, словно у его владельца, как у гриба, весь рост пошел в шляпку.

У него был острый подбородок, впалые щеки, глаза навыкате, непомерно большой лоб и зачесанные назад седые волосы.

— Садитесь, друг мой, и говорите, что привело вас ко мне,—произнес г-н Торшбеф.

Со всеми прочими чиновниками он был по-военному строг, воображая себя капитаном на борту судна, поскольку министерство представлялось ему громадным кораблем, флагманом французского флота.

Лезабль, слегка взволнованный и побледневший, пролепетал:

— Дорогой патрон, я хотел спросить вас: в чем я провинился?

— Да что вы, дорогой мой, с чего вы взяли?

— Должен сознаться, я был несколько удивлен, не получив в этом году повышения, как в прошлые годы. Простите за дерзость, дорогой патрон, но разрешите быть откровенным до конца. Я знаю, вы были чрезвычайно милостивы ко мне и оказывали мне предпочтение, о каком я не смел и мечтать. Я знаю, что на повышение можно рассчитывать не чаще, нежели раз в два-три года, но позвольте заметить, что я выполняю примерно вчетверо больше работы, чем рядовой чиновник, и затрачиваю по меньшей мере вдвое больше времени. Если взвесить затраченные мной усилия и плоды моих трудов, с одной стороны, и получаемое вознаграждение — с другой, окажется, без сомнения, что награда далеко не соответствует проявленному усердию.

Он старательно приготовил эту фразу и находил ее превосходной.

Господин Торшбеф был удивлен и явно не знал, что ответить. Наконец он произнес суховатым тоном:

— Хотя в принципе и не полагается начальнику обсуждать такие вопросы с подчиненным, из уважения к вашим несомненным заслугам я на сей раз вам отвечу. Как и в предыдущие годы, я представил вас к повышению. Но директор вычеркнул ваше имя на том основании, что ваша женитьба обеспечила вам прекрасное будущее,— не просто достаток, но богатство, какого никогда не достичь вашим скромным коллегам. Так вот, разве мы не обязаны считаться с имущественным положением каждого? Вы будете богаты, очень богаты. Лишние триста франков в год ничего для вас не составят, в то время как для любого другого чиновника эта значительная прибавка очень ощутима. Вот почему, друг мой, в этом году вы не получили повышения.

Лезабль ушел от начальника в замешательстве, в ярости.

Вечером, за обедом, он то и дело придирался к жене. Корали была веселого и ровного нрава, но несколько своевольна и если уж что-нибудь вобьет себе в голову, не уступит ни за что. В ней больше не было для него чувственной прелести первых дней, и, хотя ее свежесть и красота по-прежнему возбуждали в нем желание, он испытывал порой то разочарование, близкое к отвращению, какое вскоре наступает при совместной жизни двух людей. Тысяча пошлых и прозаических житейских мелочей: утренняя небрежность туалета, поношенное платье из дешевой ткани, выцветший халат — из-за всей этой изнанки повседневности, слишком уж заметной в бедной семье, тускнели для него прелести брачной жизни, блекнул поэтический цветок, издали обольщающий жениха.

А тут еще тетка Шарлотта отравляла ему радости семейного очага: она вечно торчала у Лезаблей, во все совала нос, всем распоряжалась, делала замечания по всякому поводу, а молодые, смертельно боясь чем-либо ее рассердить, выносили ее назойливость смиренно, но со все возрастающей, хоть и скрытой досадой.

Тетка бродила по квартире шаркающей старушечьей походкой, непрестанно твердя своим писклявым голоском:

— Почему не сделано то, почему не сделано это?

Оставаясь наедине с женой, Лезабль раздраженно восклицал:

— Твоя тетка просто невыносима. Не желаю больше терпеть ее! Слышишь? Не желаю.

Кора спокойно спрашивала:

— Так что же прикажешь делать?

Тогда он выходил из себя:

— Что за гнусная семейка!

А она все так же спокойно отвечала:

— Семейка-то гнусная, да наследство недурное, не правда ли? Не глупи. Тебе так же, как и мне, выгодно угождать тетушке.

И он умолкал, не зная, что на это возразить.

Тетка, одержимая мыслью о внуке, не переставая донимала молодую чету. Загнав Лезабля куда-нибудь в угол, она нашептывала ему:

— Племянник, я желаю, чтобы вы стали отцом до того, как я умру. Я хочу видеть своего наследника. И не вздумайте меня уверять, будто Кора не создана быть матерью. Достаточно взглянуть на нее. Женятся, дорогой племянник, чтобы иметь

семью, потомство. Наша пресвятая церковь запрещает бесплодные браки. Знаю, что вы небогаты, ребенок потребует расходов. Но, когда меня не станет, вы ни в чем не будете нуждаться. Я хочу маленького Лезабля, слышите вы? Хочу маленького Лезабля!

Когда прошло полтора года супружеской жизни Лезаблей, а желание Шарлотты все еще не сбылось, у нее зародились опасения, и она стала проявлять настойчивость. Она потихоньку делала наставления Коре, житейские наставления женщины, в свое время видавшей виды и умеющей при случае об этом вспомнить.

Но как-то утром тетка почувствовала недомогание и не смогла подняться. Она никогда раньше не хворала, и Кашлен, весьма взволнованный, постучался к зятю:

— Бегите скорей к доктору, а начальнику доложите, что по непредвиденным обстоятельствам я сегодня в министерство не приду.

Лезабль провел тревожный день, все валилось у него из рук; он не мог ни составить бумаги, ни вникнуть в суть дела. Господин Торшбеф, неприятно удивленный, заметил:

— Вы что-то рассеянны сегодня, господин Лезабль.

И Лезабль, томимый беспокойством, ответил:

— Я очень устал, дорогой патрон; всю ночь я провел у постели тетушки; состояние ее весьма тяжелое.

Однако начальник холодно возразил:

— Достаточно того, что при ней находится господин Кашлен. Я не могу допустить, чтобы все учреждение пришло в расстройство из-за личных дел моих подчиненных.

Лезабль положил перед собой на стол часы, с лихорадочным нетерпением ожидая, когда стрелка подойдет к пяти. И как только во дворе министерства зазвонили часы, он поспешил домой, впервые покинув учреждение в положенное время.

Он даже нанял фиакр, настолько мучило его беспокойство, и бегом поднялся по лестнице.

Открыла служанка; он пролепетал:

— Ну как она?

— Доктор говорит — очень она плоха.

У него заколотилось сердце, и он едва выговорил:

— Ах, вот как!

Неужели она все-таки умрет?

Он не решался войти в комнату больной и вызвал Кашлена, который был при ней.

Тесть немедля вышел к нему, стараясь не хлопнуть дверью. Он был в халате и ночном колпаке, как обычно по вечерам, когда уютно сиживал у камелька. Он прошептал:

— Она плоха, очень плоха. Вот уже четыре часа, как она без сознания. Ее даже причастили.

У Лезабля чуть не подкосились ноги; он присел на стул.

— Где жена?

— Подле нее.

— А врач что говорит?

— Говорит, что это удар. Она может оправиться, а может и не протянуть до утра.

— Я вам нужен? Если нет, я предпочел бы не входить. Мне тяжело видеть ее в этом состоянии.

— Нет, отправляйтесь к себе. Если будет что-либо новое, я сразу вас позову.

И Лезабль вернулся к себе. Квартира показалась ему изменившейся — просторней, светлей. Но ему не сиделось на месте, и он вышел на балкон.

Стоял конец июля, и огромное солнце, скрываясь за башнями Трокадеро, изливало потоки пламени на великое множество крыш.

Небесный свод, пурпуровый у горизонта, менял оттенки, становясь выше бледно-золотым, потом — желтым; потом — зеленым, зеленоватым, словно пронизанным светом, потом голубел, переходя над головой в чистую и ясную лазурь.

Стрелой пролетали ласточки, бегло вычерчивая на фоне алого заката очертания своих серповидных крыльев, и над кровлями нескончаемых зданий, над далекими полями реяла алая дымка, огненный туман, из которого величаво, торжественно поднимались шпили колоколен, стройные верхушки городских сооружений. В пылающем небе, огромная и черная, возникала Триумфальная арка на площади Звезды, а купол Дома инвалидов казался вторым солнцем, упавшим с неба на вершину здания.

Ухватившись обеими руками за железные перила, Лезабль впивал воздух, как пьют вино, и ему хотелось прыгать, кричать, кувыркаться, так захлестнула его радость, глубокая и торжествующая. Жизнь казалась прекрасной, будущее — полным радужных надежд. Что же он станет делать? И он размечтался.

Он вздрогнул, услышав шорох за спиной. Это была жена. Глаза у нее покраснели и опухли от слез. Лицо казалось усталым. Она подставила ему лоб для поцелуя и сказала:

— Обедать будем у папы, чтобы оставаться поблизости от больной. Служанка посидит с ней, пока мы будем есть.

Он прошел за Корой в соседнюю квартиру.

Кашлен уже сидел за столом в ожидании дочери и зятя. На буфете стояла холодная курица, картофельный салат, вазочка с земляникой, в тарелках дымился суп.

Все сели.

— Вот невеселый денек, не хотел бы я, чтобы он повторился,—произнес Кашлен; голос его звучал равнодушно, а лицо выражало что-то похожее на чувство удовлетворения.

И Кашлен принялся уплетать за обе щеки — отсутствием аппетита он не страдал,—находя курятину великолепной, а картофельный салат необычайно вкусным. Но у Лезабля теснило грудь, душу терзало беспокойство, и он едва прикасался к еде, напряженно прислушиваясь к тому, что происходило в соседней комнате. А в ней стояла такая тишина, словно там никого не было. Кора ничего есть не могла. Она всхлипывала, вздыхала и то и дело уголком салфетки утирала слезы.

Кашлен спросил, обращаясь к зятю:

— Что сказал начальник?

Лезабль принялся обстоятельно рассказывать, а тесть требовал все новых подробностей, рас-

спрашивая обо всем, словно он год не был в министерстве.

— Там, верно, все переполошились, узнав о ее болезни?

И он представил себе, как после ее смерти, торжествующий, явится в департамент и какие будут физиономии у сослуживцев. Но, словно отвечая на тайные укоры совести, он сказал:

— Я вовсе не желаю ей зла, нашей милой старушке! Богу известно, я хотел бы продлить ее дни, но все-таки это всех поразит. Папаша Савон даже про Коммуну забудет!

Только принялись за землянику, как дверь из комнаты больной приотворилась. Все трое вскочили, не помня себя от волнения.

Вошла служанка с обычным для нее безмятежно-глуповатым видом и спокойно сообщила:

— Уже не дышит.

Кашлен швырнул салфетку на стол и ринулся, как сумасшедший, в комнату старухи; Кора, с бьющимся сердцем, последовала за ним; только Лезабль остановился в дверях, вглядываясь в белое пятно постели, едва различимое в вечерних сумерках. Он видел лишь неподвижную спину тестя, склонившегося над кроватью, и внезапно из далекой неведомой дали, с другого конца света, до него донесся, словно в сновидении, незнакомый голос, голос Кашлена, произнесший:

— Кончено. Она не дышит.

Лезабль увидел, как жена, зарыдав, упала на колени и уткнулась лицом в одеяло. Тогда он решился войти; Кашлен выпрямился, и Лезабль разглядел на белой подушке лицо тетки Шарлотты — с опущенными веками, запавшими щеками, застывшее и бледное, как у восковой куклы.

С лихорадочным беспокойством он спросил:

— Скончалась?

Кашлен, тоже смотревший на покойницу, обернулся, и глаза их встретились.

— Да,—ответил тесть и попытался придать своему голосу скорбное выражение. Но они с одного взгляда поняли друг друга и, не задумываясь, повинуясь какому-то внутреннему побуждению, обменялись крепким рукопожатием, словно в знак взаимной благодарности за то, что сделали друг для друга.

Затем, не теряя времени, они рьяно принялись за выполнение обязанностей, какие налагает смерть.

Лезабль вызвался сходить за врачом и как можно скорее закончить самые неотложные дела.

Он схватил шляпу и бегом спустился по лестнице, торопясь очутиться на улице, побыть в одиночестве, вздохнуть полной грудью, обо всем поразмыслить, насладиться наедине своим счастьем.

Покончив с делами, он, вместо того чтобы возвратиться домой, свернул на бульвар; его охватило желание видеть, вмешаться в людскую толчею, приобщиться к беспечному веселью вечерней толпы. Ему хотелось крикнуть в лицо прохожим: «У меня пятьдесят тысяч ливров дохода в год!»

Он шагал, заложив руки в карманы, и, останавливаясь перед витринами магазинов, разглядывал нарядные ткани, драгоценности, роскошную мебель с радостным сознанием: «Теперь я могу себе это позволить».

По пути он наткнулся на похоронное бюро, и внезапно его кольнула мысль: «А что, если она жива? Что, если они ошиблись?»

И, отравленный сомнением, он поспешно возвратился домой.

Еще с порога он спросил:

— Доктор был?

— Да,—ответил Кашлен.—Он установил факт смерти и обещал письменно его удостоверить.

Они вернулись в комнату умершей. Кора, пристроившись в кресле, все еще плакала. Она плакала тихонько и безотчетно, уже почти не ощущая горести, с той легкостью, с какой проливают слезы женщины.

Едва они остались одни в квартире, Кашлен сказал вполголоса:

— Служанка ушла, и мы могли бы взглянуть, не спрятан ли какой-нибудь документ в шкафах?

И мужчины вдвоем принялись за работу. Они выворачивали ящики, обшаривали карманы, развертывали каждую бумажонку. Наступила полночь, а они все еще не нашли ничего интересного. Уснувшая Кора тихонько и мерно похрапывала.

— Что ж, останемся здесь до утра?—спросил Сезар.

Поколебавшись, Лезабль сказал, что это будет, пожалуй, приличествовать обстоятельствам. Тогда тесть предложил:

— Принесем кресла.

И они отправились за двумя мягкими креслами, стоявшими в спальне у молодой четы.

Час спустя вся семейка спала, издавая разноголосый храп, рядом с оледеневшим в вечной неподвижности трупом.

Все трое проснулись с наступлением утра, когда в комнату вошла служанка. Кашлен, протирая глаза, признался:

— Я, кажется, слегка вздремнул — с полчасика, не больше.

На что Лезабль, сразу стряхнув с себя сон, заявил:

— Да, я видел. Я-то ни минуты не спал, я лишь прикрыл глаза, чтобы дать им отдохнуть.

Кора вернулась в свою квартиру.

Тогда Лезабль с напускным безразличием спросил тестя:

— Как вы полагаете, когда нам следует пойти к нотариусу ознакомиться с завещанием?

— Да... хоть сейчас... если хотите.

— А Кора тоже должна пойти с нами?

— Пожалуй, так будет лучше,—ведь наследница-то она.

— Тогда я скажу ей, чтобы она одевалась.

И Лезабль вышел своей обычной стремительной походкой.

Контора нотариуса Беллома только открылась, когда в ней появились Кашлен и чета Лезаблей,— все трое в глубоком трауре и со скорбными лицами.

Нотариус сейчас же их принял и усадил.

Заговорил Кашлен:

— Сударь, вы меня знаете: я брат мадмуазель Шарлотты Кашлен, а это моя дочь и зять. Бедняжка сестра вчера скончалась. Завтра мы ее хороним. Поскольку вы являетесь хранителем ее завещания, мы пришли узнать, не оставила ли покойница каких-либо распоряжений относительно своего погребения и не имеете ли вы что-либо нам сообщить.

Нотариус выдвинул ящик стола, достал конверт, вскрыл его, вынул бумагу и сказал:

— Вот, сударь, копия завещания, с которым я могу вас ознакомить. Подлинный документ, тождественный этому, должен храниться у меня.

И он прочел:

«Я, нижеподписавшаяся, Виктория-Шарлотта Кашлен, сим выражаю свою последнюю волю:

Все мое состояние в сумме около одного миллиона ста двадцати тысяч франков я завещаю детям, которые родятся от брака племянницы моей Селестины-Корали Кашлен, с предоставлением родителям права пользоваться доходами с вышеозначенной суммы до совершеннолетия старшего из детей.

Нижеследующими распоряжениями оговаривается доля каждого ребенка, а также доля, предоставляемая родителям до конца их дней.

В случае, если я умру раньше, нежели моя племянница Корали родит наследника, все мое состояние в течение последующих трех лет остается на хранении у того же нотариуса; если же за это время у Корали родится ребенок, с деньгами будет поступлено согласно моей воле, каковая выражена выше.

Однако, если по истечении трех лет со дня моей смерти господь бог все еще не дарует племяннице моей Корали потомства, все мое состояние, заботами моего нотариуса, будет отдано бедным, а также благотворительным учреждениям, перечень каковых приведен ниже».

После чего следовала нескончаемая вереница названий различных общин, цифр перечисляемых сумм, указаний и распоряжений.

Окончив чтение, мэтр Беллом учтиво вручил документ как громом пораженному Кашлену.

Нотариус счел даже нужным добавить несколько слов в пояснение:

— Когда покойная мадмуазель Кашлен впервые оказала мне честь, заговорив о своем намерении составить завещание в этом смысле, она не скрыла от меня своего чрезвычайного желания иметь наследника, родного ей по крови. Движимая религиозными чувствами, она на все мои доводы отвечала настойчивым изъявлением своей последней воли, полагая, что всякий бесплодный брак есть знак проклятия небесного. Не в моих силах было изменить ее намерение. Поверьте, я весьма об этом сожалею.—И, обращаясь к Корали, он добавил с улыбкой:—Я не сомневаюсь, что пожелание покойницы будет скоро осуществлено.

И все трое ушли, слишком ошеломленные, чтобы о чем-либо думать.

Они возвращались домой, молча шагая рядом, пристыженные и взбешенные, словно обокрали друг друга. У Коры всю скорбь как рукой сняло: неблагодарность покойницы освобождала молодую женщину от обязанности оплакивать ее. Наконец, придя в себя, Лезабль бледными, судорожно сведенными от досады губами произнес, обращаясь к тестю:

— Дайте мне, пожалуйста, этот документ, я хочу подробно ознакомиться с ним.

Кашлен вручил зятю бумагу, и тот погрузился в чтение. Он остановился посреди тротуара и, не обращая внимания на толкавших его со всех сторон прохожих, искушенным глазом опытного канцеляриста впился в документ, пытаясь разобраться в каждом слове. Жена и тесть все так же молча дожидались в двух шагах от него.

Наконец он вернул тестю завещание, объявив:

— Ничего не поделаешь. Ловко же она нас одурачила.

Кашлен, обозленный крушением своих надежд, возразил:

— Это вам следовало обзавестись ребенком, черт подери! Вы ведь знали, что она давно этого желала.

Лезабль, не отвечая, пожал плечами.

Вернувшись домой, они застали множество людей, чье ремесло — заниматься покойниками. Лезабль ушел к себе, не желая больше ни во что вмешиваться, а Сезар злился, кричал, чтобы его оставили в покое, чтобы поскорее кончали эту волынку, находя, что пора наконец избавить его от этого трупа.

Кора заперлась у себя в комнате, и ее не было слышно. Но спустя час Кашлен постучался в двери к зятю.

— Дорогой Леопольд,—сказал он,—я хочу поделиться с вами некоторыми соображениями; ведь как-никак нам надо столковаться. По-моему, следует все же устроить приличные похороны, чтобы не возбуждать толков в министерстве. Денег мы раздобудем. Да и ничего еще не потеряно. Женаты вы не так давно, неужто у вас не будет детей? Придется немножко постараться, только и всего. Теперь займемся самым неотложным: можете ли вы нынче же зайти в министерство? Тогда я немедля надпишу адреса на извещениях о похоронах.

Лезабль не без досады должен был признать, что тесть его прав, и, усевшись друг против друга по концам длинного стола, они принялись надписывать уведомления в черной рамке.

Потом сели завтракать. Кора вышла к столу, безразличная ко всему, словно все происходившее ее вовсе не касалось; ела она с аппетитом, так как накануне весь день постилась.

После завтрака она тотчас же ушла к себе. Лезабль отправился в министерство, а Кашлен расположился на балконе, с трубкой в зубах, верхом на стуле. Палящее летнее солнце роняло отвесные лучи на крыши домов, и стекла слуховых окон горели таким нестерпимым блеском, что глазам было больно.

Кашлен, в одном жилете, ослепленный пото-

ками света, мигая, смотрел иа зелеиые холмы, маячившие там, далеко-далеко, позади огромиого города, позади пыльиых окраин. Ему мерещилась широкая, тихая и прохладиая Сена, протекающая у подножия лесистых холмов, и ои думал, до чего было бы хорошо, вместо того чтоб жариться иа раскалеиином балконе, растяиуться иа траве под сенью деревьев где-нибудь иа берегу реки и безмятежно поплевывать в воду. Его томила тоска, неотступное, мучительиое созиаиие краха, непредвидеииой иеудачи, тем более жестокой и горькой, чем дольше лелеяли они надежду; и, одержимый этой неотвязной мыслью, ои произнес вслух, как бывает при сильиом душевиом потрясеиии:

— Старая шлюха!

В столовой, за спиной у иего, шумио суетились агеиты похоронного бюро и раздавался мерный стук молотка, которым заколачивали гроб. По возвращеиии от иотариуса Кашлеи так и ие пожелал больше взгляиуть на сестру.

Но поиемногу тепло, радостиое очарование этого ясного летнего дня пронизали его тело и душу, и ему стало казаться, что не все еще потеряно. Почему бы его дочери и не родить ребеика? Не прошло ведь еще и двух лет, как она вышла замуж. Зять как будто крепкий, здоровый, хотя и иевелик ростом. Будет у иих ребенок, черт побери!.. Да и нельзя ведь иначе!

Лезабль крадучись вошел в министерство и проскользиул в свой кабинет. На столе ои иашел записку: «Вас спрашивает иачальиик». Он сделал было нетерпеливое движеиие, возмущеиный этим деспотизмом, который опять будет тяготеть иад ним. Но жгучее, неукротимое желаиие выдвинуться по службе подхлестнуло его. Он сам — и очеиь даже скоро — стаиет начальством, и поважиее этого!

Как был, ие сиимая выходного сюртука, Лезабль иаправился к г-ну Торшбефу. Он вошел с тем сокрушенным видом, какой полагается в печальиых обстоятельствах, и даже более того, на его грустном лице было выражеиие подлиниого глубокого уиыния, какое иепроизвольио появляется у каждого при тяжелых утратах.

Начальник приподнял огромиую голову, как всегда, склоиенную над бумагами, и резко заметил:

— Я прождал вас все утро. Вы почему не пришли?

— Дорогой патрои,— ответил Лезабль,— мы имели несчастье потерять иашу тетушку, мадмуазель Кашлеи; я как раз и пришел затем, чтоб просить вас присутствовать иа погребении, которое состоится завтра.

Лицо г-иа Торшбефа мгновенно прояснилось. И ои ответил с оттенком уважения:

— Тогда, дорогой мой, другое дело. Благодарю вас. А теперь вы свободны,—ведь хлопот у вас, вероятио, достаточно.

Но Лезаблю непременно хотелось доказать свое усердие:

— Благодарю вас, дорогой патрон, ио у иас уже со всем покончено, так что я рассчитываю пробыть в учреждеиии до конца заиятий.

И ои вериулся в свой кабииет.

Новость облетела все министерство. Из всех отделов приходили сослуживцы, чтобы выразить Лезаблю соболезиоваиие. Впрочем, это походило скорее на поздравлеиия; к тому же каждому хотелось взглянуть, как будет себя вести счастливый иаследник.

Лезабль с превосходио разыгранным видом покорности судьбе и удивительным тактом принимал выражение сочувствия и терпел любопытиые взгляды.

— Он прекрасио держится,— говорили одии, а другие добавляли:— Как-никак, а в глубине души он, иавериое, донельзя рад.

Маз оказался отважиее других и спросил ieпринужденным тоном светского человека:

— Вам точио известиы размеры состояния?

Лезабль ответил с видом полиейшего бескорыстия:

— В точиости — нет. Но в завещаиии иазваиа сумма приблизительио в миллиои двести тысяч франков. Я зиаю об этом, поскольку иотариус вынужден был тотчас же ознакомить иас с некоторыми пуиктами, касающимися похорон.

Все сошлись на том, что Лезабль и ие подумает оставаться в министерстве. Кто же станет скрипеть пером в каицелярии, имея шестьдесят тысяч ливров дохода? Ведь как-никак ои теперь особа! Кем захочет — тем и будет. Кое-кто полагал, что ои метит на депутатское кресло. Начальник с миуты иа мииуту ждал, что Лезабль подаст ему прошение об отставке для передачи директору.

Все министерство явилось на похороиы, и все нашли их довольно жалкими. Но ходили слухи, что такова была воля покойницы. «Это оговореио в завещаиии».

Кашлен назавтра приступил к исполиению своих обязаииостей, а Лезабль, похворав с иедельку, слегка побледневший, ио по-прежнему прилежиый и преисполиенный усердия, тоже вериулся в миистерство. Казалось, ничто не изменилось в их судьбе. Все замечали только, что оба с важностью курят толстые сигары и рассуждают о ренте, о железнодорожиых акциях и цениых бумагах, как люди, у которых карманы набиты банковскими билетами. Спустя иекоторое время стало известно, что оии сияли дачу в окрестностях Парижа, желая провести там остаток лета.

Все решили, что им передалась скупость покойиой старухи.

— Это семейная черта, с кем поведешься— от того и наберешься. Что ни говори, ие очень-то красиво торчать в канцелярии, получив такое огромное иаследство.

Прошло некоторое время, и судачить о них перестали. Их по достоииству оценили и осудили.

IV

Следуя за гробом тетки Шарлотты, Лезабль не переставая думал о ее миллиоие. Он терзался яростью, тем более лютой, что выиужден был ее

скрывать; из-за своей плачевной неудачи он возненавидел весь мир.

«Ведь я женат вот уже два года, почему же у нас нет ребенка?» — задавал он себе вопрос. И сердце его замирало от страха, что брак его останется бездетным.

И вот, подобно мальчугану, который, глядя на приз, прицепленный высоко, у сверкающей верхушки длинного шеста, дает клятву напрячь все свое мужество и волю, всю силу и упорство и добраться до этой приманки, Лезабль принял отчаянное решение во что бы то ни стало сделаться отцом. Почему всякий другой может стать отцом, а он нет? Почему? Или он был слишком беспечен? Чего-то не предусмотрел? Из-за своего безразличия и непростительной беззаботности чем-то пренебрег? Или просто, никогда не испытывая страстного желания оставить после себя наследника, он не проявил для этого должного старания? Отныне он приложит отчаянные усилия, чтобы достигнуть цели. Он ничего не упустит, и раз он этого хочет, то добьется своего.

Но, вернувшись с похорон, он почувствовал недомогание и вынужден был лечь в постель. Разочарование было так сильно, что он с трудом перенес удар.

Врач нашел его состояние настолько тяжелым, что предписал полный покой, посоветовал беречь себя. Опасались даже воспаления мозга.

Однако спустя неделю он был уже на ногах и приступил к работе в министерстве.

Но, продолжая считать себя больным, он все еще не осмеливался приблизиться к супружескому ложу. Он колебался и трепетал, подобно полководцу перед решающим сражением, сражением, от которого зависит его судьба. Каждый вечер он откладывал свое намерение, в ожидании того счастливого часа, когда, ощутив прилив здоровья, бодрости и силы, чувствуешь себя способным на все. Он поминутно щупал у себя пульс и, находя его то слишком слабым, то чрезмерно учащенным, принимал возбуждающие средства, ел кровавые бифштексы и для укрепления организма совершал по дороге домой длинные прогулки.

Но поскольку силы его не восстанавливались так, как ему бы хотелось, Лезабль подумал, не провести ли конец лета где-нибудь в окрестностях Парижа. Вскоре он окончательно уверовал в то, что свежий воздух полей окажет могучее действие на его здоровье. В таких случаях деревенский воздух делает чудеса. Успокоив себя несомненностью грядущего успеха, он многозначительно намекал тестю:

— В деревне я почувствую себя лучше, и все пойдет на лад.

Уже одно это слово «деревня», казалось, заключало в себе какой-то сокровенный смысл.

Они сняли небольшой деревенский домик в Безоне и поселились там втроем. По утрам мужчины отправлялись пешком через поле к полустанку Коломб и по вечерам пешком возвращались домой.

Кора была восхищена этой жизнью на берегу реки. Она то сидела над ее тихими водами, то собирала цветы и приносила домой огромные букеты трепетных золотистых трав.

Вечерами они прогуливались втроем на берегу до плотины Морю, где заходили в трактир «Под липами» выпить бутылку пива. Река, сдерживаемая длинным рядом свай, прорывалась между столбами и на протяжении ста метров кидалась, бурлила, пенилась, падала с грохотом, от которого содрогалась земля; а в воздухе реяла мелкая водяная пыль, влажное облачко легкой дымкой вставало над водопадом, разнося вокруг запах взбаламученного ила и свежесть водяной пыли.

Спускалась ночь, вдалеке перед ними огромное зарево вставало над Парижем, и Кашлен каждый вечер повторял:

— Ого! Вот это город так город!

Время от времени в отдалении, громыхая по железному мосту, пролетал поезд и стремительно уносился либо влево — к Парижу, либо вправо — к морю.

Они медленно возвращались, глядя, как восходит луна, и присаживались на обочине дороги, чтобы полюбоваться ее колеблющимся и желтым отблеском на спокойной глади реки, словно уплывавшим вместе с течением; зыбкий и переливчатый, он походил на пламенеющий муар. Жабы издавали пронзительный металлический визг. Ночные птицы перекликались в темноте. А иногда огромная немая тень скользила на поверхности реки, тревожа ее светящуюся спокойную гладь. Это речные браконьеры гнали свою лодку и, одним взмахом выбросив невод, бесшумно вытаскивали на берег громадную темную сеть, полную пескарей; трепещущий улов сверкал, словно извлеченное со дна сокровище — живое серебристое сокровище.

Кора, умиленная, растроганная, опиралась на руку мужа, намерения которого она угадывала, хотя между ними не было сказано ни слова. Для них будто снова наступила пора помолвки, пора ожидания любовных ласк. Иногда он украдкой касался губами ее нежного затылка, пленительного местечка возле мочки уха, где начинаются первые завитки волос. Она отвечала пожатием руки, и они все сильней желали друг друга, но сдерживали себя, побуждаемые и обуздываемые страстью еще более могущественной — призраком миллиона.

Кашлен, умиротворенный надеждой, которая реяла вокруг, был счастлив, пил и ел вволю, и в вечерних сумерках в нем пробуждалась та смутная мечтательность, то глуповатое умиление, какое вызывают подчас у самых толстокожих людей картины природы — потоки света, струящегося в листве, лучи заходящего солнца на далеких склонах, пурпурные отблески в реке.

— Когда видишь все это, невольно начинаешь верить в бога,—заявлял он.—За душу хватает.— И он тыкал пальцем повыше живота, под ложечку.—Я чувствую тогда, как меня всего переворачивает, и я совсем дурею. Словно меня окунули в ванну,—даже плакать хочется.

Между тем Лезабль поправлялся; он испытывал внезапный прилив энергии, какого уже давно

не знал, н ощущал потребность скакать, как молодой жеребенок, кататься по траве, крнчать от радости.

Он решил, что час настал. Это была настоящая брачная ночь.

Затем наступил медовый месяц, исполненный ласк и упований.

Затем они убедилнсь, что их попытки осталнсь бесплодными и надежда тщетной.

Их охватило отчаяние — это был крах. Но Лезабль не терял мужества и упорствовал, прилагая сверхчеловеческие усилия для достижения цели. Его жену обуревало то же стремление, мучнлн те же страхи. Более крепкая, нежели он, Кора охотно шла навстречу попыткам мужа и, побуждая его к ласкам, непрестанно подогревала его слабеющий пыл.

В первых чнслах октября они возвратились в Парнж.

Жнть становнлось тяжело. У ннх частенько срывались обидные слова, и Кашлен, чутьем угадывающий, как обстоит дело, донимал их ядовитыми и грубыми насмешками старого солдафона.

Их преследовала, грызла неотвязная мысль, разжигавшая озлобленне друг против друга, мысль о наследстве, которое не давалось нм в руки. Кора стала открыто пренебрегать мужем: она помыкала им, обращалась с ним, как с мальчишкой, глупцом, ничтожеством. А Кашлен ежедневно повторял за обедом:

— Будь я богат, я бы народил кучу детишек. Ну, а бедняку надо быть благоразумным.

И, обращаясь к дочери, он добавлял:

— Ты-то, верно, пошла в меня, да вот...

И, презрительно пожимая плечами, бросал многозначительный взгляд на зятя.

Лезабль сносил это молча, как человек высшего круга, попавший в семью неотесанных грубиянов. Сослуживцы заметили, что он похудел н осунулся. Даже начальник как-то спросил:

— Что с вами? Вы не больны? Вас словно подменили.

Лезабль ответил:

— Нет, дорогой патрон, должно быть, я просто переутомился. Последнее время, как вы могли заметнть, я довольно много работал.

Он очень рассчитывал на повышение к Новому году и в надежде на это трудился, не жалея себя, как оно и полагается примерному чиновнику.

Он получил какие-то ннчтожные наградные, даже более жалкие, чем те, что достались остальным сослуживцам. Его тестю вообще ничего не дали.

Оскорбленный до глубины души, Лезабль явился к начальнику и, обращаясь к нему, впервые назвал его «сударь».

— Чего ради, сударь, должен я так усердствовать, если мне это ничего не дает?

Господин Торшбеф с явным неудовольствием покачал своей огромной головой.

— Я уже говорнл вам, господин Лезабль, подобного рода пререкания между нами недопустимы. Еще раз повторяю, что считаю ваше требование совершенно неуместным, в особенности учнтывая ваше нынешнее благополучие и бедность ваших сослуживцев.

Лезабль не сдержался:

— Сударь, но у меня ровно ничего нет! Тетушка завещала все свое состояние первому ребенку, который родится от нашего брака. Мы с тестем живем только на жалованье.

Торшбеф слегка опешил, но все же возразил:

— Если у вас ничего нет сейчас, то не сегодня завтра вы разбогатеете, а это одно н то же.

И Лезабль ушел, более подавленный тем, что его обошли по службе, чем недоступностью наследства.

Несколько дней спустя, едва Кашлен успел переступить порог министерства, как явился красавец Маз. На губах у него играла улыбка. За ним с ехидным огоньком в глазах вошел Питоле; распахнув дверь, влетел Буассель, ухмыляясь и с заговорщическим видом подмигивая остальным. Только папаша Савон, не выпуская пенковой трубки изо рта и по-ребячьи поставив ногн на перекладину высокого стула, старательно водил пером по бумаге.

Все молчали, словно чего-то выжидая. Кашлен регистрировал бумаги, по привычке повторяя вслух:

— Тулон. Котелки для офицерской столовой на «Ришелье». Лориан. Скафандры для «Дезэ». Брест. Образчики парусного холста английского производства.

Вошел Лезабль. Теперь по утрам он сам приходил за делами, которые должны были к нему поступнть, так как тесть уже не давал себе труда посылать их с рассыльным.

Пока он рылся в бумагах, разложенных на столе у регистратора, Маз, потирая руки, искоса на него поглядывал, а у Питоле, свертывавшего в это время сигарету, губы подергивались, словно ему стоило неимоверного труда удержаться от смеха.

— Скажите-ка, папаша Савон, вы ведь многому научилнсь за вашу долгую жизнь? — спросил Питоле, обращаясь к экспедитору.

Старик не отвечал, предполагая, что над ним хотят поиздеваться и опять затевают разговор о его жене.

Питоле не унимался:

— Вы-то хорошо знали, как делать ребят, ведь у вас их было несколько?

Бедняга поднял голову:

— Вам известно, господин Пнтоле, что я не люблю, когда над этим подшучивают. Я имел несчастье нзбрать себе недостойную подругу жизни. Получив доказательства ее неверностн, я перестал считать ее своей женой.

Маз переспросил безразличным тоном, без тени улыбки:

— А у вас были тому неоднократные доказательства, не правда ли?

И папаша Савон ответил серьезно:

— Да, сударь.

Снова заговорил Питоле:

— Это не помешало вам стать отцом многочисленного семейства? У вас, я слышал, трое или четверо ребят?

Старик покраснел и проговорил, запинаясь:

— Вы хотите меня оскорбить, господин Питоле, но вам это не удастся. У моей жены подлинно было трое детей. У меня есть основания предполагать, что старший сын мой. Двух других я не признаю своими.

Питоле подхватил:

— Верно, верно, все говорят, что вы отец старшего мальчика. Ну и ладно. Все же прекрасно иметь ребенка, да, прекрасно, и какое это счастье! Да вот! Держу пари, что Лезабль был бы в восторге, если б мог, как вы, произвести на свет хотя бы одного.

Кашлен бросил писать. Он не смеялся, хотя папаша Савон был постоянной мишенью его насмешек, и обычно Сезар не скупился на непристойные шуточки по поводу его супружеских невзгод.

Лезабль собрал уже свои бумаги. Но, увидев, что все эти выходки направлены против него, он из гордости не захотел уйти. В смущении и ярости он ломал голову: кто мог выдать его тайну? Внезапно ему пришли на память слова, сказанные им начальнику, и он сразу понял, что если не хочет стать посмешищем всего министерства, то должен действовать весьма решительно.

Буассель, по-прежнему ухмыляясь, прохаживался по комнате и, подражая хриплому голосу уличного торговца, выкрикивал:

— Способ производить на свет детей — десять сантимов два су! Покупайте! Способ производить на свет детей, открытый господином Савоном! Множество невероятнейших подробностей!

Все расхохотались, за исключением Лезабля и его тестя. Тогда Питоле, обратясь к регистратору, спросил:

— Что с вами, Кашлен? Я не узнаю вас. Где ваша обычная веселость? Вы, как видно, не находите ничего смешного в том, что у жены папаши Савона был от него ребенок? А я нахожу это очень и даже очень забавным. Не всякому это дано!..

Лезабль побледнел, но опять начал перебирать бумаги, притворяясь, что читает их и ничего не слышит.

Тогда Буассель снова затянул голосом уличного зазывалы:

— О пользе наследников для получения наследства! Десять сантимов два су. Берите, хватайте!

Маз находил такого рода остроумие слишком грубым, но, злясь на Лезабля, лишившего его надежды на богатство, которую он все же питал в глубине души, спросил в упор:

— Что с вами, Лезабль? Вы так побледнели?!

Подняв голову, Лезабль взглянул Мазу прямо в лицо. Губы у него дрожали. Несколько секунд он колебался, подыскивая ядовитый и колкий ответ, но, не придумав ничего подходящего, ответил:

— Со мной — ничего. Меня только удивляет ваше необыкновенно тонкое остроумие.

Маз, все так же стоя спиной к камину и придерживая руками полы сюртука, смеясь, ответил:

— Кто как умеет, дорогой мой. Нам тоже не всегда все удается, как и вам...

Взрыв хохота прервал его слова. Папаша Савон, смутно догадываясь, что насмешки относятся не к нему, так и застыл на месте, разинув рот и держа перо на весу. Кашлен выжидал, готовый броситься с кулаками на первого, кто подвернется под руку.

Лезабль пробормотал:

— Не понимаю. Что мне не удается?

Красавец Маз отпустил одну полу сюртука, чтобы подкрутить усы, и любезно ответил:

— Я знаю, обычно вам удается все, за что бы вы ни взялись. Признаюсь, я ошибся, сославшись на вас. Впрочем, речь шла о детях папаши Савона, а не о ваших; да, кстати, их у вас и нет. Стало быть, вы их не хотите; ведь вам всегда все удается.

Лезабль грубо спросил:

— Вам-то какое дело?

В ответ на этот вызывающий тон Маз тоже повысил голос:

— Скажите пожалуйста! Что это вас так разобрало? Советую быть повежливей, а не то вам придется иметь дело со мной!

Но Лезабль, дрожа от бешенства и потеряв всякое самообладание, проговорил:

— Господин Маз, я не хлыщ и не красавчик, как вы. Прошу вас больше никогда ко мне не обращаться. Мне нет дела ни до вас, ни до вам подобных.

И он бросил вызывающий взгляд в сторону Питоле и Буасселя.

Тогда Маз сообразил, что подлинная сила таится в спокойной иронии, а так как самолюбие его было сильно задето, ему захотелось поразить врага в самое сердце. Поэтому он продолжал покровительственным тоном, тоном благожелательного советчика, хотя глаза его сверкали от ярости:

— Милейший Лезабль! Вы переходите все границы. Впрочем, ваше раздражение мне понятно. Обидно же потерять состояние, и потерять его из-за такого пустяка: ведь легче и проще ничего быть не может... Хотите, я окажу вам эту услугу безвозмездно, как добрый товарищ. Это дело пяти минут...

Не успел он договорить, как чернильница папаши Савона, запущенная Лезаблем, угодила ему прямо в грудь. Чернила потоком залили ему лицо, с непостижимой быстротой превратив его в негра. Сжав кулаки, вне себя от гнева, он ринулся на Лезабля. Но Кашлен, заслонив собой зятя, схватил рослого Маза в охапку, хорошенько его тряхнул и, надавав тумаков, прижал к стенке. Маз напряг все силы, вырвался, распахнул дверь и, бросив обоим противникам: «Вы еще услышите обо мне!», выбежал из комнаты.

Питоле и Буассель последовали за ним. Буассель объяснил свою сдержанность опасением, что, вмешавшись в драку, он непременно кого-нибудь убил бы.

Вернувшись в свой отдел, Маз попытался смыть чернила, но это ему не удалось. Его лицо было окрашено теми самыми темно-фиолетовыми чернилами, которые не выцветают и не смы-

ваются. В отчаянии и бешенстве он скомканным полотенцем яростно тер лицо перед зеркалом. Черное пятно расплывалось еще больше; к тому же из-за прилива крови оно приобретало багровый оттенок.

Буассель и Питоле, сопровождавшие Маза, наперебой давали ему советы. Один рекомендовал вымыть лицо чистым оливковым маслом, другой — нашатырным спиртом. Послали рассыльного за советом в аптеку. Он принес какую-то желтую жидкость и пемзу. Все было тщетно.

Маз в унынии уселся на стул и объявил:

— Это вопрос чести. Я вынужден действовать. Согласны вы быть моими секундантами и потребовать от господина Лезабля, чтобы он принес извинения в надлежащей форме либо дал мне удовлетворение с оружием в руках?

Оба приятеля выразили согласие, и все сообща принялись вырабатывать план действий. Никому не хотелось признаться, что он не имеет ни малейшего представления о такого рода делах; поэтому, озабоченные точным соблюдением всех правил, они робко высказывали самые разноречивые мнения. Решили посоветоваться с капитаном одного судна, прикомандированным к министерству для надзора за поставками угля. Но оказалось, что тот знает не больше их. Поразмыслив, он все же посоветовал им отправиться к Лезаблю и предложить ему назвать двух секундантов.

На пути к кабинету сослуживца Буассель вдруг встал как вкопанный:

— Но ведь необходимы перчатки!

Питоле, с минуту поколебавшись, подтвердил:

— Да, пожалуй.

Но, чтоб обзавестись перчатками, пришлось бы отлучиться из министерства, а начальник шутить не любил. Поэтому послали в галантерейный магазин рассыльного. Он принес на выбор целую коллекцию. Долго совещались, не зная, какого цвета взять перчатки. Буассель полагал, что следует остановиться на черных; Питоле находил, что при данных обстоятельствах этот цвет неуместен. Согласились на лиловых.

При виде обоих сослуживцев, которые торжественно, в перчатках вошли к нему в кабинет, Лезабль поднял голову и отрывисто спросил:

— Что вам угодно?

Питоле ответил:

— Сударь, мы уполномочены нашим другом, господином Мазом, передать вам, чтобы вы либо извинились перед ним, либо дали ему удовлетворение с оружием в руках за оскорбление действием, которое вы ему нанесли.

Но Лезабль, выйдя из себя, воскликнул:

— Как? Он меня оскорбил и он же еще меня вызывает? Так передайте ему, что я его презираю и что я отвечу презрением на все, что он скажет или сделает.

Буассель приблизился и трагическим голосом произнес:

— Сударь, вы вынуждаете нас напечатать в газетах официальное заявление, весьма неблагоприятное для вас.

А Питоле ехидно добавил:

— Что может опорочить вашу честь и сильно повредить вашей карьере.

Лезабль оторопело глядел на них. Что делать? Он решил выиграть время.

— Господа, я вам дам ответ через десять минут, соблаговолите подождать в кабинете господина Питоле.

Оставшись один, он оглянулся вокруг, словно в поисках совета, защиты.

Дуэль! У него будет дуэль!

Он трепетал, растерявшись, как человек миролюбивый, никогда не ожидавший ничего подобного, не подготовленный к такой опасности, к таким волнениям, не закаливший своего мужества в предвидении столь грозного события. Он попытался встать, но снова упал на стул. Сердце у него колотилось, ноги подкашивались. Силы его улетучились вместе с гневом. Но мысль о том, что скажут в министерстве, о толках, какие пойдут по отделам, пробудила его угасшую было гордость, и, не зная, на что решиться, он направился за советом к начальнику.

Господин Торшбеф был поражен и озадачен. Он не видел необходимости в поединке. Кроме того, он опасался, что все это может вызвать беспорядок в его отделе. Он растерянно повторил:

— Ничего не могу вам посоветовать. Это вопрос чести, меня это не касается. Если желаете, я могу вам дать записочку к майору Буку. Он сведущ в этих делах, он вас научит, как поступить.

Лезабль поблагодарил и отправился к майору, который тут же изъявил согласие быть его секундантом; вторым секундантом он пригласил одного из своих помощников.

Буассель и Питоле дожидались их, все еще не снимая перчаток. Они раздобыли в соседнем отделе два стула, чтоб можно было устроиться вчетвером.

Секунданты торжественно обменялись поклонами и сели. Питоле первым взял слово и обрисовал положение. Выслушав его, майор заявил:

— Дело серьезное, но, на мой взгляд, поправимое. Все зависит от намерений сторон.

Старый моряк в душе потешался над ними.

В итоге длительного обсуждения были выработаны четыре проекта письма, предусматривавшие обоюдные извинения. Если г-н Маз заявит, что, по существу, не имел намерения оскорбить г-на Лезабля, последний охотно признает свою вину, выразившуюся в том, что он запустил в него чернильницей, и принесет извинения за свой опрометчивый поступок.

Затем все четверо вернулись к дуэлянтам. Маз сидел у себя за столом, взволнованный предстоящим поединком, хотя и ожидал вероятного отступления противника, и, держа небольшое круглое зеркальце в оловянной оправе, рассматривал поочередно то одну, то другую щеку. У каждого чиновника в ящике стола хранится такое зеркальце, чтоб вечером, перед уходом, привести в порядок прическу, расчесать бороду и поправить галстук.

Прочитав представленные ему секундантами

письма, Маз с видимым удовлетворением заметил:

— На мой взгляд, условия весьма почетные. Я готов подписать.

Лезабль, со своей стороны, приняв без возражений предложения секундантов, заявил:

— Если ваше мнение таково, мне остается только подчиниться.

И четверо секундантов собрались снова. Произошел обмен письмами, все торжественно раскланялись и разошлись, считая инцидент исчерпанным.

В министерстве царило чрезвычайное возбуждение. Чиновники бегали за новостями, сновали из одной двери в другую, толпились в коридорах.

Когда выяснилось, что дело улажено, все были весьма разочарованы. Кто-то сострил:

— А ребенка-то Лезаблю от этого не прибудет!

Острота облетела все министерство. Какой-то чиновник сложил по этому поводу песенку.

Казалось, с происшествием покончено, когда встало новое затруднение, на которое указал Буассель: как следует вести себя противникам, если они столкнутся лицом к лицу? Должны ли они поздороваться или сделать вид, что незнакомы? Было решено, что они встретятся как бы случайно в кабинете начальника и в его присутствии вежливо обменяются двумя-тремя словами.

Церемония состоялась, после чего Маз немедленно послал за фиакром и уехал домой, чтобы снова попытаться отмыть чернила.

Лезабль и Кашлен молча возвращались вдвоем, злясь друг на друга, словно все это произошло по вине одного из них.

Придя домой, Лезабль яростно швырнул шляпу на комод и крикнул жене:

— Хватит с меня! Теперь еще дуэль!.. А все из-за тебя.

Она изумленно взглянула на него, заранее чувствуя прилив раздражения.

— Дуэль? Это еще почему?

— Потому что Маз меня оскорбил, и все из-за тебя.

Кора подошла к мужу.

— Из-за меня? Каким образом?

В ярости он бросился в кресло, повторяя:

— Он меня оскорбил. Я не обязан тебе докладывать подробности.

Но она настаивала:

— Прошу тебя, повтори, что он сказал обо мне.

Лезабль покраснел и пролепетал:

— Он сказал... сказал... если ты бесплодна...

Она отшатнулась, словно ее ударили хлыстом, и в бешенстве, с отцовской грубостью, сразу проступившей сквозь оболочку женственности, разразилась бранью:

— Я, я бесплодна? С чего он это взял, идиот?! Бесплодна из-за тебя — да! Потому что ты не мужчина! Но, выйди я за другого, слышишь — за другого, за кого угодно, я бы рожала. Вот... Уж молчал бы лучше! Я и так дорого поплатилась за то, что вышла за такого слюнтяя!.. Так что же ты ответил этому мерзавцу?..

Растерявшись перед этим бурным натиском, Лезабль, запинаясь, произнес:

— Я... я... дал ему пощечину.

Она удивленно взглянула на мужа:

— Ну, а он что?..

— Он прислал мне своих секундантов. Вот и все!

Происшествие заинтересовало ее; как и всякую женщину, ее захватывал драматизм событий; гнев ее сразу улегся, и, проникшись уважением к мужу, который ради нее подвергал опасности свою жизнь, она спросила:

— Когда же вы деретесь?

Он спокойно ответил:

— Дуэли не будет. Секунданты уладили дело. Маз передо мной извинился.

Она смерила его презрительным взглядом:

— Ах, так! Меня оскорбляют в твоем присутствии, и ты это допускаешь! Драться ты не будешь! Этого только недоставало! Ты еще, оказывается, и трус!

Он возмутился:

— Замолчи, пожалуйста! Мне-то лучше знать, раз это касается моей чести. Впрочем, вот письмо господина Маза. На, читай! Увидишь сама.

Она взяла из его рук письмо, пробежала глазами, все поняла и усмехнулась:

— Ты ему тоже написал? Вы друг друга испугались. Какие же мужчины трусы! Женщина на вашем месте... Да что же это на самом деле! Он меня оскорбил, меня, твою жену! И ты довольствуешься этим письмом! Не удивительно, что ты не способен иметь ребенка! Все одно к одному: ты так же струсил перед мужчиной, как трусишь перед женщиной. Нечего сказать — хорош гусь!

Она внезапно обрела голос и ухватки Кашлена — наглые ухватки старого солдафона и резкий мужицкий голос.

Рослая, крепкая, здоровая, с высокой грудью, румяным и свежим лицом, побагровевшим от гнева, она стояла перед ним подбоченясь и низким раскатистым голосом изливала свою обиду. Она глядела на сидевшего перед ней бледного плешивого человечка с короткими адвокатскими бачками на бритом лице, и ей хотелось задушить, раздавить его.

Она повторяла:

— Ты ничтожество, да, ничтожество! Даже на службе каждый может тебя обскакать!

Дверь отворилась, и вошел Кашлен, привлеченный шумом.

Он спросил:

— Что тут у вас такое?

Она обернулась:

— Я ему выложила все начистоту, этому фигляру.

Лезабль посмотрел на тестя, на жену и вдруг обнаружил между ними разительное сходство. Пелена спала с его глаз, и он увидел обоих — отца и дочь — такими, какими они были, родными по крови, по низменной и грубой природе. И он понял, что погиб, ибо навеки обречен жить между этими двумя людьми.

— Если бы хоть можно было развестись! Ма-

ло радости — выйти замуж за каплуна!— заявил Кашлен.

Услышав это слово, Лезабль вскочил как ужаленный. Дрожа от ярости, он наступал на тестя и, задыхаясь, бормотал:

— Вон!.. Вон отсюда!.. Вы в моем доме, слышите! Убирайтесь вон!..

Схватив стоявшую на комоде бутыль с какой-то лекарственной настойкой, он размахивал ею, как дубинкой.

Оробевший Кашлен попятился и вышел из комнаты, бормоча:

— Что это его так разобрало?

Но ярость Лезабля не утихала: это уже было слишком! Он обернулся к жене, которая не сводила с него глаз, слегка удивленная его неистовством, и, поставив бутыль обратно на комод, крикнул срывающимся голосом:

— А ты, ты...

Но, не зная, что сказать, что придумать, он умолк и с искаженным лицом остановился перед ней.

Она расхохоталась.

Он обезумел от этого оскорбительного смеха и, кинувшись к жене, левой рукой обхватил ее за шею, а правой стал бить по лицу. Растерянная, задыхающаяся, она отступала перед ним и наконец, наткнувшись на кровать, упала навзничь. Лезабль все не отпускал ее, продолжая хлестать по щекам. Вдруг он остановился, тяжело дыша, в полном изнеможении. Внезапно устыдившись своей грубости, он пробормотал:

— Вот... вот... видишь.

Но она не шевелилась, словно мертвая, все так же лежа на спине, на краю постели, закрыв лицо руками. Он склонился над ней, пристыженный, спрашивая себя, что же теперь будет, и выжидал, когда она откроет лицо, чтобы увидеть, что с ней. Тревога его возрастала, и, немного помедлив, он прошептал:

— Кора, а Кора?

Она не ответила, не шевельнулась. Что это? Что с ней? Что она задумала?

Ярость его испарилась, погасла столь же внезапно, как и вспыхнула, он чувствовал себя негодяем, почти преступником. Он избил женщину, свою жену, он, спокойный и смирный, хорошо воспитанный и рассудительный человек. Его терзало раскаяние, и он готов был на коленях вымаливать прощение, целовать эту исхлестанную пунцовую щеку. Он потихоньку, одним пальцем прикоснулся к руке жены, закрывавшей ее лицо. Она словно ничего не почувствовала. Он приласкал ее, погладил, как гладят побитую собаку. Она не обратила на это внимания. Он повторил:

— Кора, послушай, Кора, я виноват, послушай.

Она лежала, как мертвая. Тогда он попытался отнять ее руку от лица. Рука легко поддалась, и он увидел устремленный на него пристальный взгляд, волнующий, загадочный.

Он снова заговорил:

— Послушай, Кора, я вспылил. Твой отец довел меня до исступления. Нельзя так оскорблять человека.

Она не отвечала, словно и не слышала его. Он не знал, что сказать, как поступить. Он поцеловал ее возле самого уха и, приподнявшись, заметил в уголке ее глаза слезинку — крупную слезинку, которая выкатилась и стремительно побежала по щеке; веки ее затрепетали, и она быстро-быстро заморгала.

Охваченный горем и жалостью, Лезабль прилег к жене и крепко обнял ее. Он губами оттолкнул ее руку и, осыпая поцелуями ее лицо, умолял:

— Кора, бедняжка моя, прости, ну прости же меня!..

Она продолжала плакать — неслышно, без всхлипываний, как плачут в глубокой горести.

Он прижал ее к себе и, лаская, нашептывал ей на ухо самые нежные слова, какие только мог придумать. Она оставалась бесчувственной, но плакать все же перестала.

Они долго лежали так друг подле друга, не размыкая объятий.

Надвигался вечер, наполняя мраком небольшую комнату. И когда стало совсем темно, он расхрабрился и вымолил прощение способом, воскресившим их надежды.

Они поднялись, и Лезабль вновь обрел свой обычный тон и вид, словно ничего не случилось. Она же, напротив, казалась растроганной, голос ее звучал ласковей, чем обычно, она глядела на мужа преданно, почти нежно, словно этот неожиданный урок вызвал какую-то нервную разрядку и смягчил ее сердце. Лезабль спокойно обратился к ней:

— Отец, наверное, соскучился там один. Пойди-ка позови его. Ведь уже время обедать.

Она вышла.

И верно, было уже семь часов, и служанка объявила, что суп на столе. Невозмутимый и улыбающийся, появился вместе с дочерью Кашлен. Сели за стол, и завязалась сердечная беседа, какая давно уже не ладилась у них, словно произошло какое-то событие, осчастливившее их всех.

V

Надежда то вспыхивала в их душах, то угасала, а они все еще были далеки от заветной цели. Месяц за месяцем их постигало разочарование, вопреки упорству Лезабля и постоянной готовности его жены. Снедаемые тревогой, они то и дело попрекали друг друга своей неудачей. Отчаявшийся супруг, исхудавший и обессиленный, особенно страдал от грубости тестя; памятуя о дне, когда, оскорбленный прозвищем «каплун», Лезабль чуть не угодил ему в голову бутылкой, Кашлен насмешливо звал зятя в домашнем кругу не иначе, как «господин Петух».

Отец и дочь, связанные кровными узами и доведенные до бешенства неотступной мыслью об огромном состоянии, уплывающем из их рук, не знали, как больнее оскорбить и унизить этого импотента, явившегося причиной их несчастья.

Каждый день, садясь за стол, Кора повторяла:

— Обед сегодня неважный. Конечно, если б мы были богаты... Но это уж не моя вина...

По утрам, когда Лезабль уходил на службу, она кричала ему вдогонку из спальни:

— Захвати зонтик. Не то придешь грязный, как пугало. В конце концов не моя вина, что ты вынужден оставаться канцелярской крысой.

Собираясь выйти из дому, она никогда не упускала случая поворчать:

— И подумать только, что, выбери другого мужа, я разъезжала бы теперь в собственной карете!

Ежечасно по любому поводу она вспоминала о своем промахе, отпускала колкие замечания по адресу мужа, осыпала его оскорбительными упреками, считая его единственным виновником их неудачн, несущим ответ за потерю состояния, которым она могла бы обладать.

Как-то вечером, окончательно потеряв терпение, Лезабль оборвал ее:

— Да замолчишь ты наконец, черт тебя возьми? Уж если на то пошло, так это твоя вина, что у нас нет детей, слышишь — твоя, потому что у меня-то есть ребенок!..

Он лгал, стыдясь своего бессилия и предпочитая что угодно вечным попрекам жены.

Она удивилась было и взглянула на него, пытаясь прочитать правду в его глазах. Затем, догадавшись, что это ложь, переспросила презрительно:

— Это у тебя-то ребенок? У тебя?!

Он повторил вызывающе:

— Да, у меня побочный ребенок. Я отдал его на воспитание в Аньер.

Она спокойно заявила:

— Завтра же мы поедем туда. Я хочу на него посмотреть.

Покраснев до ушей, он пробормотал:

— Как тебе угодно.

Наутро она встала в семь часов и, когда муж выразил по этому поводу удивление, напомнила:

— Как, разве мы не поедем к твоему ребенку? Ты же обещал вчера вечером! Или, может быть, сегодня его у тебя уже нет?

Он соскочил с кровати:

— Мы поедем, но не к моему ребенку, а к врачу; пусть он тебе скажет, кто из нас виноват!

Уверенная в себе, жена ответила:

— Вот и прекрасно! Этого-то я и хотела!

Кашлен взялся сообщить в министерстве, что зять его заболел, и чета Лезаблей, справившись у аптекаря, жившего по соседству, в назначенное время позвонила у дверей доктора Лейфийеля — автора нескольких трудов по вопросам деторождения.

Они вошли в белую залу с позолоченными панелями, казавшуюся необитаемой и голой, несмотря на множество стульев. Сели. Лезабль был взволнован и смущен. Он трепетал. Настала их очередь, и они прошли в кабинет, похожий на канцелярию, где их с холодной учтивостью принял низенький толстяк.

Он ждал, пока они объяснят цель своего прихода. Но Лезабль, покрасневший до корней волос, не отваживался начать. Тогда заговорила его жена и спокойно, как человек, готовый на все ради достижения цели, объяснила:

— Сударь, у нас нет детей, и мы решили обратиться к вам. Видите ли, от этого зависит, получим ли мы состояние или нет.

Обстоятельный и тягостный врачебный осмотр длился долго. Но Кора, казалось, не испытывала неловкости, давая врачу тщательно обследовать себя, как женщина, которую воодушевляют самые возвышенные цели.

Осмотрев обоих супругов, что продолжалось около часа, врач не сказал ничего определенного.

— Я не нахожу никаких отклонений от нормы и ничего особенного в моей области. Впрочем, такие случаи встречаются, и довольно часто. Бывают разные организмы, как и разные характеры. Зачастую брак расстраивается из-за несходства характеров,—нет ничего удивительного, что он может оказаться бездетным из-за несходства физического. Что касается способности к деторождению, то супруга ваша, на мой взгляд, сложена чрезвычайно удачно. У вас, сударь, я не нахожу никаких органических недостатков, хотя должен констатировать некоторое истощение, быть может, именно вследствие чрезмерного желания стать отцом. Разрешите мне выслушать вас?

Встревоженный Лезабль снял жилет, и врач долго прикладывал ухо к его груди и спине, а затем тщательно выстукал его от живота до шеи и от поясницы до затылка.

Он нашел незначительные шумы в сердце и даже некоторую угрозу со стороны легких.

— Вы должны беречься, сударь, очень беречься. Пока это только малокровие, истощение; однако это ничтожное недомогание может со временем превратиться в неизлечимую болезнь.

Бледный, перепуганный Лезабль попросил врача назначить ему лечение. Тот дал подробное предписание: железо, кровавые бифштексы, побольше крепкого бульона, моцион, покой, лето — на лоне природы. Затем следовали советы на случай, когда больной почувствует себя лучше. Врач указал средства, применяемые в подобных обстоятельствах и часто оказывавшиеся успешными.

Советы врача обошлись им в сорок франков.

Когда они вышли на улицу, Кора, предвидя, что ее ждет в будущем, произнесла с затаенной яростью:

— Ну и попалась же я!

Он не ответил. Снедаемый страхом, он шагал рядом, припоминая и взвешивая каждое слово, сказанное врачом. Не обманул ли его доктор? Может быть, он считает его смертельно больным? Он уже не думал ни о наследстве, ни о ребенке. Речь шла о его жизни!

Ему казалось, что у него хрипы в легких и сердцебиение. Когда они проходили по Тюильри, он почувствовал слабость и захотел присесть. Раздосадованная жена, желая унизить его, стояла рядом, с презрительной жалостью глядя на него сверху вниз. Он тяжело дышал, бессознательно усиливая одышку, вызванную волнением, и беспрестанно щупая у себя пульс.

Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, Кора спросила:

— Ну, коичится когда-иибудь это кривляиье? Пойдешь ты или иет?

Ои поднялся с видом мучеиика и, ии слова ие говоря, двинулся в путь.

Узнав о том, что им сказал врач, Кашлен дал волю своему бешеиству. Ои рычал:

— Ну и влопались мы! Ну и влопались!

На зятя ои бросал свирепые взгляды, словно хотел растерзать его.

Лезабль ничего ие слышал, иичего не замечал,—он думал только о своем здоровье, о своей жизии, которая была под угрозой. Пусть оии вопят, сколько им угодио,—отец и дочь,—побывали бы оии в его шкуре!.. А шкуру-то ои как раз и хочет спасти!

На столе у него появились аптекарские пузырьки, и, невзирая иа усмешки жеиы и громкий хохот тестя, ои тщательио отмерял предписаииую дозу лекарства перед каждой едой. Ои помииутио глядедся в зеркало, то и дело прикладывал руку к сердцу, считая его удары; опасаясь физической близости с жеиой, ои распорядился переиести свою постель в темиую каморку, служившую им гардеробиой.

Теперь ои испытывал к этой женщиие лишь трусливую ненависть, смешаииую с отвращением. Впрочем, жеищииы, все до едииой, казались ему теперь чудовищами, опасиыми хищиицами, преследующими одну цель — мужеубийство. Если ои и вспомиил о завещаиии тетки Шарлотты, то лишь как о счастливо избегнутой опасиости, едва ие стоившей ему жизии.

Так прошло еще иесколько месяцев. До истечеиия рокового срока оставался всего лишь одии год.

Кашлен повесил в столовой громадиый календарь и каждое утро вычеркивал прошедший деиь; бессильная злоба, мучительиое сознание, что вожделеииое богатство ускользает от иего с каждой неделей, иестерпимая мысль, что ои вынуждеи будет по-прежиему тяиуть служебиую лямку и, выйдя иа пеисию, до коица дией влачить жалкое существование иа какие-иибудь две тысячи франков,— все это побуждало его к грубой браии, которая того и гляди могла перейти в драку.

При виде зятя Кашлен трясся от бешеного желания избнть его, раздавить, растоптать. Он неиавидел Лезабля исступленной неиавнстью. Всякий раз, как тот отворял дверь, входил в комнату, Кашлену казалось, что к нему в дом проинк вор, укравший у него священное достоянне — фамильиое иаследство. Тесть ненавидел Лезабля снльией, чем ненавндят смертельного врага, н в то же время презирал за неспособность, а главное, за малодушие, с тех пор как зять, опасаясь за свое здоровье, перестал добиваться осуществлення их общих иадежд.

Лезабль н в самом деле так чуждался жены, словио их не связывали никакне узы. Он боялся к ией приблизиться, прикоснуться, избегал даже ее взгляда, ие только от стыда, но и от страха.

Кашлен ежедиевио справлялся у дочери:

— Ну, как мужеиек? Отважился?

Оиа отвечала:

— Нет, папа.

Каждый вечер за обедом происходили тягостные сцеиы. Кашлеи без коица повторял:

— Если мужчииа — ие мужчииа, так уж лучше ему подохиуть и уступить место другому.

А Кора добавляла:

— Да уж, иичего ие скажешь; и бывают же иа свете бесполезиые, иикудышиые люди. Оии затем только и топчут землю, чтобы всем быть в тягость!

Лезабль глотал свои лекарства и иичего ие отвечал. Одиажды тесть не выдержал:

— Слушайте, вы! Если вы ие измеиите своего поведеиия и теперь, когда здоровье ваше поправилось, я зиаю, что сделает моя дочь!

Зять вопросительно подиял иа иего глаза, предчувствуя новое тяжкое оскорбление. Кашлен продолжал:

— Оиа возьмет себе вместо вас другого, черт побери! И вам еще здорово повезло, что оиа давио этого ие сделала! Когда имеешь мужем этакого чурбаиа вроде вас, тогда все дозволеио.

Бледиый, как полотио, Лезабль ответил:

— Я ие мешаю ей следовать вашим мудрым иаставлеииям.

Кора потупила глаза, а Кашлен, смутио чувствуя, что хватил через край, слегка скоифузился.

VI

На службе тесть и зять сохраияли видимость полиого согласия. Между иими устаиовилось иечто вроде молчаливого уговора, в силу которого оии скрывали от сослуживцев свои домашние раздоры. Оии обращались друг к другу ие ииаче, как «дорогой Кашлеи», «дорогой Лезабль», и подчас даже делали вид, что дружио иад чем-то посмеиваются, притворяясь, что довольиы, счастливы и вполие удовлетвореиы своей семейной жизиью.

Лезабль и Маз, со своей стороиы, держались в отиошеиии друг друга с изыскаииой учтивостью противииков, едва избежавших дуэли. Несостоявшийся поедииок иагиал иа иих страху, и они старались быть преувеличеино вежливыми, подчеркнуто предупредительиыми друг к другу, а втайне не прочь были сойтись поближе, во нзбежание новых столкновенні, которых оии смутио опасались.

Сослуживцы одобрительно взирали иа иих, полагая, что такое поведеиие приличествует людям светским, между которыми произошло недоразумение, едва не приведшее к дуэли.

Еще нздалека оии строго и чииио приветствовали друг друга исполиеиным достоииства шнрокнм взмахом шляпы.

Однако они ие обмеиялись пока ии едииым словом, ибо ни тот, ни другой не желал либо не осмеливался сделать первый шаг.

Как-то раз Лезабля срочио вызвали к иачальнику; стараясь показать свое усердие, он пустился бегом и на повороте коридора со всего размаха угодил в живот какому-то чииовинку, шедшему иавстречу. Это был Маз. Оба отступили, н смущеииый Лезабль с вежливой поспешиостью спросил:

— Надеюсь, я не ушиб вас, сударь?

На что Маз возразил:

— Нисколько, сударь.

С той поры они сочли возможным при встрече обмениваться несколькими словами. Затем, все более соревнуясь в учтивости, они стали оказывать друг другу знаки внимания, и между ними возникла известная короткость, перешедшая потом в близость, умеряемую некоторой сдержанностью,—близость людей, когда-то не понявших друг друга, которым осторожность все еще мешает поддаться взаимной симпатии. Наконец постоянная предупредительность и частое хождение друг к другу из отдела в отдел положили начало дружественным отношениям.

Теперь, заглянув за новостями в кабинет регистратора, они частенько болтали между собой. Лезабль утратил былое высокомерие преуспевающего чиновника, а Маз забывал о своей осанке светского человека. Кашлен, принимая участие в их беседе, казалось, с одобрением наблюдал за этой дружбой. Иной раз, глядя вслед рослому красавцу Мазу, чуть не задевавшему головой за притолоку, он бормотал, косясь на зятя:

— Вот это молодец так молодец!

Как-то утром, когда они оказались в комнате вчетвером — потому что папаша Савон никогда не отрывался от работы,—стул, на котором восседал экспедитор, очевидно подпиленный каким-то шутником, подломился под ним, и старик с испуганным возгласом скатился на пол.

Все трое бросились к нему на помощь. Кашлен утверждал, что это проделка коммунаров, а Маз во что бы то ни стало хотел взглянуть на ушибленное место. Они вдвоем даже пытались раздеть старика, будто бы желая перевязать рану. Но папаша Савон отчаянно отбивался, уверяя, что у него ничего не болит.

Когда веселое оживление улеглось, Кашлен неожиданно воскликнул, обращаясь к Мазу:

— Послушайте-ка, господин Маз, теперь, когда мы стали друзьями, вы должны прийти к нам в воскресенье отобедать! Мы все будем вам очень рады — зять, и я, и моя дочь, которая хорошо вас знает понаслышке, ведь мы частенько дома беседуем о службе. Согласны, да?

Лезабль, хотя и более сдержанно, присоединился к настояниям тестя:

— Конечно, приходите. Будем весьма рады.

Маз в замешательстве колебался, с усмешкой вспоминая слухи, ходившие об этой семье.

Кашлен продолжал настаивать:

— Итак, решено?

— Ну что ж, хорошо, согласен.

Отец, вернувшись домой, сообщил дочери:

— Знаешь, кто у нас обедает в воскресенье? Господин Маз!

Кора, крайне удивленная, переспросила:

— Господин Маз? Вот как?

И вдруг покраснела до корней волос, сама не зная почему. Она столько слышала о нем, о его светских манерах, его успехах у женщин,— в министерстве он слыл неотразимым сердцеедом,— что ее давно уже искушало желание с ним познакомиться.

— Вот увидишь,— продолжал Кашлен, потирая руки,— какой это молодец и красавец мужчина, рослый, как гвардеец, не то что твой муженек, да!

Она ничего не ответила, смутившись, точно кто-то мог угадать, что она не раз мечтала о Мазе.

К воскресному обеду готовились так же старательно, как некогда в ожидании Лезабля. Кашлен подробно обсуждал меню, заботясь о том, чтоб не ударить в грязь лицом; и, словно смутная надежда затеплилась в его душе, он даже повеселел, успокоенный какой-то сокровенной мыслью, вселявшей в него уверенность.

Весь воскресный день он суетился, следя за приготовлениями, в то время как Лезабль сидел над спешной работой, принесенной им накануне из министерства. Дело происходило в начале ноября. Новый год был не за горами.

В семь часов, веселый и оживленный, явился Маз. Он вошел просто, естественно, как к себе домой, и, сказав какую-то любезность, преподнес Коре большой букет роз. Он добавил, с непринужденностью человека, привыкшего вращаться в обществе:

— Мне кажется, сударыня, что я уже немного с вами знаком, что я знал вас еще маленькой девочкой: ведь столько лет я слышу о вас от вашего отца.

Увидев цветы, Кашлен воскликнул:

— Вот это галантно!

А Кора припомнила, что Лезабль в тот день, когда впервые пришел к ним, цветов не принес. Гость, видимо, чувствовал себя превосходно, он простодушно шутил, как человек, неожиданно оказавшийся в кругу старых друзей, и сыпал любезностями, от которых у Коры горели щеки.

Он нашел ее весьма и весьма соблазнительной. Она его — неотразимым. После его ухода Кашлен спросил:

— Ну что? Хорош? А какой, должно быть, повеса! Недаром от него все женщины без ума!

Кора, более сдержанная, нежели отец, все же призналась, что Маз «очень любезен и не такой ломака, как она ожидала».

Лезабль, казавшийся менее утомленным и не столь унылым, как обычно, тоже согласился, что раньше имел превратное представление о сослуживце.

Маз стал бывать у них, сначала изредка, затем все чаще. Он нравился решительно всем. Его зазывали, за ним ухаживали. Кора стряпала для него любимые блюда. Вскоре трое мужчин так подружились, что почти не расставались.

Новый друг дома нередко доставал ложу через редакции газет и возил все семейство в театр.

После спектакля возвращались ночью, пешком, по многолюдным улицам и расставались у дверей супругов Лезабль. Маз и Кора шли впереди, нога в ногу, плечом к плечу, мерно покачиваясь в едином ритме, словно два существа, созданные, чтобы бок о бок пройти через всю жизнь. Они разговаривали вполголоса, превосходно понимая друг друга, смеялись приглушенным смехом, и время от времени Кора, оборачиваясь, бросала взгляд на отца и мужа, которые шли позади.

Кашлен не сводил с них благосклонного взора и, подчас забывая, что обращается к зятю, замечал:

— Как, однако, они оба хорошо сложены. Приятно на них поглядеть, когда они рядом.

Лезабль спокойно отвечал:

— Они почти одного роста.

И, счастливый тем, что сердце его бьется не столь учащенно, что он меньше задыхается при быстрой ходьбе и вообще чувствует себя молодцом, он забывал понемногу свою обиду на тестя, кстати, в последнее время прекратившего свои ядовитые шуточки.

К Новому году Лезабль получил повышение и ощутил по этому поводу радость столь бурную, что, придя домой, впервые за полгода поцеловал жену. Казалось, она была этим сильно смущена и озадачена, словно он позволил себе какую-то непристойность, и взглянула на Маза, явившегося с новогодними поздравлениями. Он тоже пришел в замешательство и отвернулся к окну, как человек, не желающий ничего замечать.

Но вскоре злобная раздражительность снова овладела Кашленом, и он, как прежде, стал терзать зятя своими издевками. Временами он даже нападал на Маза, словно считая его также виновным в нависшей над его семьей катастрофе, которая надвигалась с каждой минутой.

Одна только Кора казалась вполне спокойной, вполне счастливой, довольной, как будто она забыла о столь близком и угрожающем сроке.

Наступил март. По-видимому, всякая надежда была потеряна, ибо двадцатого июля истекало три года со дня смерти тетушки Шарлотты.

Ранняя весна одела землю цветами, и в одно из воскресений Маз предложил своим друзьям прогуляться по берегу Сены и нарвать под кустами фиалок.

Они отправились с утренним поездом и сошли в Мезон-Лафите. Оголенные деревья еще содрогались от зимнего холода, но в сверкающей зелени свежей травы уже пестрели белые и голубые цветы; тонкие ветви фруктовых деревьев на склонах холмов, покрытые распустившимися почками, казалось, были увешаны гирляндами роз.

Сена, унылая и мутная от недавних дождей, тяжело катила свои воды между высокими берегами, размытыми весенним паводком; а луга, нагретые теплом первых солнечных дней, напоенные влагой и словно умытые, источали едва уловимый запах сырости.

Гуляющие разбрелись по парку. Кашлен, сумрачный и еще более подавленный, нежели обычно, разбивал тростью комья земли, с горечью размышляя о грозящей им непоправимой беде. Лезабль, такой же мрачный, как и тесть, шел с опаской, боясь промочить ноги в росе; его жена и Маз рвали цветы. Кора была бледна и казалась утомленной; ей уже несколько дней нездоровилось.

Она очень скоро устала и предложила где-нибудь позавтракать. Они добрались до небольшого ресторанчика под сенью старой, полуразрушенной мельницы, неподалеку от реки; в беседке, на грубом деревянном столе, покрытом двумя полотенцами, им подали завтрак, какой обычно подают парижанам, отправляющимся за город на прогулку.

Они поели хрустящих жареных пескарей, отведали говядины с картофелем, и салатница, наполненная зелеными листьями, уже переходила из рук в руки; вдруг Кора вскочила и, зажимая салфеткой рот, побежала к берегу.

Встревоженный Лезабль спросил:

— Что это с ней?

Маз покраснел и растерянно пробормотал:

— Не знаю... не знаю... она... ей... она была совсем здорова.

Озадаченный Кашлен так и остался сидеть с поднятой вилкой, на которой повис листик салата.

Вдруг он поднялся, стараясь отыскать глазами дочь, и увидел, что она стоит, прислонившись головой к дереву, и ей дурно. У Кашлена подкосились ноги от внезапного подозрения, и он повалился на стул, кидая растерянные взгляды на обоих мужчин, которые казались одинаково смущенными. Кашлен вопрошал их тревожным взглядом, не решаясь заговорить, обезумев от мучительной надежды.

Четверть часа протекло в глубоком молчании. Потом, едва волоча ноги, явилась побледневшая Кора. Никто не задавал ей вопросов: казалось, каждый угадывал счастливое событие, о котором неловко было говорить, и, сгорая от нетерпения все разузнать, страшился о нем услышать. Только Кашлен спросил:

— Тебе лучше?

Кора ответила:

— Да, спасибо, это пустяки. Но давайте вернемся пораньше, у меня разболелась голова.

На обратном пути она опиралась на руку мужа, словно намекая этим на какую-то тайну, которую она пока не осмеливалась открыть.

Расстались на вокзале Сен-Лазар. Маз, сославшись на неотложное дело, о котором он чуть не позабыл, пожал всем на прощание руку и откланялся.

Как только они остались одни, Кашлен спросил у дочери:

— Что это с тобой случилось за завтраком?

Сначала Кора ничего не ответила. Затем, после некоторого колебания, сказала:

— Так, ничего, пустяки. Просто небольшая тошнота.

Походка у нее была томная, на губах играла улыбка. Лезаблю было не по себе. Охваченный смятением, одержимый смутными и противоречивыми чувствами, снедаемый жаждой роскоши и глухой яростью, затаенным стыдом и трусливой ревностью, он походил на человека, который, проснувшись поутру, зажмуривает глаза, чтоб не видеть солнечного света, пробивающегося сквозь занавески и ослепительной полосой как бы рассекающего его постель.

По приходе домой Лезабль заявил, что его ждет неоконченная работа, и закрылся у себя в комнате.

Тогда Кашлен, положив дочери руку на плечо, спросил:

— Ты что, беременна?

Она прошептала:

— Кажется, да. Уже два месяца.

Не успела она договорить, как отец подскочил от радости и принялся отплясывать уличный канкан — воспоминание о далеких армейских днях. Он дрыгал ногами и притопывал, несмотря на толстый живот, так, что стены дрожали. Столы и стулья плясали, посуда звенела в буфете, люстра вздрагнвала и качалась, как корабельный фонарь.

Кашлен схватил в объятия свою нежно любимую дочь и стал целовать ее как одержимый; потом, ласково похлопав ее по животу, воскликнул:

— Ну, наконец-то! Ты сказала мужу?

Внезапно оробев, она пролепетала:

— Нет... еще... я... я хотела подождать.

Но Кашлен воскликнул:

— Понятно, понятно! Ты стесняешься. Постой! Я скажу ему сам.

И он бросился в комнату зятя. Увидев Кашлена, Лезабль, который сидел сложа руки, вскочил. Но тесть не дал ему опомнниться:

— Вы знаете, что ваша жена беременна?

Озадаченный супруг растерялся, на скулах у него выступили красные пятна:

— Что? Как? Кора? Что вы говорите?

— Говорю вам, что она беременна, слышнте? Вот удача-то!

И в порыве радости он тряс и пожнмал руку зятю, словно благодаря и поздравляя его.

— Наконец-то, наконец! Дело в шляпе! Вот хорошо-то! Подумать только — наследство наше!

И, не в силах удержаться, он заключил Лезабля в объятия.

— Миллион с лишним, подумать только! Миллион с лишним!— восклицал он и снова плясал от радости. Потом, круто повернувшись к зятю, сказал:— Да идите же к ней, она вас ждет. Хоть поцелуйте ее.

И, схватив Лезабля в охапку, тесть подтолкнул его и швырнул, как мячик, в столовую, где, прислушиваясь к их голосам, тревожно ждала Кора.

Увидев мужа, она отшатнулась: внезапное волнение перехватило ей горло. Лезабль стоял перед ней бледный, с искаженным лицом. У него был внд судьи, у нее — преступницы.

Наконец он произнес:

— Ты, кажется, беременна?

Дрожащнм голосом она пролепетала:

— Да, похоже на то!

Но тут Кашлен, обхватнв обоих за шею, столкнул их лбами и закричал:

— Да поцелуйтесь же вы, черт вас побери! Право же, стоит того!

И наконец выпустив их, он объявил, захлебываясь от безудержной радости:

— Ну, наше дело выгорело! Знаете что, Леопольд! Мы сейчас же купим виллу. По крайней мере вы там поправите здоровье.

При мысли о даче Лезабль вздрогнул. Тесть не унимался:

— Мы пригласим туда господина Торшбефа с женой; его помощник недолго протянет, и вы сможете занять освободившееся место. А это уже карьера!

По мере того как тесть говорил, Лезабль рисовал себе пленительные картнны: он видел себя встречающим патрона у входа в прелестную белую виллу на берегу реки. На нем парусннoвый костюм, на голове панама.

Мечтая об этом, он ощущал, как отрадное ласковое тепло проникает в него, наполняя бодростью, здоровьем.

Он улыбнулся, но еще ннчего не ответил тестю.

Опьяненный мечтами, полный надежд, Кашлен продолжал:

— Как знать? Быть может, мы приобретем влияние в нашем округе. Вы, например, будете депутатом... Во всяком случае, мы сможем вращаться в местном обществе и пользоваться радостями жизни. У вас будет своя лошадка и шарабан, чтоб каждый день ездить на станцию.

Картины роскошной, изящной и беспечной жизни возникали в воображении Лезабля. Мысль, что он тоже будет править нарядным выездом, как те богачи, судьбе которых он столь часто завидовал, окончательно пленила его. Он не удержался и восклнкнул:

— Да, да, это будет чудесно!

Жена, видя, что он побежден, тоже заулыбалась, растроганная и признательная, а Кашлен, решив, что все препятствия устранены, объявил:

— Идемте обедать в ресторан! Черт возьми, надо же и нам немножко кутнуть!

Вернулись все трое слегка навеселе. Лезабль, у которого двоилось в глазах, а мысли так и прыгали, не смог добраться до своей темной каморки. Не то случайно, не то по забывчивости он улегся в постель жены, еще пустую. Всю ночь ему чудилось, что кровать его качается, как лодка, кренится набок и опрокидывается. У него даже был легкий приступ морской болезни.

Проснувшись утром, он был крайне удивлен, обнаружнв Кору в своих объятиях.

Она открыла глаза, улыбнулась и поцеловала мужа, охваченная внезапным порывом признательности и нежности. Потом она произнесла воркующим голоском женщины, которой хочется приласкаться:

— Я очень прошу тебя, не ходи сегодня в министерство. Теперь тебе незачем так усердствовать, мы ведь будем богаты. Давай поедем за город, вдвоем, только вдвоем!

Нежась в теплой постели, он чувствовал себя отдохнувшим, полным той блаженной истомы, какая наступает наутро после приятно, но несколько бурно проведенного вечера. Ему мучительно хотелось поваляться подольше, побездельничать, наслаждаясь покоем и негой. Неведомая ему ранее, но могучая потребность в лени парализовала его душу, сковала тело. И смутная, ликующая радость переполнила все его существо:

— Итак, я буду богат, независим!

Но внезапно его кольнуло сомнение, и шепотом, словно опасаясь, что стены могут услышать, он спросил у Коры:

— А ты убеждена, что беременна?

Оиа поспешила его успокоить:

— Ну да, еще бы! Я ие ошиблась.

Но ои, все еще тревожась, стал легонько ее ощупывать, осторожио проводя рукой по ее округлившемуся животу.

— Да, правда. Но ты родишь после срока. А вдруг иа этом осиоваиии стаиут оспаривать иаше право иа иаследство?— спросил ои.

При одиой этой мысли оиа пришла в ярость.

Ну иет. Как бы ие так! Теперь уж оиа ие потерпит иикаких придирок! После стольких огорчеиий, трудов и усилий! Ну уж иет!..

Кипя иегодоваиием, оиа приподиялась в кровати:

— Сейчас же идем к иотариусу!

Но муж считал, что предварительио иадо получить свидетельство от врача. И оии сиова иаправились к доктору Лефиейелю.

Ои сразу же узиал их и спросил:

— Ну как, удалось?

Оба покрасиели до ушей, и Кора, растерявшись, пролепетала:

— Кажется, да, сударь.

Врач потирал руки:

— Так я и думал. Так и думал. Я указал вам вериое средство, оио всегда помогает, если только иет иалицо полиой иеспособиости одиого из супругов.

Исследовав Кору, врач объявил:

— Так и есть! Браво!

И ои иаписал иа листке бумаги: «Я, иижеподписавшийся, доктор медициИы Парижского уииверситета, удостоверяю, что у госпожи Лезабль, урождеиной Кашлеи, имеются иалицо все призиаки трехмесячиой беремеииости».

Потом, обратясь к мужу, ои спросил:

— А вы? Как легкие? Сердце?

Ои выслушал Лезабля и иашел его вполие здоровым.

Радостиые и счастливые, окрылеииые иадеждой, оии рука об руку пустились в обратиый путь. Но по дороге Леопольда осеиила мысль:

— Может быть, лучше, прежде чем идти к иотариусу, обмотать тебе живот полотеицами: это сразу бросится в глаза. Право, так будет лучше; а то ои еще может подумать, что мы попросту хотим выиграть время.

Оии вериулись домой, и Лезабль сам раздел жеиу, чтобы приладить ей фальшивый живот. Пытаясь добиться полиейшего правдоподобия, ои раз десять перекладывал полотеица и сиова отступал иа иесколько шагов, чтобы проверить, достигиут ли иужиый эффект.

Когда ои иакоиец остался доволеи получеииым результатом, оии сиова отправились в путь, и Лезабль шагал рядом с жеиой, словио гордясь ее вздутым животом — свидетельством его мужской силы.

Нотариус встретил супругов благосклоиио. Выслушав их объясиеиия, ои пробежал глазами удостовереиие врача, и так как Лезабль иастойчиво повторял: «Да ведь достаточио иа иее посмотреть!» — иотариус окииул взглядом округлившийся живот молодой жеищииы и, видимо, убедился в истиииости этих слов.

Супруги ждали в тревоге. Накоиец блюститель закоиа объявил:

— Вы правы. Родился ли ребеиок, или ои еще только должеи родиться, ои живет и, следовательио, существует. Одиако исполиеиие завещаиия откладывается до того дия, когда ваша супруга разрешится от бремеии.

Оии вышли из коиторы и в порыве безудержиой радости поцеловались иа лестиице.

VII

С этого счастливого дия трое родичей зажили в полиом согласии. Настроеиие у иих было веселое, ровиое, благодушиое. К Кашлеиу вериулась его былая жизиерадостиость, а Кора окружала мужа иежиейшими заботами. Лезабль тоже стал совсем другим — иикогда еще ои ие был таким приветливым и добродушиым.

Маз иавещал их реже, чем раиьше, и, казалось, ему было теперь ие по себе в кругу этой семьи. Прииимали его по-прежиему хорошо, ио все же с иекоторым холодком: ведь счастье эгоистичио и обходится без посторошиих.

Даже Кашлеи как будто стал питать какую-то скрытую враждебиость к своему сослуживцу, которого ои сам иесколько месяцев тому иазад с такой готовиостью ввел к себе в дом. Ои же и сообщил их общему другу о беремеииости Коры. Ои выпалил без обииякoв:

— Зиаете, моя дочь беремеииа!

Маз, изобразив удивлеиие, воскликиул:

— Вот как? Вы, иаверио, очеиь рады?

Кашлеи ответил:

— Еще бы, черт возьми! — и отметил про себя, что его сослуживец, видимо, далеко ие в восторге. Мужчииы бывают ие слишком в восторге, когда, по их или ие по их вииe, жеищиииа, за которой оии ухаживают, оказывается в таком положеиии.

И все же Маз продолжал по воскресеиьям обедать у иих. Одиако его общество стаиовилось им все более в тягость. Хотя иикаких серьезиых иедоразумеиий между иим и его друзьями ие возиикало, чувство страииой иеловкости усиливалось с каждым диeм. Как-то вечером, только успел Маз выйти, Кашлеи сердито заявил:

— До чего ои мие иадоел!

А Лезабль поддакиул:

— Это верио: ои ие слишком выигрывает при близком зиакомстве.

Кора потупила глаза и промолчала. Оиа как будто чувствовала иеловкость в присутствии Маза, да и ои тоже казался смущеииым рядом с иeй; ои больше ие поглядывал на иее с улыбкой, как прежде, ие предлагал провести вечер в театре; когда-то столь сердечиая дружба явио стала для иего тяжкой обузой.

Но одиажды, в четверг, когда муж вериулся домой к обеду, Кора поцеловала его бачки ласковей, чем обычио, и прошептала иа ухо:

— Ты ие будешь меия браиить?

— За что?

— За то, что сегодия приходил господии Маз,

а я... я не хочу, чтоб сплетничали на мой счет, и я попросила его никогда не являться в твое отсутствие. Он, кажется, был немного задет.

Удивленный Лезабль спросил:

— Ну и что же? Что он сказал?

— О, ничего особенного, но только мне все же это не понравилось, и я сказала, чтоб он вообще перестал бывать у нас. Помнишь: ведь это ты с папой привел его к нам, я тут ни при чем. Вот я и боялась, что ты будешь недоволен тем, что я отказала ему от дома.

Сердце Лезабля наполнилось радостной признательностью:

— Ты хорошо сделала, очень хорошо. Благодарю тебя.

Кора, которая обдумала все заранее, пожелала строго установить взаимоотношения обоих мужчин.

— В министерстве не подавай вида, что ты что-нибудь знаешь: разговаривай с ним, как прежде, но только к нам он больше приходить не будет.

И Лезабль, нежно обняв жену и крепко прижимая к себе ее вздутый живот, долго целовал ее в глаза и щеки, повторяя:

— Ты ангел!

VIII

Все шло по-старому до конца беременности.

В последних числах сентября Кора родила девочку. Назвали ее Дезире;[1] но, желая устроить крестины поторжественней, решили отложить их до лета, когда будет куплена усадьба.

Они приобрели виллу в Аньере, на высоком берегу Сены.

За зиму произошли крупные события. Получив наследство, Кашлен немедленно подал прошение об отставке, которое тут же было удовлетворено, и покинул министерство. Теперь он посвящал свои досуги выпиливанию различных вещичек из крышек от сигарных коробок. При помощи лобзика он изготовлял футляры для часов, шкатулочки, жардиньерки, всякие причудливые безделушки. Кашлен пристрастился к этой работе с тех пор, как увидел уличного торговца, выпиливавшего такие штучки на улице Оперы. И он требовал, чтобы все каждодневно восхищались затейливостью узоров, которые подсказывала ему неискушенная фантазия.

Сам он, восторгаясь своими произведениями, неустанно твердил:

— Удивительно, чего только не сумеет сделать человек!

Когда помощник начальника, г-н Рабо, наконец умер, Лезабль занял его должность, хотя и не получил соответствующего чина, поскольку со времени его последнего производства не прошло еще положенного срока.

Кора сразу стала другой женщиной — гораздо сдержаннее, изящнее; она поняла, угадала, уловила чутьем, к каким превращениям обязывает человека богатство.

[1] Желанная *(фр.)*.

По случаю Нового года она нанесла визит супруге начальника — толстой даме, оставшейся провинциалкой после тридцатипятилетнего пребывания в Париже,— и так мило и с такой обворожительной любезностью просила ее быть крестной матерью ребенка, что г-жа Торшбеф дала согласие. Крестным отцом был дедушка Кашлен.

Обряд состоялся в июне, в один из ослепительных воскресных дней. Присутствовали все сослуживцы, кроме красавца Маза, который больше не показывался.

В девять часов Лезабль уже поджидал на станции парижский поезд: грум в ливрее с большими позолоченными пуговицами держал под уздцы холеного пони, запряженного в новенький шарабан.

Вдали послышался свисток, потом показался паровоз, за которым цепочкой тянулись вагоны. Поток пассажиров хлынул на перрон.

Из вагона первого класса вышел г-н Торшбеф и с ним супруга в ослепительном наряде; из вагона второго — Питоле и Буассель. Папашу Савона пригласить не осмелились, но было решено, что после полудня встретят его, как бы невзначай, и, с согласия патрона, приведут обедать.

Лезабль устремился навстречу начальству. Г-н Торшбеф казался совсем крохотным в сюртуке, украшенном огромной орденской розеткой, похожей на распустившуюся красную розу. Громадный череп, на котором сидела широкополая шляпа, давил на тщедушное тело, отчего обладатель его казался каким-то феноменом. Жена г-на Торшбефа, лишь чуточку приподнявшись на цыпочки, свободно могла бы смотреть на мир поверх его головы.

Сияющий Леопольд раскланивался и благодарил. Усадив начальство с супругой в шарабан, он подбежал к двум своим сослуживцам, скромно шествовавшим позади, и, пожимая им руки, принес извинения за то, что не может пригласить их в свой недостаточно вместительный экипаж.

— Идите вдоль набережной, вы как раз окажетесь у ворот моей дачи. «Вилла Дезире», четвертая за поворотом. Торопитесь!

Сев в шарабан, он подхватил вожжи и тронулся в путь, а грум проворно вскочил на задок экипажа.

Обряд совершился по всем правилам. К завтраку вернулись на виллу. Каждый из приглашенных обнаружил у себя под салфеткой подарок, ценность которого соответствовала общественному положению гостя. Крестную мать ждал массивный золотой браслет, ее мужа — рубиновая булавка для галстука, Буассель нашел у себя бумажник из русской кожи, Питоле — превосходную пенковую трубку.

Это Дезире, по словам ее родителей, преподнесла подарки своим новым друзьям.

Госпожа Торшбеф, красная от смущения и радости, нацепила на свою толстую руку сверкающий обруч; черный галстук г-на Торшбефа оказался слишком узким, и булавка не умещалась на нем; поэтому владелец ее приколол драгоценную безделушку к лацкану сюртука, пониже розетки

Почетного легиона, словно второй, менее значительный орден.

В окно виднелась широкая лента реки, уходившая к Сюрену между высоких, поросших деревьями берегов. Солнце дождем изливалось на воду, превращая ее в огненный поток. Вначале трапеза протекала чинно: присутствие г-на и г-жи Торшбеф придавало ей солидность. Потом все развеселились. Кашлен отпускал тяжеловесные шуточки, полагая, что раз он богат, он может себе это позволить, и все хохотали.

Конечно, если б это разрешили себе Питоле или Буассель, всеобщему возмущению не было бы границ.

Уже ели сладкое, когда принесли ребенка; гости наперебой бросились целовать девочку. Наряженная в снежно-белые кружева, она глядела на этих людей своими мутно-голубыми бессмысленными глазками, слегка повертывая круглую головку, в которой, казалось, пробуждались первые проблески сознания.

Под шум голосов Питоле прошептал на ухо своему соседу Буасселю:

— Я бы назвал ее не Дезире, а Мазеттой.

Острота назавтра же облетела все министерство.

Между тем пробило два часа. Распили ликеры, и Кашлен предложил осмотреть владения, а потом — прогуляться по берегу Сены.

Гости переходили гуськом из одного помещения в другое, начав с погреба и кончив чердаком; затем осмотрели сад — каждое деревце, каждый кустик — и, разбившись на две группы, отправились на прогулку.

Кашлен, которого общество дам несколько стесняло, потащил Буасселя и Питоле в прибрежный кабачок, а г-жи Торшбеф и Лезабль в сопровождении супругов переправились на другой берег, ибо неприлично порядочным женщинам смешиваться с разнузданной воскресной толпой.

Они медленно шли по дороге, по которой тянут бечевой баржи, а мужья следовали за ними, степенно беседуя о служебных делах.

По реке сновали ялики, здоровые молодцы с обнаженными руками, на которых под смуглой кожей перекатывались мускулы, гнали лодки широкими взмахами весел. Их подруги, растянувшись на черных или белых шкурах, осоловев от жары, правили рулем, раскрыв над головой шелковые зонтики, красные, желтые и голубые, похожие на огромные, плывущие по воде цветы. Возгласы, окрики, брань перелетали с одной лодки на другую; и далекий гул человеческих голосов, непрерывный и смутный, доносился оттуда, где кишела праздничная толпа.

Вдоль берега неподвижной вереницей замерли рыболовы с удочками в руках; с тяжелых рыбачьих баркасов прыгали головой вперед почти голые пловцы, снова карабкались в лодку и снова ныряли.

Госпожа Торшбеф с удивлением глядела на это зрелище. Кора сказала:

— И так каждое воскресенье. Как это портит наш прелестный уголок!

Мимо них медленно плыла лодка. На веслах сидели две девицы, а на дне развалились двое молодцов. Одна из девиц закричала, повернувшись лицом к берегу:

— Эй вы, порядочные! Продается мужчина, да недорого, берете?

Кора с презрением отвернулась и, взяв под руку свою гостью, сказала:

— Здесь просто невозможно оставаться. Идемте отсюда. Какие бесстыдные твари!

И они повернули обратно.

Господин Торшбеф говорил Лезаблю:

— Ждите к первому января. Директор твердо обещал мне.

Лезабль ответил:

— Не знаю, как и благодарить вас, дорогой патрон!

У ворот виллы они увидели Кашлена, Питоле и Буасселя; хохоча до слез, они тащили папашу Савона, которого, по их словам, они нашли на берегу в обществе девицы легкого поведения.

Напуганный старик повторял:

— Это неправда, неправда! Нехорошо говорить так, господин Кашлен, нехорошо!

А Кашлен, захлебываясь от смеха, кричал:

— Ах ты, старый шалун! Разве ты не называл ее «мой миленький гусеночек»? А, попался, проказник!

У старика вид был до того растерянный, что даже дамы засмеялись.

Кашлен продолжал:

— С разрешения господина Торшбефа мы в наказание оставим его под арестом, и он пообедает с нами.

Начальник дал благосклонное согласие, и все снова стали потешаться над красоткой, якобы покинутой стариком, а тот, в отчаянии от коварной шутки, которую с ним сыграли, тщетно продолжал отрицать свою вину.

До самого вечера похождения старого Савона служили предметом неисчерпаемого остроумия и даже непристойных намеков.

Кора и г-жа Торшбеф, сидя на террасе под навесом, любовались отблесками заката. Солнце рассеивало среди листвы пурпурную пыль. Не было ни малейшего дуновения; ясный, беспредельный покой нисходил с пламенеющего безмятежного неба.

Возвращаясь к пристани, медленно проплывали последние запоздалые лодки.

Кора спросила:

— Говорят, бедняга Савон был женат на какой-то дряни?

Госпожа Торшбеф, знавшая все, что касалось министерства, ответила:

— Да, он женился на молоденькой сироте. Она изменила ему с каким-то негодяем, а потом с этим же любовником сбежала.

Подумав, толстуха добавила:

— Я сказала «с негодяем». Не знаю, так ли это. Кажется, они очень любили друг друга. Что ни говори — в папаше Савоне привлекательного мало.

Госпожа Лезабль возразила с важностью:

— Это не оправдание. Беднягу Савона можно пожалеть. У нашего соседа — господина Барбу —

такое же несчастье: жена влюбнлась в какого-то художннка, который проводнл здесь каждое лето, н сбежала с ннм за границу. Не понимаю, как женщнна может пасть так ннзко! Я считаю, что нужно прндумать особое наказание для иегоднnц, которые покрывают позором семью.

В конце аллен показалась кормнлнца с ребенком на руках. Дезнре утопала в кружевах, вся розовая в золотнсто-пунцовых лучах заката. Она смотрела в огненное небо теми же бесцветно-мутнымн, удивленнымн глазкамн, какнмн обводнла лнца окружающих.

Мужчнны, беседовавшне поодаль, сразу подошлн, н Кашлен, подхватнв внучку, высоко поднял ее на вытянутых руках, словно желая вознести к небесам. Девочка вырисовывалась на блнстающем фоне заката в длннном белом платье, ннспадающем до землн.

Счастлнвый дедушка воскликнул:

— Что может быть лучше этого на свете! Не правда лн, папаша Савон?

Но старик ннчего не ответнл — потому лн, что ему нечего было сказать, или потому, что он мог сказать слишком много.

Дверн иа террасу распахнулнсь, и слуга объявнл:

— Сударыня, кушать подано!

ВЕРЕВОЧКА

Гарри Алису

По всем дорогам шлн крестьяне с женамн, направляясь в местечко Годервнль: был базарный день. Мужчнны шли иетороплнвым шагом, наклоняясь вперед всем телом прн каждом двнжеиин длнnных крнвых ног, нзуродованиых грубой работой — тяжестью плуга, заставляющей одновременно поднимать левое плечо н нзгнбать туловнще, жатвой хлеба, при которой иужио раздвигать колени, чтобы найтн крепкий упор,— всем медлнтельиым н тяжелым деревеискнм трудом. Их сниие блузы, накрахмаленные, блестящне, как будто лакнрованные, украшеиные у ворота и у кнстн незатейлнвой белой вышнвкой, раздувались вокруг костлявого туловища н были похожн на шары, готовые улететь, нз которых торчалн голова, две руки н две ногн.

Крестьяне тащнлн на веревке корову нлн телеика. А жены, ндя позади, подгонялн животных свежесрезанной веткой. В другой руке они иесли большне корзнны, откуда выглядывалн головы цыплят илн уток. Шагалн они более мелко н тороплнво, чем мужчнны, укутав тощнй н прямой стан плохонькой узкой шалью, заколотой булавкой на плоской грудн, н туго повязав голову белым платком, поверх которого был надет еще и чепец.

Ииой раз проезжал шарабан, влекомый лошаденкой, бежавшей неровной рысью, отчего забавно подпрыгнвалн двое мужчин, сндевшнх рядом, и женщина в глубине повозки, державшаяся за ее край, чтобы ослабнть резкне толчки иа ухабах.

На площадн Годервиля была давка, толчея сбнвшнхся в кучу людей н животных. Рога быков, высокне войлочные шляпы богатых крестьян и чепцы крестьянок возвышалнсь над толпой. Крикливые, пронзнтельные, внзглнвые голоса слнвались в сплошной днкнй гам, нз которого временами выделялся громкий хохот, вырывавшийся нз могучей груди подвыпнвшего поселяннна, нлн протяжное мычание коровы, прнвязанной к забору.

Все это пахло стойлом, молоком н навозом, сеном н потом, нздавало кнслый, отвратнтельный запах скотнны и человека, свойственный деревенскнм жнтелям.

Дядюшка Ошкорн из Бреоте только что пришел в Годервнль н направнлся к площадн, как вдруг заметил на земле маленькую веревочку. Дядюшка Ошкорн, бережлнвый, как все нормандцы, подумал: стоит подобрать то, что может прнгодиться. И он нагнулся с трудом, так как страдал ревматизмом. Он поднял с землн обрывок тонкой веревкн н уже собрался аккуратно свернуть ее, когда увндел шорника Маландена,— тот стоял на пороге своего дома н смотрел на него. Когда-то они повздорилн из-за недоуздка и с тех пор оставалнсь не в ладах, так как оба былн злопамятны. Ошкориу стало иемного стыдио, что враг увндел его за такнм делом,— копающегося в грязн нз-за обрывка веревки. Он поскорей суиул свою находку под блузу, потом в карман штанов; потом сделал внд, будто ищет на земле что-то, н пошел к рынку, вытянув шею н скрючнвшись от боли.

Он тотчас же затерялся в крнклнвой н медлительной толпе, разгоряченной иескончаемым торгом. Крестьяне щупалн коров, уходнлн, возвращалнсь неувереиные, опасаясь попасть впросак, не нмея духа решнться, зорко следя за продавцом, упорно стараясь разглядеть хнтрость в человеке и изъяни в животиом.

Женщнны поставилн возле себя большне корзнны и выиулн нз иих птнц, которые лежалн теперь на земле, распростертые, со связанными лапками, с ярко-красными гребешкамн, н испуганно гляделн на людей.

Крестьянкн выслушивалн предложеиня с холодиымн, бесстрастнымн лнцами н не спускалн цену; нлн вдруг, решнв уступнть, крнчалн вслед медленно удалявшемуся покупателю:

— Ладно, дядюшка Антнм! Бернте.

Площадь понемногу опустела, н в двенадцать часов, когда отзвонил колокол, призывающий вознести молитву богородице, все, кому было далеко до дому, разошлись по трактнрам.

У Журдена большая зала была полна обедающнх, а широкий двор полон экнпажей всех сортов — телег, кабриолетов, шарабаиов, одноколок, днковнnных повозок, желтых от навоза, нзуродованиых, залатаиных, подннмавших к небу, как две рукн, свои оглоблн нлн уткиувшнхся иосом в землю с подиятым вверх задком.

Как раз против стола, за которым разместнлись посетнтелн, яркнм пламенем пылал огонь в огромиом камние, обдавая жаром спнны сндевших справа. Над очагом поворачивались трн вертела с насаженными иа них цыплятамн, голубямн н бараньнмн окороками; чудесный запах жаркого и мясного сока, стекавшего с подрумяненной кожн, воз-

буждал всеобщую веселость и наполнял рот слюной.

Вся аристократия плуга обедала здесь, у дядюшки Журдена, трактирщика и барышника, ловкача, у которого водились деньжонки.

Блюда сменялись одно другим и опустошались так же, как и кувшины желтого сидра. Каждый рассказывал о своих делах, покупках и продажах. Спрашивали друг друга об урожае. Погода была хороша для овощей, хотя и сыровата для хлебов.

Вдруг во дворе, перед домом, забил барабан. Все тотчас же вскочили, за исключением нескольких равнодушных, и бросились к дверям и окнам — с набитыми ртами и с салфетками в руках.

Кончив барабанить, глашатай прокричал отрывистым голосом, невпопад разделяя фразы:

— Доводится до сведения жителей Годервиля и вообще всех лиц, присутствовавших на базаре, что сегодня утром был потерян, по дороге в Безвиль, между девятью и десятью часами, бумажник черной кожи, содержащий пятьсот франков и деловые бумаги. Просят немедленно доставить находку в мэрию или гражданину Ульбреку из Манневиля. Вознаграждение — двадцать франков.

Потом этот человек ушел. Издали еще раз слабо донесся звук барабана и заглушенный голос глашатая.

Все принялись толковать об этом событии, обсуждая, удастся или не удастся дядюшке Ульбреку получить обратно свой бумажник.

Обед кончился.

Допивали кофе, когда на пороге появился жандармский чин.

Он спросил:

— Здесь гражданин Ошкорн из Бреоте?

Ошкорн, далеко сидевший за столом, отозвался:

— Здесь.

Полицейский чин продолжал:

— Гражданин Ошкорн! Не угодно ли вам последовать за мной в мэрию? Господин мэр хочет с вами поговорить.

Крестьянин, удивленный, встревоженный, одним духом опрокинул рюмку, встал и, еще больше согнувшись, чем утром,— так как первые шаги после отдыха всегда тяжелы,— собрался в путь.

— Я здесь, я здесь,— повторил он и пошел за жандармом.

Мэр ждал его, сидя в кресле. Это был местный нотариус, человек тучный, важный, выражавшийся напыщенно.

— Дядюшка Ошкорн!— сказал он.— Сегодня утром видели, как вы подняли на Безвильской дороге бумажник, оброненный Ульбреком из Манневиля.

Крестьянин с недоумением смотрел на мэра, испуганный уже одним подозрением, павшим на него неизвестно по какой причине.

— Что? Я поднял этот бумажник?

— Да, именно вы.

— Ей-богу, я и знать о нем не знаю.

— Вас видели.

— Меня видели? Да кто же это меня видел?

— Шорник Маланден.

Тут старик припомнил, понял и, красный от гнева, вскричал:

— А, он меня видел, скотина! Он видел, как я поднял эту веревочку? Вот она, господин мэр.

И, пошарив в кармане, вытащил обрывок веревки.

Но мэр недоверчиво покачал головой.

— Вы меня не убедите, дядюшка Ошкорн, будто Маланден, человек, достойный доверия, принял эту бечевку за бумажник.

Крестьянин в бешенстве поднял руку и, сплюнув в сторону, чтобы подтвердить свою честность, повторил:

— Да ведь это сущая правда, вот как перед богом, господин мэр! Клянусь спасением моей души. Я правду говорю.

Мэр продолжал:

— Мало того, подняв этот предмет, вы еще долго искали в грязи, не выпала ли оттуда какая-нибудь монета.

Бедняга задыхался от негодования и страха.

— И скажут же!.. И скажут же!.. Чего только не наплетут, чтобы опорочить честного человека! И скажут же!..

Но как он ни протестовал, ему не верили. Ему дали очную ставку с шорником Маланденом,— тот возобновил и подтвердил свое показание. Они ругались битый час. Дядюшку Ошкорна обыскали по его просьбе. И ничего не нашли.

Наконец мэр, в полном недоумении, отпустил его, предупредив, что передаст дело прокурору и будет ждать распоряжений.

Новость быстро распространилась. При выходе из мэрии старика окружили, стали расспрашивать с серьезным или насмешливым любопытством, в котором, однако, не было ни малейшего возмущения. Он принялся рассказывать историю с веревкой. Ему не верили. Над ним смеялись.

Он шел, его поминутно останавливали, он и сам останавливал знакомых, без конца повторяя свой рассказ и свои заверения, выворачивая карманы, чтобы доказать, что у него ничего нет.

Ему говорили:

— Ладно уж, старый плут!

Он негодовал, горячился, выходил из себя, в отчаянии, что ему не верят, не зная, что делать, и без конца возвращался к своему рассказу.

Стемнело. Надо было ехать домой. Он пустился в путь с тремя соседями, которым показал место, где подобрал веревку; и всю дорогу только и говорил о своей беде.

Вечером он обошел деревню Бреоте, чтобы всем рассказать об этом. И всюду встречал недоверие.

Целую ночь он промучился.

На другой день, около часу пополудни, Мариус Помель, работник дядюшки Бретона, фермера из Имовиля, вручил бумажник с его содержимым Ульбреку из Манневиля.

Парень утверждал, что нашел бумажник на дороге, но, не умея читать, отнес его домой и отдал своему хозяину.

Новость облетела окрестности. Дядюшка Ошкорн узнал об этом. Он тотчас отправился по деревне и снова принялся излагать свою историю, на этот раз вместе с ее концом. Он торжествовал.

— Что мие обидно было, так это не самое обвииеиие, поимаете ли, а иапраслина. Нет иичего хуже, если иа тебя возведут напраслиину.

Весь деиь ои толковал о своем злоключеиии; ои рассказывал о нем на дорогах прохожим, в кабачке — посетителям, а в воскресеиье — прихожанам, выходившим из церкви. Останавливал даже иезнакомых. Он как будто успокоился, и все-таки ему было ие по себе, хотя ои и ие зиал, отчего имеиио. Его слушали со скрытой иасмешкой. Его слова, казалось, ие убеждали. Ему чудилось, что люди за его спиной перешептываются.

Во вториик иа следующей неделе он отправился на базар в Годервиль только для того, чтобы рассказать свою историю.

Маланден, стоя иа пороге своего дома, увидел его и засмеялся. Почему?

Ошкори заговорил было с одиим фермером из Крикето, но тот ие дал ему коичить и, хлопиув собеседиика по животу, крикиул ему прямо в лицо:

— Ладио, хитрая бестия!— и повернулся к иему спииой.

Дядюшка Ошкори оторопел от изумления, и беспокойство его усилилось. Почему его иазвали «хитрой бестией»?

Сидя за столом в трактире Журдеиа, ои снова принялся объясиять, как было дело.

Барышник из Монтевиля крикиул ему:

— Зиаем, зиаем мы, старый пройдоха, что это была за веревочка!

Ошкори пробормотал:

— Да ведь его иашли, бумажиик-то этот!

Но тот ие уиимался:

— Помалкивай, папаша, одии иашел, другой вернул. Никто ничего зиать ие зиает, все шито-крыто.

Крестьяиин остолбеиел. Накоиец он понял. Его обвиияли в том, что он отослал бумажиик с приятелем, с сообщником.

Ои попытался возражать. Но за столом подиялся хохот.

Недообедав, ои ушел, провожаемый иасмешками.

Ои вериулся домой, охваченный стыдом и гиевом, задыхаясь от бешеиства, в полиой растеряииости, особеиио удручеииый тем, что, как хитрый нормандец, он, в сущиости, был способен сделать то, в чем его обвиияли, и даже похвастать этим как иовой проделкой. Он смутио ощущал, что ие сумеет доказать свою иевииовность, раз свойствеиное ему плутовство всем известио. И все же он был глубоко уязвлеи иесправедливым подозрением.

И ои снова принялся рассказывать свою историю, каждый деиь удлиияя рассказ, каждый раз прибавляя иовые доводы, завереиия все более решительиые, клятвы все более торжествеиные, которые он придумывал, измышлял в часы одииочества, потому что ум его был целиком заият историей с веревкой. И чем сложиее были его оправдаиия и тоньше доказательства, тем меньше ему верили.

— Лгуиы всегда так изворачиваются,— говорили у иего за спиной.

Ои это чувствовал и бесился, изиемогая от бесплодных усилий.

Ои заметио стал чахиуть.

Шутиики, чтобы позабавиться, заставляли его теперь рассказывать про «веревочку», как заставляют солдата, побывавшего иа войие, рассказывать о сражении, в котором ои участвовал. Его подорваииые душевиые силы угасали.

В коице декабря ои слег.

Дядюшка Ошкорн умер в первых числах яиваря. И даже в предсмертном бреду доказывал ои свою иевииовность:

— Веревочка!.. Веревочка!.. Да вот оиа, господии мэр.

ГАРСОН, КРУЖКУ ПИВА!..

Хосе Мария де Эредиа

Почему в этот вечер я зашел в пивную? Сам не зиаю. Было холодио. От мелкого, как водяиая пыль, дождя газовые рожки, казалось, были окутаны прозрачиой дымкой, а тротуары блестели, отражая витрины, бросавшие свет иа жидкую грязь и забрызгаииые иоги прохожих.

Я бродил без всякой цели. Мие просто вздумалось немного погулять после обеда; я прошел мимо здаиия Лиоиского кредита, по улице Вивьеи, еще по каким-то улицам. Вдруг я заметил большую пивную, где было ие очеиь людио, и вошел без определеииого иамереиия: Мие вовсе ие хотелось пить.

Оглядевшись, я отыскал столик посвободиее и присел рядом с пожилым человеком, курившим дешевую глииявую, чериую, как уголь, трубку. Шесть или семь стекляиных блюдец, стоявших стопкой перед иим, указывали количество уже выпитых им кружек. Я ие стал разглядывать своего соседа. Я сразу поиял, что передо мною любитель пива, одии из тех завсегдатаев, которые приходят с утра, когда пивиую открывают, и уходят вечером, когда ее закрывают. Ои был иеопрятеи, с плешью иа темеии; сальные, седеющие пряди волос падали иа воротиик сюртука. Слишком широкую одежду ои, очевидио, сшил себе еще в те времеиа, когда у иего было брюшко. Чувствовалось, что брюки еле держатся и ои ие может сделать и десяти шагов без того, чтобы ие подтянуть их — так плохо они были прилажеиы. Был ли иа ием жилет? Одиа мысль о его башмаках и о том, что они прикрывают, бросала меия в дрожь. Обтрепаииые манжеты заканчивались чериой каемкой, так же как и его иогти.

Едва только я сел, мой сосед иевозмутимо спросил меия:

— Как живешь?

Я резко повернулся и пристальио иа иего взглянул.

Ои снова спросил:

— Не узиаешь меия?

— Нет.

— Де Барре.

Я остолбеиел. Это был граф Жаи де Барре, мой старый товарищ по коллежу.

В замешательстве я протянул ему руку, ие зная, что сказать. Наконец я пробормотал:

— А ты как живешь?
Он ответил все так же невозмутимо:
— Я? Живу, как умею.
Он умолк.
Я подыскивал какую-нибудь любезную фразу.
— Ну, а... что ты делаешь?
Он равнодушно ответил:
— Ты же видишь.
Я почувствовал, что краснею, и пояснил:
— Нет, обычно?
Пуская густые клубы дыма, он сказал:
— Каждый день одно и то же.
Затем, постучав по мраморной доске столика серебряной монетой, валявшейся тут же, крикнул:
— Гарсон, две кружки!
Голос вдалеке повторил: «Две кружки на четвертый!» И другой, еще дальше, отозвался: «Даю!» Потом появился официант в белом переднике; он нес две кружки, расплескивая на ходу пену, которая падала желтыми хлопьями на усыпанный песком пол.
Де Барре разом опорожнил кружку и поставил ее на стол, обсосав пену с усов.
Затем он спросил:
— Ну, а у тебя что нового?
Я, право, не знал, что сказать, и пробормотал:
— Да ничего, дружище. Я стал коммерсантом...
Он произнес все тем же безразличным голосом:
— И это... тебе по вкусу?
— Нет, не могу сказать. Но надо же что-нибудь делать.
— А зачем?
— Да так... Надо же иметь занятие.
— А для чего это, собственно, надо? Вот я ничего не делаю, как видишь, совсем ничего. Я понимаю, что нужно работать, когда нет ни гроша. Но если у человека, есть средства, это ни к чему... Зачем работать? Ты что же, работаешь для себя или для других? Если для себя, значит, тебе это нравится, тогда все великолепно; но если ты стараешься для других — это просто глупо.
Положив свою трубку на мраморную доску, он снова крикнул:
— Гарсон, кружку пива!— и продолжал:— Разговор вызывает у меня жажду. Отвык. Да, вот я ничего не делаю, на все махнул рукой, старею. Перед смертью я ни о чем не буду жалеть. У меня не будет других воспоминаний, кроме этой пивной. Ни жены, ни детей, ни забот, ни огорчений — ничего. Так лучше.
Он осушил кружку, которую ему принесли, провел языком по губам и снова взялся за трубку.
Я смотрел на него с изумлением, потом спросил:
— Но ты ведь не всегда был таким?
— Нет, извини, всегда, с самого коллежа.
— Да это же не жизнь, голубчик. Это ужас. Сознайся: хоть что-нибудь ты делаешь, любишь хоть что-нибудь? Есть у тебя друзья?
— Нет. Я встаю в полдень, прихожу сюда, завтракаю, пью пиво, сижу до вечера, обедаю, пью пиво; в половине второго ночи возвращаюсь домой, потому что пивную закрывают. Вот это самое неприятное. Из последних десяти лет не меньше шести я провел на этом диванчике в углу. А остальное время — в своей кровати, больше нигде. Изредка я беседую с завсегдатаями пивной.
— Но что ты делал вначале, когда приехал в Париж?
— Изучал право... в кафе Медичи.
— Ну, а затем?
— Затем перебрался на эту сторону Сены и обосновался здесь.
— А чего ради ты перекочевал сюда?
— Нельзя же, в самом деле, прожить всю жизнь в Латинском квартале. Студенты слишком шумный народ. Теперь я уж больше никуда не двинусь. Гарсон, кружку пива!
Я решил, что он смеется надо мной, и продолжал допытываться:
— Ну скажи откровенно: ты перенес какое-нибудь горе, может быть, несчастную любовь? Право же, у тебя вид человека, убитого горем. Сколько тебе лет?
— Тридцать три. А на вид не меньше сорока пяти.
Я внимательно посмотрел на него. Морщинистое, помятое лицо его казалось почти старческим. На темени сквозь редкие длинные волосы просвечивала кожа сомнительной чистоты. У него были косматые брови, длинные усы и густая борода. Внезапно, не знаю почему, мне представилось, какая грязная вода была бы в тазу, если бы промыть в нем всю эту щетину.
Я сказал:
— Да, верно, ты на вид старше своих лет. Несомненно, у тебя было какое-то горе.
Он ответил:
— Уверяю тебя, никакого. Я постарел оттого, что никогда не бываю на воздухе. Ничто не подтачивает так человека, как постоянное сидение в кафе.
Я никак не мог ему поверить.
— Тогда ты, должно быть, покутил порядком? Нельзя же так облысеть, не отдав обильную дань любви.
Он спокойно покачал головой, и при этом с его редких волос на плечи посыпалось множество белых чешуек перхоти.
— Нет, я всегда был благоразумен.
И, подняв лицо к рожку, гревшему нам головы, добавил:
— Я облысел только от газа. Он злейший враг волос... Гарсон, кружку пива! А ты не выпьешь?
— Нет, спасибо. Но, право, ты меня поражаешь. С каких пор ты впал в такое уныние? Ведь это ненормально, противоестественно. Должна же быть какая-нибудь особая причина?
— Да, пожалуй. Толчок был дан в детстве. Я перенес сильное потрясение, когда был еще ребенком. И это навсегда омрачило мою жизнь.
— Что же это было?
— Хочешь знать? Изволь. Ты, должно быть, хорошо помнишь поместье, где я вырос. Ведь ты приезжал ко мне раз пять на каникулах. Помнишь наш большой серый дом, огромный парк вокруг него и длинные, расходящиеся веером дубовые аллеи? Наверно, ты помнишь и моих родителей — они были такие церемонные, важные и строгие.
Я боготворил свою мать, побаивался отца и

почитал их обоих; к тому же я видел, как люди гнут перед ними спину. Для всей округи они были «их сиятельствами»; да и соседи, Танмары, Равеле и Бренвили, относились к ним с глубоким уважением.

Мне было тогда тринадцать лет. Я был весел, доволен всем, жизнерадостен, как и полагается в этом возрасте.

Однажды в конце сентября, за несколько дней до возвращения в коллеж, я играл в волка и прыгал среди деревьев в чаще парка; пробегая аллею, я заметил моих родителей — они прогуливались по парку.

Я помню все так ясно, точно это было вчера. День выдался очень ветреный. При каждом порыве ветра стройные ряды деревьев гнулись, скрипели и стонали — глухо, протяжно, как стонет лес во время бури. Сорванные листья, уже пожелтевшие, взлетали, точно птицы, кружились, падали и неслись по аллеям, как проворные зверьки.

Надвигался вечер. В чаще было уже темно. Ветер бушевал в ветвях, возбуждал, будоражил меня, и я скакал как бешеный и отчаянно выл, подражая волку.

Увидев родителей, я начал тихонько подкрадываться к ним, прячась за деревьями, как настоящий лесной бродяга.

Но в нескольких шагах от них я остановился в испуге. Мой отец, вне себя от ярости, злобно кричал:

— Твоя мать — просто дура; не в твоей матери дело, а в тебе! Мне нужны эти деньги, я требую, чтобы ты подписала!

Мама ответила твердо:

— Нет, не подпишу. Это деньги Жана. Я не допущу, чтобы ты промотал их с девками и горничными. Довольно и того, что ты растратил на них свое собственное состояние.

Тогда отец, дрожа от бешенства, повернулся, и, схватив мать одной рукой за горло, другой начал бить ее изо всех сил по лицу.

Мамина шляпа свалилась, волосы в беспорядке рассыпались; она пыталась заслониться от ударов, но это ей не удавалось. А отец, как сумасшедший, все бил и бил ее. Она упала на землю, защищая лицо обеими руками. Тогда он повалил ее на спину и продолжал бить, стараясь отвести ее руки, чтобы удары приходились по лицу.

А я... мне казалось, мой дорогой, что наступил конец света и все незыблемые основы бытия пошатнулись. Я был потрясен, как бывает потрясен человек перед лицом сверхъестественных явлений, страшных катастроф, непоправимых бедствий. Мой детский ум мутился. И я, не помня себя, начал пронзительно кричать от страха, боли, невыразимого смятения. Отец, услышав мои крики, обернулся, увидел меня и, поднявшись с земли, шагнул ко мне. Я подумал, что он хочет убить меня, и, точно затравленный зверь, бросился бежать, не разбирая дороги, напрямик, в чащу леса.

Я бежал час, может быть, два — не знаю. Наступила ночь; я упал на траву, оглушенный, измученный страхом и тяжким горем, способным навсегда сокрушить хрупкое детское сердце. Мне было холодно; я, вероятно, был голоден. Настало утро. Я не решался встать, идти, вернуться или бежать куда-нибудь дальше, я боялся встретиться с отцом, которого не хотел больше видеть. Пожалуй, я так и умер бы под деревом от отчаяния и голода, если бы меня не заметил лесник и не отвел силой домой.

Я нашел родителей такими же, как всегда. Мать только сказала: «Как ты напугал меня, гадкий мальчик, я не спала всю ночь». Я ничего не ответил и заплакал. Отец не произнес ни слова.

Неделю спустя я уехал в коллеж.

И вот, милый друг, все было кончено для меня. Я увидел оборотную сторону жизни, ее изнанку; и с того дня лучшая ее сторона перестала для меня существовать. Что произошло в моей душе? Какая сила опрокинула все мои представления? Не знаю. Но с тех пор я потерял вкус к жизни, я ничего не хочу, никого не люблю, ни к чему не стремлюсь и нет у меня ни желаний, ни честолюбия, ни надежд. Я все вспоминаю мою бедную маму на земле, посреди аллеи, и отца, осыпающего ее ударами... Мама умерла через несколько лет. Отец еще жив. Но с тех пор я его не видел... Гарсон, кружку пива!

Ему принесли кружку. Он выпил ее залпом. Потом взял трубку, но руки у него так сильно дрожали, что он сломал ее. С досадой махнув рукой, он воскликнул:

— Ну что вы скажете! Вот это настоящая беда! Теперь понадобится целый месяц, чтобы обкурить новую трубку.

И по всему большому залу, теперь уже наполненному дымом и посетителями, пронесся его неизменный возглас:

— Гарсон, кружку пива!.. И новую трубку!

ДЯДЯ ЖЮЛЬ

Ашилю Бенувилю

Старый нищий с седой бородой попросил у нас милостыню. Мой спутник Жозеф Давранш дал ему пять франков. Это меня удивило. Жозеф сказал:

— Несчастный старик напомнил мне один случай, который я тебе сейчас расскажу. Я никогда его не забуду. Слушай.

Я родом из Гавра. Семья была небогатая, коекак сводили концы с концами. Отец служил, возвращался из конторы поздно вечером и получал за свой труд гроши. У меня были две сестры.

Необходимость урезывать себя во всем угнетала мою мать, и нередко отцу приходилось выслушивать от нее колкости, скрытые язвительные упреки. Бедняга неизменно отвечал на них жестом, причинявшим мне глубокое страдание. Он проводил ладонью по лбу, словно отирая пот, и не произносил ни слова. Его бессильная печаль передавалась мне. В хозяйстве экономили на чем только могли; никогда не принимали приглашений на обед, чтобы не пришлось, в свою очередь, звать гостей. Покупали провизию подешевле,— то, что залежалось в лавке. Сестры сами шили себе платья и подолгу обсуждали вопрос о покупке тесьмы,

стоившей пятнадцать сантимов метр. Изо дня в день мы ели мясной суп и вареную говядину под всевозможными соусами. Говорят, это полезно и питательно. Я предпочел бы что-нибудь другое.

Мне жестоко доставалось за каждую потерянную пуговицу, за разорванные штаны.

Но каждое воскресенье мы всей семьей отправлялись, во всем параде, гулять на мол. Отец, в сюртуке и перчатках, с цилиндром на голове, вел под руку мать, разукрашенную, словно корабль в праздничный день. Сестры обычно были готовы раньше всех и ждали, пока кончатся сборы. Но в последнюю минуту на сюртуке главы семьи всегда обнаруживалось какое-нибудь пятно, не замеченное раньше, и приходилось спешно затирать его тряпочкой, намоченной в бензине.

Надев очки, так как она была близорука, и сняв перчатки, чтобы их не запачкать, мать выводила пятно, а отец стоял, не снимая цилиндра, в одной жилетке и дожидался конца этой процедуры.

Затем торжественно трогались в путь. Впереди под руку шли сестры. Они были на выданье, и родители пользовались случаем показать их людям. Я шел по левую руку матери, отец — по правую. Мне вспоминается величественный вид бедных моих родителей во время этих воскресных прогулок, их застывшие лица, чинная поступь. Они шли размеренным шагом, не сгибая колен, и держались очень прямо, словно от их осанки зависел успех какого-то чрезвычайно важного предприятия.

И каждое воскресенье при виде огромных кораблей, возвращающихся из дальних, неведомых стран, отец неизменно говорил:

— А вдруг на этом пароходе приехал Жюль! Вот был бы сюрприз!

Дядя Жюль, брат моего отца, некогда приводивший семью в отчаяние, теперь стал единственной ее надеждой. Я с раннего детства слышал рассказы о дяде Жюле и так сроднился с мыслью о нем, что мне казалось, я узнал бы его с первого взгляда. Его прошлое, до самого отъезда в Америку, было известно мне во всех подробностях, хотя в семье об этом периоде его жизни говорили вполголоса.

По-видимому, он вел беспутную жизнь, иначе говоря, промотал порядочно денег, а в небогатых семьях это считается самым тяжким преступлением. В кругу богачей о человеке, любящем покутить, говорят, что он проказничает. Его со снисходительной улыбкой называют шалопаем. В кругу людей неимущих молодой человек, который растратил сбережения родителей,— распутник, мот, негодяй.

И это различие вполне справедливо, так как значение наших поступков всецело определяется их последствиями.

Как бы там ни было, дядя Жюль сначала промотал до последнего су свою долю родительского наследства, а затем основательно уменьшил и ту часть сбережений, на которую рассчитывал мой отец.

Его, как тогда было принято, отправили в Америку на грузовом пароходе, шедшем из Гавра в Нью-Йорк.

Очутившись в Америке, дядя Жюль занялся какими-то торговыми делами и вскоре написал родным, что обстоятельства его понемногу поправляются и что он надеется со временем возместить убыток, причиненный им моему отцу.

Это письмо произвело огромное впечатление на всю семью. Жюль, тот самый Жюль, которого раньше, что называется, ни в грош не ставили, вдруг был объявлен честнейшим, добрейшей души человеком, истым представителем семьи Даврапш, безупречным, как все Даврапши.

Затем капитан какого-то парохода сообщил нам, что дядя снял большой магазин и ведет крупную торговлю.

Второе письмо, полученное два года спустя, гласило:

«Дорогой Филипп! Пишу для того, чтобы ты не беспокоился обо мне. Я в добром здоровье. Дела мои тоже идут хорошо. Завтра я надолго уезжаю в Южную Америку. Возможно, что в течение нескольких лет от меня не будет известий. Не тревожься, если я не буду писать. Я вернусь в Гавр, как только разбогатею. Надеюсь, на это потребуется не слишком много времени, и тогда мы славно заживем все вместе».

Это письмо стало как бы евангелием нашей семьи. Его перечитывали при всяком удобном случае, его показывали всем и каждому.

Действительно, в течение десяти лет от дяди Жюля не было никаких известий. Но надежды моего отца все крепли с годами, да и мать часто говаривала:

— Когда вернется наш дорогой Жюль, все пойдет по-иному. Вот кто сумел выбиться в люди!

И каждое воскресенье при виде исполинских черных пароходов, которые приближались к гавани, изрыгая в небо клубы дыма, отец неизменно повторял:

— А вдруг на этом пароходе едет Жюль? Вот был бы сюрприз!

И казалось, сейчас на палубе появится дядя, взмахнет платком и закричит:

— Эй, Филипп!

На его возвращении, в котором никто из нас не сомневался, строились тысячи планов. Предполагалось даже купить на дядюшкины деньги домик в окрестностях Энгувиля. Я подозреваю, что отец уже вел кое-какие переговоры по этому поводу.

Моей старшей сестре исполнилось двадцать восемь лет, младшей— двадцать шесть. Обе они не выходили замуж, и это сильно удручало нас всех.

Наконец для младшей сестры нашелся жених: чиновник, человек небогатый, но приличный. Я твердо убежден, что именно письмо дяди Жюля, прочитанное молодому человеку однажды вечером, положило конец его колебаниям и придало ему смелости.

Его предложение приняли сразу, и было решено, что после свадьбы мы всей семьей съездим на остров Джерси.

Путешествие на остров Джерси — заветная

мечта бедных людей. Это совсем недалеко. Стоит только проехать по морю на пакетботе — и ты уже за границей: ведь остров принадлежит Англии. Двухчасовая поездка морем дает французу возможность побывать в соседней стране и ознакомиться на месте с нравами — впрочем, малопривлекательными — населения этого острова, над которым, как выражаются люди, говорящие безыскусственным языком, реет британский флаг.

Мысль о путешествии на Джерси захватила нас всех, оно стало нашим единственным стремлением, мечтой, с которой мы ни на минуту не расставались.

Наконец мы отправились в путь. Как сейчас вижу пароход, стоящий под парами у набережной Гранвиль; отца, с озабоченным видом следящего за погрузкой наших трех чемоданов; взволнованную мать под руку с незамужней сестрой, которая после свадьбы младшей совершенно растерялась, словно цыпленок, отбившийся от выводка: и, наконец, новобрачных, все время отстававших, что заставляло меня то и дело оборачиваться.

Раздался гудок. Мы поднялись на палубу, и пароход, обогнув мол, вышел в открытое море, гладкое, словно доска зеленого мрамора. Мы смотрели, как удаляется берег; мы были счастливы и горды, как все те, кому редко случается путешествовать.

Отец стоял приосанившись, выпятив живот под сюртуком, с утра тщательно вычищенным, и распространял вокруг себя запах бензина — праздничный запах, по которому я узнавал воскресные дни.

Вдруг его внимание привлекли две нарядные дамы, которых двое мужчин угощали устрицами. Старик матрос, одетый в отрепья, ловко вскрывал раковины ножом и подавал мужчинам, а те подносили их дамам. Дамы ели устрицы очень изящно: держа раковину над тонким носовым платком и вытянув губы, чтобы не закапать платье, они быстро, одним глотком, выпивали содержимое и бросали раковину в море.

Отца, по-видимому, пленила эта изысканная затея — есть устрицы на пароходе, в открытом море. Это показалось ему признаком хорошего тона, утонченного аристократизма. Он подошел к жене и дочерям и спросил их:

— Хотите, я угощу вас устрицами?

Мать медлила с ответом, ее пугал лишний расход; сестры же сразу согласились. Мать сказала недовольным тоном:

— Боюсь, как бы мне это не повредило. Угости детей, но в меру, а то они, пожалуй, еще захворают.

Повернувшись ко мне, она прибавила:

— А Жозефу вообще незачем есть устрицы. Мальчиков не следует баловать.

Я чувствовал себя несправедливо обойденным, но мне пришлось остаться подле матери; я следил глазами за отцом, который с необычайно важным видом направлялся в сопровождении обеих дочерей и зятя к оборванному старику матросу.

Обе дамы уже ушли с палубы. Отец стал объяснять сестрам, как нужно держать устрицу, чтобы содержимое не вытекало на нее. Желая наглядно показать им это, он схватил устрицу и попытался подражать дамам, но немедленно пролил всю жидкость на свой сюртук.

Мать сердито проворчала:

— Сидел бы уж лучше на месте!

Он отступил на несколько шагов, пристально взглянул на дочерей и зятя, теснившихся вокруг продавца устриц, круто повернулся и подошел к нам. Он показался мне очень бледным, а в его глазах было какое-то странное выражение. Вполголоса он сказал матери:

— Прямо удивительно, до чего старик с устрицами похож на Жюля!

— На какого Жюля? — в недоумении спросила мать.

— Да на моего брата...Если б я не знал, что он в Америке и что ему хорошо живется, я решил бы, что это он,— продолжал отец.

Мать в испуге пробормотала:

— Ты с ума сошел! Ведь ты отлично знаешь, что это не он. Зачем же говорить глупости?

Но отец настаивал:

— Пойди, Кларисса, посмотри на него: мне хочется, чтобы ты убедилась собственными глазами.

Мать встала и подошла к дочерям. Я принялся разглядывать матроса. Старый, грязный, весь в морщинах, он был целиком поглощен своей работой.

Мать вернулась. Я заметил, что она дрожит. Она торопливо сказала отцу:

— Мне кажется, это он. Пойди расспроси капитана. Главное — будь осторожен, а то этот бездельник, чего доброго, опять сядет нам на шею.

Отец направился к капитану. Я пошел следом за ним. Меня охватило какое-то странное волнение.

Капитан, высокий худощавый мужчина с длинными бакенбардами, прогуливался по мостику; вид у него был такой важный, словно он командовал пароходом, совершавшим рейс в Индию. Отец с изысканной учтивостью поклонился ему и стал предлагать вопросы, относившиеся к его профессии, пересыпая их комплиментами:

— Чем замечателен Джерси? Какие отрасли производства развиты на острове? Каковы численность и состав его населения? Нравы и обычаи жителей? Какая там почва? — И так далее и так далее.

Можно было подумать, что речь идет по меньшей мере о Соединенных Штатах.

Поговорили и о пароходе «Экспресс», на котором мы находились, затем перешли к его команде, и тут отец с дрожью в голосе сказал:

— Меня очень заинтересовал старик, торгующий устрицами. Не знаете ли вы каких-нибудь подробностей о нем, о его жизни?

Капитана этот разговор начинал раздражать, и он сухо ответил:

— Это старый бродяга, француз. В прошлом году я подобрал его в Америке и теперь привез на родину; у него, кажется, есть родственники в Гавре, но он не хочет показываться им на глаза, потому что задолжал им. Его зовут Жюль... Жюль Дарманш или Рарванш, что-то в этом роде. Гово-

рит, в Америке он одио время был богат, а теперь сами видите, до чего дошел.

Отец был мертвенно-бледен, глаза его блуждалн. Сдавлеиным голосом ои проговорнл:

— Так...так...Очень хорошо...Прекрасно... Это меня ничуть не уднвляет...Очень вам благодареи, капитан...

И отошел. Моряк в недоуменни поглядел ему вслед.

Отец вернулся к матери с такнм расстроенным видом, что она сказала:

— Сядем... а то еще заметят.

Отец грузио опустнлся на скамью н пролепетал:

— Это он... Я ведь говорил. это он!

Немного погодя он спросил:

— Что же нам делать?

Мать решительно заявнла:

— Надо прежде всего увести оттуда детей. Жозеф сейчас сходит за нимн, раз уж он все знает. Главное, надо постараться, чтобы зять ии о чем не догадался...

Отец был сражен. Он еле слышио прошептал:

— Какое несчастье!

Мать, вдруг разъярившнсь, зашипела:

— Я так и знала, что этот дармоед инкогда ничего ие добьется н в конце коицов опять сядет нам иа шею. Да, от Давраншей не дождешься инчего хорошего!

Отец молча провел ладонью по лбу, как делал всегда, когда мать осыпала его упреками. А она продолжала:

— Дай Жозефу денег, пусть он сейчас же пойдет и рассчитается за устрнцы... Недостает только, чтобы этот нищий узнал нас! Воображаю, какое это произвело бы впечатлеиие иа пассажнров! Мы перейдем на другой конец палубы, а ты уж позаботься о том, чтобы мы с ннм больше ие встретилнсь.

Оиа встала, н они оба ушлн, вручив мне пятнфранковую монету. Сестры в недоуменни дожидалнсь отца. Объяснив им, что у матери легкнй прнступ морской болезни, я обратился к старнку:

— Сколько вам следует, сударь?

Мне хотелось сказать: «дядя».

— Два франка пятьдесят,— ответил старик.

Я дал ему пять франков, ои протяиул мне сдачу.

Я смотрел иа руку, худую, морщиннстую руку матроса; я вглядывался в его лицо, измученное, старое лицо, унылое н жалкое, и повторял про себя: «Это мой дядя, папнн брат, мой дядя!»

Я дал ему десять су на чай. Он с благодарностью сказал:

— Да благословит вас господь, молодой человек!

Он пронзнес этн слова тоном нищего, который прнинмает подаянне. Я подумал, что там, за океаиом, ему, иаверно, прнходнлось просить милостыию. Сестры, пораженные моей щедростью, смотрели на меня во все глаза.

Когда я отдал отцу два франка сдачн, мать с нзумленнем спросила:

— Неужелн устрнцы стоилн целых трн франка? Не может быть.

Я твердо сказал:

— Я дал десять су иа чай...

Мать привскочила и в упор посмотрела на меня:

— Ты с ума сошел! Дать десять су этому бродяге!..

Она запнулась: отец глазами указывал ей иа зятя.

Все притнхли.

Впереди, на горнзоите, обозначилась темиолиловая полоса, казалось, выраставшая из моря. Это был Джерси.

Когда мы подъезжали к прнстанн, меия охватило желанне еще раз увндеть дядю Жюля, подойти к нему, сказать ему несколько ободряющнх ласковых слов.

Но теперь уже никто ие спрашнвал устриц, н ои исчез; вероятио, бедный старнк спустился в воиючий трюм, служнвшнй ему пристаннщем.

Чтобы избежать встречи с инм на обратном пути, мы вернулнсь домой через Сен-Мало. Мать совсем изведась от беспокойства.

Я ннкогда больше ие вндел моего дядю.

Вот почему я иногда даю пять франков ннщему.

СТАРУХА СОВАЖ

I

Жоржу Пуше

Я не был в Вирелонн целых пятнадцать лет. Осенью я приехал туда поохотиться у прнятеля моего Серваля, который иаконец-то собрался отстроить в своем поместье дом, разрушенный пруссакамн.

Мне бесконечно нравились этн места. Есть иа свете такне прелестные уголкн — поистнне чувственная отрада для глаз. Их любишь чуть ли ие физической любовью. У иас, у людей, привязанных к земле, есть знакомые ручейкн, леса, пруды, холмы, о которых вспоминаешь с иежиостью и умиленнем, как о радостных событнях. Бывает даже, что увидншь один только раз в погожнй деиь какой-нибудь перелесок, илн обрыв, илн фруктовый сад, осыпанный цветом, и возвращаешься к ним мыслью н храннщь их в сердце, как образы тех женщин в светлых воздушных иарядах, которых довелось встретить на улнце весенним утром, и неутолимо, неустанно желать потом душой н телом, точно это само счастье прошло мнмо.

В Вирелоии мне была мила вся местность, усеяниая рощнцами, пересеченная ручейкамн, что вьются по земле, как кровеносиые жнлкн. В иих ловилн раков, форелей и угрей. Райское блажеиство! Местамн в них можио было купаться, а среди высоких трав, растущих вдоль этих речоиок, нередко случалось иабрести на кулнков.

Я шагал с легкостью козы, наблюдая за обеими моимн собаками, рыскавшнмн впереди. Серваль в ста метрах вправо обследовал поле люцерны. Я обогнул кустарннк, который служит грани-

цей Содрейского леса, и увидел разрушенную хибарку.

И вдруг мне припомнилась она, какой я видел ее в последний раз, в 1869 году, опрятная, увитая виноградом, с курами у крыльца.

Что может быть печальнее, чем остов мертвого дома, гниющий, зловещий?

Припомнилось мне также, что в один из очень утомительных дней старуха — хозяйка этой хижины — попотчевала меня стаканом вина, а Серваль попутно рассказал мне историю ее обитателей.

Отец, старый браконьер, был убит сельскими стражниками. Сын, которого я видал когда-то, рослый, сухопарый малый, тоже слыл лютым истребителем дичи. Звали их Соважами[1].

Не знаю, была ли это их фамилия или прозвище.

Я окликнул Серваля. Он поспешил ко мне своим обычным журавлиным шагом.

— Что сталось с хозяевами домика?— спросил я его.

Вот какую повесть поведал он мне.

II

Когда была объявлена война, Соваж-младший, которому тогда исполнилось тридцать три года, пошел волонтером, оставив мать одну в доме. Никто особенно не жалел старуху, потому что известно было, что у нее водятся деньги. Итак, она осталась совсем одна в этом уединенном жилище, поодаль от деревни, на опушке леса.

Впрочем, она и не боялась, потому что эта крепкая старуха, высокая и костлявая, была одной породы с мужем и сыном, смеялась она не часто и шуток не допускала. Вообще крестьянки редко смеются. Это уж мужское дело. У них же душа скорбная и замкнутая, под стать их унылой, беспросветной жизни. Мужчина иногда приобщается к шумному веселью кабака, а жена его всегда сумрачна, и вид у нее строгий. Мышцы ее лица не приучены сокращаться от смеха.

Старуха Соваж продолжала вести обычную жизнь в своем домике, который вскоре замело снегом. Раз в неделю она являлась в деревню купить мяса и хлеба, а затем возвращалась домой. Так как поговаривали о волках, она выходила с ружьем за плечами, ружьем сына, ржавым, с истертым прикладом; любопытное зрелище представляла собой эта рослая, чуть согбенная старуха, когда она крупным шагом неторопливо шествовала по снегу, а ствол ружья виднелся из-за черного чепца, который покрывал ей голову и прятал от посторонних глаз седые волосы.

Но вот настал день, когда пришли пруссаки. Их разместили в деревне соответственно имуществу и доходам хозяев. Старуха считалась богачкой, и к ней поселили четверых немцев.

Это были статные малые, белотелые, с белокурыми бородами, голубыми глазами, упитанные, несмотря на тяготы похода, и вполне миролюбивые для победителей. Очутившись на постое у старой женщины, они всячески старались ей услужить, по мере возможности избавить ее от издержек и хлопот. По утрам они плескались у колодца без мундиров, обнажив в резком свете зимнего дня бело-розовые тела северян, меж тем как старуха Соваж готовила похлебку. Затем они убирали и подметали кухню, кололи дрова, чистили картофель, стирали белье — словом, хлопотали по хозяйству, как четыре примерных сына. Но она-то, старуха, непрестанно думала о своем родном сыне, о сухопаром черноглазом молодце с ястребиным носом, с густыми усами, черной бахромкой торчащими над верхней губой. Каждый день спрашивала она у каждого из своих постояльцев:

— Не знаете, куда девался французский полк, двадцать третий, пехотный? Сынок мой там служит.

— Не знать, совсем не знать,— отвечали они. И, понимая ее тоску и тревогу — ведь у них дома тоже остались матери,— они всячески ухаживали за ней. Впрочем, и сама она благоволила к своим четырем врагам, ибо патриотическая ненависть свойственна только высшим классам — крестьянам она чужда. Она чужда неимущим, тем, кому война обходится дороже всего, потому что они бедны и каждая лишняя издержка для них непосильное бремя, тем, кого убивают массами, кто, собственно, и является пушечным мясом, потому что их большинство, тем, наконец, кто больше всех страдает от жестоких бедствий войны, потому что они слабее всех, а значит, и менее выносливы,— им непонятны ни воинственный задор, ни особая щепетильность в вопросах чести, ни так называемые политические расчеты, которые в полгода доводят до полного истощения обе нации — и победительницу и побежденную.

О немцах старухи Соваж в деревне принято было говорить: «Вот уж кому повезло!»

Но как-то утром, когда старуха была дома одна, она увидела вдали на равнине человека, направляющегося в сторону ее жилья. Вскоре она узнала его — это был деревенский почтальон. Он вручил ей письмо; она достала из футляра очки, которые надевала, когда шила, и прочла:

«Госпожа Соваж! Настоящим письмом сообщаю вам печальную весть. Сынок ваш, Виктор, убит вчера ядром, которое, прямо сказать, разорвало его пополам. Я находился возле, потому что в роте мы всегда были рядом, и он мне о вас говорил, чтобы я сразу же известил вас, в случае если с ним стрясется беда. Я вынул у него из кармана часы, чтобы доставить вам, когда кончится война.

С дружеским приветом *Сезар Риво,* солдат второго разряда 23-го пехотного полка».

Письмо было трехнедельной давности.

Она не плакала. Она сидела неподвижно, настолько потрясенная и ошеломленная, что даже не чувствовала боли. Она думала: «Вот и Виктора убили». Потом мало-помалу слезы подступили к глазам и скорбь хлынула в сердце. Одна за другой возникали у нее мысли, ужасные, мучительные. Больше никогда не поцелует она его, своего маль-

[1] Sauvage — дикий *(фр.).*

чика, своего молодца. Стражникн убили отца, пруссаки убнли сына. Ядро разорвало его пополам. И ей представилась картина, страшная картина: голова отлетает, а глаза открыты, н ус он закусил, как обычно, когда серднлся. Куда же девали его тело? Хоть бы отдалн ей сына, как отдалн мужа с пулей во лбу.

Но тут она услыхала голоса. Это пруссаки возвращались нз деревнн. Торопливо спрятав пнсьмо в карман, она встретила нх спокойно, и лицо у нее было обычное,— глаза она успела тщательно вытереть. Немцы весело смеялись, в восторге от того, что принесли жирного кролнка, без сомнення краденого, и знакамн показывалн старухе, что нынче удастся вкусно поесть.

Она сейчас же принялась готовить завтрак, но когда дело дошло до кролика, то убнть его у нее не хватнло духа. И сказать бы, что ей приходилось делать это впервые! Один из солдат прикончил кролика ударом кулака по голове.

Когда зверек был мертв, старуха содрала шкурку с окровавленного тельца; но вид кровн, которая сочнлась ей на руки, теплой кровн, которая постепенно остывала и свертывалась, бросал старуху в дрожь; ей все виделся ее мальчнк, разорванный пополам и тоже окровавленный, как это жнвотное, еще не переставшее содрогаться.

Она села за стол вместе со своими пруссаками, но не могла проглотить ни кусочка. Они сожрали кролнка, не обращая на нее вниманпя. Она молча нскоса глядела на них, и в голове ее зрел план, но лнцо было так невозмутнмо, что они ннчего не заметнли.

Неожиданно она сказала:

— Я даже имен-то ваших не знаю, а вот уж месяц, как мы живем в одном доме.

Они не без труда понялн, чего она хочет, и назвали свон нмена. Но этого ей было мало; она заставнла нх записать на бумажке все имена вместе с домашннмн адресами н, снова надев на свой крупный нос очкн, прнсмотрелась к чуждым начертанням букв; затем сложила бумажку и спрятала в карман, где лежало письмо с извещением о смерти сына. Когда немцы кончили завтракать, она сказала:

— Пойду похлопочу для вас.

И прннялась таскать сено на чердак, где они ночевалн. Их удивнло ее занятие; она объяснила, что так нм будет теплее. Они взялнсь помогать ей и навалилн сена до самой соломенной крыши; у них таким образом получилось нечто вроде комнаты, выложенной сеном, душистой и теплой, где им будет спаться на славу.

За обедом один нз ннх всполошился, заметнв, что старуха опять ничего не ест. Она заявила, что у нее колнки. Затем она разожгла огонь, чтобы согреться, а четверо немцев, как обычно, взобралнсь на ночь к себе по приставной лесенке.

Как только люк захлопнулся, старуха убрала лесенку, потом бесшумно открыла наружную дверь н натаскала со двора полную кухню соломы. Она ступала по снегу босыми ногамн так тихо, что не было слышно ни звука. Время от времени она прислушивалась к зычному разноголосому храпу четырех спящих солдат.

Сочтя прнготовлення законченными, она бросила в очаг одну из вязанок и, когда солома загорелась, рассыпала ее по остальным вязанкам, потом вышла и стала наблюдать. Резкий свет вмнг озарнл внутренность хибаркн, и сразу же там запылал чудовищный костер, граннозный горн, пламя которого било в узкое оконце н падало ослепнтельным отблеском на снег.

И тут сверху, с чердака, раздался отчаянный крик, перешедший в слитный вой человеческнх голосов, душераздирающне вопли ужаса н смертной тоскн. Затем, когда внутрн рухнул потолок, вихрь огня взвился к чердаку, прорвался сквозь соломенную крышу и поднялся к небу гнгантским факелом; вся хижина пылала.

Теперь нзнутрн слышно было только, как гудит пожар, трещат стены н рушатся стропнла. Крыша вдруг завалнлась, и нз огненного остова дома в воздух вместе с клубом дыма вырвался сноп искр.

Белая равнина, озаренная огнем, сверкала, как серебряная пелена с красноватым отливом.

Вдали зазвонил колокол.

Старуха Соваж стояла неподвижно перед свонм разрушенным жнлнщем н в руках держала ружье, ружье сына,— на случай, еслн бы ктонибудь нз немцев выбежал.

Убеднвшись, что все кончено, она швырнула ружье в огонь. Раздался взрыв.

Отовсюду бежали люди — крестьяне, пруссакн. Старуху застали сидящей на пне, спокойную и удовлетворенную.

Немецкий офнцер, говоривший по-французскн, как француз, спросил ее:

— Где ваши постояльцы?

Она протянула костлявую руку к багровой груде гаснущего пожара н ответила твердым голосом:

— Там, внутрн!

Народ толпнлся вокруг нее. Пруссак спросил:

— Как загорелся дом?

— Я подожгла его,— пронзнесла она.

Ей не поверили, решнлн, что она рехнулась с горя. Тогда она рассказала теснившимся вокруг слушателям все, как было, с начала до конца, от получения письма до последнего вопля людей, сгоревших вместе с ее домом. Она подробно описала все, что перечувствовала, все, что сделала.

Кончив, она нзвлекла нз кармана две бумажкн и, чтобы различить их при последннх вспышках пламени, надела очки, а затем произнесла, показывая на одну нз них:

— Это о смерти Внктора.

Показывая на вторую, она пояснила, кивнув в сторону тлеющнх развалин:

— Это нх имена, чтобы написать к ннм домой.

И, спокойно протянув листок бумаги офицеру, державшему ее за плечн, добавнла:

— Напншнте, как это случилось, и не забудьте рассказать нх родителям, что сделала это я, Внктуар Симон по прозвнщу Соваж!

Офнцер по-немецки отдал распоряжение. Старуху схватнлн, прнставнлн к стене ее дома, не успевшей еще остыть. Потом двенадцать человек

торопливо выстроились напротив нее на расстоянии двадцати метров.

Она не шевельнулась, она поняла, она ждала.

Прозвучала команда, за ней тотчас грянул залп, затем одиноко прокатился запоздалый выстрел.

Старуха не упала. Она села, как будто у нее подкосились ноги.

К ней подошел прусский офицер. Она была почти разорвана пополам, а в судорожно сжатой руке она держала письмо, пропитанное кровью.

Мой приятель Серваль добавил:

— Вот в отместку немцы тогда и разрушили дом в моем поместье.

Я же думал о матерях четырех славных парней, сгоревших в хижине, и о жестоком геройстве другой матери, расстрелянной подле этой стены.

И я поднял с земли еще черный от копоти камешек.

ПРИЗНАНИЕ

Полуденное солнце потоками льется на поля. Волнистые, раскинулись они меж купами деревьев, обступивших фермы; спелая рожь, желтеющая пшеница, светло-зеленый овес и темно-зеленый клевер одевают длинным полосатым покровом, струистым и мягким, нагое чрево земли.

На вершине бугра в ряд, как солдаты, вытянулись бесконечной вереницей коровы; лежа или стоя, они жуют жвачку и щиплют клевер на широком, как озеро, поле, прищурив под ярким солнцем огромные глаза.

Две женщины, мать с дочерью, вразвалку идут, одна за другой, по узкой, протоптанной в хлебах тропинке к этому стаду коров.

Обе несут по два оцинкованных ведра на обруче от бочки, держа их далеко от себя, и при каждом шаге женщин солнце, ударяя в металл, бросает слепящий белый отсвет.

Они не разговаривают. Они идут доить коров. Приходят, ставят наземь ведра, направляются к первым двум коровам и поднимают их пинком деревянного башмака в бок.

Коровы медленно встают, сначала на передние ноги, затем с трудом приподымают широкий зад, который кажется еще тяжелей от огромного белого, грузно свисающего вымени.

Тетка Маливуар и ее дочь, опустившись на колени под самым брюхом коров, тянут сильным движением пальцев набухший сосок, и всякий раз, как они его сжимают, в ведро падает тоненькая струйка молока. Чуть желтоватая пена поднимается по краям, и женщины переходят от коровы к корове, до конца их длинного ряда.

Подоив одну корову, они переводят ее на новый клочок пастбища, с не ощипанной еще травой.

Затем отправляются в обратный путь более медленным шагом, нагруженные ведрами, полными молока; мать впереди, дочь позади.

Но вдруг дочь, разом остановившись, поставила свою ношу, села и расплакалась.

Тетка Маливуар, не слыша за собой шагов, обернулась и от удивления застыла на месте.

— Что с тобой?— спросила она.

И дочь Селеста, рослая, рыжая, с огненными волосами, с огненно-красными щеками, вся в веснушках, как будто огонь брызгами попал ей на лицо, когда она причесывалась однажды на солнышке, пролепетала, тихонько всхлипывая, как побитый ребенок:

— Невмоготу мне больше таскать молоко.

Подозрительно взглянув на нее, мать повторила:

— Да что с тобой?

Селеста повалилась на землю между ведрами и, закрывая лицо фартуком, ответила:

— Очень уж тянет. Невтерпеж!

Мать в третий раз спросила:

— Да что с тобой, говори!

Дочь простонала:

— Боюсь, беременна я!

И зарыдала.

Тут и старуха поставила ведра, до того опешив, что не нашлась, что сказать. Наконец, запинаясь, она проговорила:

— Ты... ты... Ты беременна, мерзавка? Ты что, сдурела?

Маливуары были богатые фермеры, люди с большим достатком, степенные, уважаемые, хитрые и влиятельные.

Селеста пробормотала:

— Да нет, боюсь, что вправду.

Мать ошеломленно смотрела, как дочь лежит перед ней и плачет, и вдруг закричала:

— Так ты беременна? Ты беременна? Где ж ты это нагуляла, шлюха?

Селеста, вздрагивая от волнения, прошептала:

— Думается мне, в повозке у Полита.

Старуха старалась понять, угадать, узнать, наконец, кто же виновник такого несчастья. Если это парень богатый и у людей в почете, то, умеючи, можно все уладить, и тогда это еще полбеды: такие дела случаются с девушками, Селеста не первая и не последняя. Но все-таки неприятно: пойдет дурная слава, а ведь они у всех на виду. Она спросила:

— Кто ж это с тобой сделал, потаскуха?..

И Селеста, решившись все рассказать, шепотом произнесла:

— Да, наверно, Полит.

Тут тетка Маливуар в ярости бросилась на дочь и принялась колотить ее с таким остервенением, что потеряла с головы чепец. Она била ее кулаком по голове, по спине, куда попало, и Селеста, растянувшись во всю длину меж двумя ведрами, которые немножко ее защищали, прикрывала только лицо ладонями.

Коровы от удивления бросили щипать траву и, повернувшись, смотрели на них большими выпуклыми глазами. Крайняя замычала, вытянув морду по направлению к женщинам.

Тетка Маливуар устала бить, запыхалась и, приходя понемногу в себя, попыталась разобраться в том, что произошло:

— Полит! Матерь божья, да как же это приключилось? Как ты могла? С кучером дилижанса?

Ты что, рехнулась? Не иначе как он тебя приворожил, прощелыга!

Селеста, все еще уткнувшись лицом в пыль, тихонько сказала:

— Я не платила за проезд.

И старая нормандка все поняла.

Каждую неделю, по средам и субботам, Селеста возила в город продукты с фермы: птицу, сливки и яйца.

Она отправлялась в семь утра с двумя большими корзинами: в одной — молочные продукты, в другой — птица; выходила на большую дорогу и дожидалась там почтовой кареты из Ивето.

Поставив корзины наземь, Селеста садилась на край канавы; куры с коротким острым клювом, утки с широким плоским носом, просунув головы сквозь ивовые прутья, таращили круглые, глупые и удивленные глаза.

Подкидывая задок в такт неровной рысце белой клячи, вскоре подъезжал неуклюжий рыдван, нечто вроде желтого сундука с покрышкой из черной кожи. И кучер Полит, веселый, здоровенный малый, с брюшком, хотя и молодой, до того опаленный солнцем, исстеганный ветрами, вымоченный ливнями и покрасневший от водки, что лицо и шея стали у него кирпичного цвета, кричал еще издали, пощелкивая кнутом:

— Здравствуйте, мамзель Селеста! Как здоровье? Как живете?

Она протягивала ему одну за другой корзины, он ставил их на империал. Затем Селеста задирала ногу, чтобы вскарабкаться на высокую повозку, и показывала толстые икры, обтянутые синими чулками.

И всякий раз Полит отпускал одну и ту же шутку:

— Смотри-ка, они не похудели.

И Селеста смеялась, находя это забавным.

Затем раздавалось: «Но-о-о, Малютка!» — и тощая лошадь трогалась в путь.

Селеста, достав кошелек из глубокого кармана, медленно извлекала десять су — шесть за себя и четыре за корзины — и через плечо передавала их Политу. Тот брал, говоря:

— Ну как, забавляться-то еще не сегодня будем?

И он хохотал от всей души, повернувшись всем туловищем, чтоб удобнее было на нее смотреть.

Она с болью в сердце отдавала всякий раз полфранка за три километра пути. А когда у нее не случалось медяков, она страдала еще больше, никак не решаясь разменять серебряную монету.

И как-то раз, платя ему, она сказала:

— А ведь с меня, как я постоянно езжу, вам бы не надо брать больше шести су, а?

Он засмеялся:

— Шесть су, красавица? Нет, вы стоите дороже, право.

Она настаивала:

— Для вас это не составило б и двух франков в месяц.

Настегивая свою клячу, он закричал:

— Идет, я парень сговорчивый, я уступлю вам, а мне чтоб за это была забава!

Она простодушно спросила:

— Про что это вы говорите?

Его это так рассмешило, что он даже закашлялся от хохота.

— Забава, черт возьми, и есть забава. Ну какая бывает забава у девки с парнем, когда они пляшут вдвоем, только без музыки?

Она поняла и, покраснев, заявила:

— Такая забава не по мне, господин Полит.

Но он не смутился и повторил, все больше и больше потешаясь:

— Не миновать вам этой забавы, какая бывает у девки с парнем.

И с той поры всякий раз, как она ему платила, он завел привычку спрашивать:

— Ну как, забавляться-то еще не сегодня будем?

Теперь и она тоже отвечала шуткой:

— Сегодня нет, господин Полит, а уж в субботу непременно.

И он кричал, смеясь, как всегда:

— Ладно, красавица, в субботу, значит.

Все же про себя она прикидывала, что за два года поездок с Политом она переплатила добрых сорок восемь франков, а в деревне сорок восемь франков на дороге не валяются; она подсчитала также, что еще через два года это встанет ей около ста франков.

И как-то раз, в весенний день, когда они ехали одни и он по обыкновению спросил ее: «Ну как, забавляться-то еще не сегодня будем?» — она ответила:

— Как вам будет угодно, господин Полит.

Он нисколько не удивился и, перешагнув через заднюю скамейку, довольный, пробормотал:

— Ну вот и хорошо. Я ведь знал, что так и будет.

Старая белая кобыла поплелась таким медленным шагом, что казалось, она топчется на месте, глухая к окрику, который время от времени доносился из повозки: «Но-о-о, Малютка! Но-о-о, Малютка!»

Три месяца спустя Селеста заметила, что она беременна.

Все это она плачущим голосом рассказала матери, и старуха, побелев от гнева, спросила:

— Сколько же ты выгадала?

Селеста ответила:

— За четыре месяца восемь франков наверняка.

Тут бешенство крестьянки прорвалось, она бросилась на дочь и опять начала ее так бить, что у самой дух занялся. Потом, придя немного в себя, спросила:

— Ты сказала ему, что беременна?

— Ясное дело, не сказала.

— Почему не сказала?

— Да он опять бы заставил меня платить.

Старуха задумалась, потом, взявшись за ведра, проговорила:

— Ну ладно, вставай и постарайся дойти.

И, помолчав, добавила:

— Смотри, ничего ему не говори, пока сам не

заметит, чтоб нам этим попользоваться до седьмого, а то и до девятого месяца.

Селеста поднялась, все еще плача, растрепанная, с распухшим лицом, и продолжала путь тяжелым шагом.

— Ясное дело, ничего не скажу,— буркнула она.

ОЖЕРЕЛЬЕ

Это была одна из тех изящных и очаровательных девушек, которые, словно по иронии судьбы, рождаются иногда в чиновничьих семействах. У нее не было ни приданого, ни надежд на будущее, никаких шансов на то, чтобы ее узнал, полюбил и сделал своей женой человек состоятельный, из хорошего общества, и она приняла предложение мелкого чиновника министерства народного образования.

Не имея средств на туалеты, она одевалась просто, но чувствовала себя несчастной, как пария, ибо для женщин нет ни касты, ни породы,— красота, грация и обаяние заменяют им права рождения и фамильные привилегии. Свойственный им такт, гибкий ум и вкус — вот единственная иерархия, равняющая дочерей народа с самыми знатными дамами.

Она страдала непрестанно, так как чувствовала себя рожденной для изящной жизни, для самой утонченной роскоши. Она страдала от бедности своего житья, от убожества голых стен, просиженных стульев, полинявших занавесок. Все, чего не заметила бы другая женщина того же круга, мучило ее и возмущало.

Один вид маленькой бретонки, которая вела их скромное хозяйство, рождал в ней горькие сожаления и несбыточные мечты. Ей снилась немая тишина приемных, задрапированных восточными тканями, освещенных высокими канделябрами старой бронзы, величественные лакеи в шелковых чулках, дремлющие в мягких креслах от расслабляющей жары калориферов. Ей снились затянутые старинным штофом просторные салоны, где тонкой работы столики уставлены неслыханной цены безделушками, кокетливые, раздушенные гостиные, где в пять часов за чаем принимают близких друзей-мужчин, прославленных и блестящих людей, внимание которых льстит каждой женщине.

Когда она садилась обедать за круглый стол, покрытый трехдневной свежести скатертью, напротив мужа, и он, снимая крышку с суповой миски, объявлял радостно: «Ага, суп с капустой! Ничего не может быть лучше!..»— она мечтала о тонких обедах, о сверкающем серебре, о гобеленах, украшающих стены героями древности и сказочными птицами в чаще феерического леса; мечтала об изысканных яствах, подаваемых на тонком фарфоре, о любезностях, которые шепчут на ухо и выслушивают с загадочной улыбкой, трогая вилкой розовое мясо форели или крылышко рябчика.

У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей, ровно ничего. А она только это и любила, она чувствовала, что для этого создана. Ей так хотелось нравиться, быть обольстительной и иметь успех в обществе, хотелось, чтобы другие женщины ей завидовали.

Изредка она навещала богатую подругу, с которой они вместе воспитывались в монастыре, и каждый раз, возвращаясь от этой подруги, она так страдала, что клялась не ездить туда больше. Целые дни напролет она плакала от горя, от жалости к себе, от тоски и отчаяния.

Однажды вечером ее муж вернулся домой с торжествующим видом и подал ей большой конверт.

— Вот возьми,— сказал он,— это тебе сюрприз.

Она быстро разорвала конверт и вытащила из него карточку, на которой было напечатано:

«Министр народного образования и г-жа Жорж Рампонно просят г-на и г-жу Луазель пожаловать на вечер в министерство, в понедельник 18 января».

Вместо того чтобы прийти в восторг, как ожидал ее муж, она с досадой швырнула приглашение на стол.

— На что оно мне, скажи пожалуйста?

— Как же так, дорогая, я думал, ты будешь очень довольна. Ты нигде не бываешь, и это прекрасный случай, прекрасный. Я с большим трудом достал приглашение. Всем хочется туда попасть, а приглашают далеко не всех, мелким чиновникам не очень-то дают билеты. Там ты увидишь все высшее чиновничество.

Она сердито посмотрела на мужа и сказала с раздражением:

— В чем же я туда поеду? Мне надеть нечего!

Ему это в голову не приходило; он пробормотал:

— Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень хорошее.

Тут он увидел, что жена плачет, и замолчал, растерянный и огорченный. Две крупные слезы медленно катились по ее щекам к уголкам рта. Он произнес, заикаясь:

— Что с тобой? Ну что?

Сделав над собой усилие, она подавила горе и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щеки:

— Ничего. Только у меня нет туалета и, значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай свой билет кому-нибудь из сослуживцев, у кого жена одевается лучше меня.

В отчаянии он начал уговаривать ее:

— Послушай, Матильда. Сколько это будет стоить — приличное платье, такое, чтобы можно было надеть и в другой раз, что-нибудь совсем простое?

Она помолчала с минуту, мысленно подсчитывая расходы и соображая, сколько можно попросить, чтобы экономный супруг не ахнул в испуге и не отказал ей наотрез.

Наконец она ответила с запинкой:

— Точно не знаю, по-моему, четырехсот франков мне хватило бы.

Он слегка побледнел; как раз такая сумма была отложена у него на покупку ружья, чтобы ездить летом на охоту в окрестности Нантера с компанией приятелей, которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков.

Однако он ответил:

— Хорошо. Я тебе дам четыреста франков. Только постарайся, чтобы платье было нарядное.

Приближался день бала, а госпожа Луазель не находила себе места, грустила, беспокоилась, хотя платье было уже готово. Как-то вечером муж заметил ей:

— Послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная.

Она ответила:

— Мне досадно, что у меня ничего нет, ни одной вещицы, ни одного камня, нечем оживить платье. У меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер.

Он возразил:

— Ты приколешь живые цветы. Зимой это считается даже элегантным. А за десять франков можно купить две-три великолепные розы.

Она не сдавалась:

— Нет, не хочу...это такое унижение — выглядеть нищенкой среди богатых женщин.

Но тут муж нашелся:

— Какая же ты дурочка! Поезжай к твоей приятельнице, госпоже Форестье, и попроси, чтобы она одолжила тебе что-нибудь из драгоценностей. Для этого ты с ней достаточно близка.

Она вскрикнула от радости:

— Верно! Я об этом не подумала.

На следующий день она отправилась к г-же Форестье и рассказала ей свое горе.

Та подошла к зеркальному шкафу, достала большую шкатулку, принесла ее, открыла и сказала г-же Луазель:

— Выбирай, дорогая.

Она увидела сначала браслеты, потом жемчуга, потом золотой с камнями крест чудесной венецианской работы. Она примеряла драгоценности перед зеркалом, колебалась, не в силах расстаться с ними, отдать их обратно. И все спрашивала:

— У тебя больше ничего нет?

— Конечно, есть. Поищи. Я же не знаю, что тебе может понравиться.

Вдруг ей попалось великолепное бриллиантовое ожерелье в черном атласном футляре, и сердце ее забилось от безумного желания. Она схватила его дрожащими руками, примерила прямо на платье с высоким воротом и замерла перед зеркалом в восхищении. Потом спросила нерешительно и боязливо:

— Можешь ты мне дать вот это, только это?

— Ну конечно, могу.

Госпожа Луазель бросилась на шею подруге, горячо ее поцеловала и убежала со своим сокровищем.

Настал день бала. Г-жа Луазель имела большой успех. Изящная, грациозная, веселая, словно опьяневшая от радости, она была красивее всех. Все мужчины на нее смотрели, спрашивали, кто она такая, добивались чести быть ей представленными. Чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. Сам министр ее заметил.

Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чем, упиваясь триумфом своей красоты, фимиамом успеха, окутанная, словно облаком счастья, всем этим поклонением, всеми желаниями, пробужденными ею, торжествуя полную победу, всегда сладостную для женского сердца.

Они ушли только в четыре часа утра. Муж с полуночи дремал в маленьком, почти пустом салоне в обществе трех других чиновников, жены которых очень веселились.

Он набросил ей на плечи накидку, скромное будничное одеяние, убожество которого не вязалось с изяществом бального туалета. Она это чувствовала, и ей хотелось убежать, чтобы ее не заметили другие женщины, кутавшие плечи в пышные меха.

Луазель удержал ее:

— Да погоди же. Ты простудишься на улице. Я поищу фиакр.

Не слушая его, она бежала вниз по лестнице. На улице фиакра поблизости не оказалось, и они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших поодаль.

Они спустились к реке, продрогнув и уже ни на что не надеясь. Наконец на набережной им повстречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие в Париже показываются только ночью, словно среди дня они стыдятся своего убожества.

Он привез их домой, на улицу Мучеников, и они молча поднялись к себе. Для нее все было кончено. А он думал о том, что к десяти часам ему надо быть в министерстве.

Она снимала накидку перед зеркалом, чтобы еще раз увидеть себя во всем блеске. И вдруг вскрикнула. Ожерелья не было у нее на шее.

Муж, уже полураздетый, спросил:

— Что с тобой?

— Со мной... у меня... у меня пропало ожерелье госпожи Форестье.

Он растерянно вскочил с места:

— Как!.. Что такое? Не может быть!

Они стали искать в складках платья, в складках накидки, в карманах, везде. И не нашли.

Он спросил:

— Ты помнишь, что оно у тебя было, когда мы уходили с бала?

— Да, я его трогала в вестибюле министерства.

— Но если б ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в фиакре.

— Да. Скорее всего. Ты запомнил номер?

— Нет. А ты тоже не посмотрела?

— Нет.

Они долго глядели друг на друга, убитые горем. Потом Луазель оделся.

— Пойду,— сказал он,— проделаю весь путь, который мы прошли пешком, посмотрю, не найдется ли ожерелье.

И он вышел. Она так и осталась в бальном платье, не зажигая огня, не в силах лечь, так и застыла на месте, словно мертвая.

Муж вериулся к семи часам утра. Ои иичего ие иашел.

Затем ои побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявление о пропаже, на извозчичьих стоянках — словом, всюду, куда его толкала надежда.

Оиа ждала весь деиь, все в том же отупеиии от страшного несчастья, которое над ними стряслось.

Луазель вернулся вечером, бледиый, осуиувшийся; ему ие удалось иичего узиать.

— Напншн своей прнятельнице,— сказал он,— что ты сломала замочек н отдала его исправить. Этим мы выиграем время, чтобы как-ннбудь извериуться.

Оиа написала письмо под его диктовку.

К коицу иедели оии потеряли всякую надежду, н Луазель, постаревшнй лет иа пять, объявил:

— Надо возместить эту потерю.

На следующий деиь, захватив с собой футляр, оии отправились к ювелиру, фамнлия которого стояла иа крышке. Тот порылся в кнgгах:

— Это ожерелье, сударыня, куплеио не у меня; я продал только футляр.

Тогда они начали ходнть от ювелнра к ювелнру в поисках точио такого же ожерелья, припомииая, какое оно было, советуясь друг с другом, оба еле живые от горя н тревогн.

В одном магазиие Пале-Рояля они иашли колье, которое нм показалось точь-в-точь таким, какое они искалн. Оно стоило сорок тысяч фраиков. Им его уступилн за трндцать шесть тысяч.

Оии попросилн ювелира не продавать это ожерелье в течение трех дней и поставилн условнем, что его прнмут обратно за тридцать четыре тысячи франков, если первое ожерелье будет иайдено до конца февраля.

У Луазеля было восемиадцать тысяч фраиков, которые оставил ему отец. Остальные он решил заиять.

И ои стал заиимать деньги, выпрашивая тысячу фраиков у одного, пятьсот у другого, сто фраиков здесь, пятьдесят франков там. Ои давал расписки, брал иа себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщикамн, со всякого рода заимодавцами. Он закабалнлся до конца жизии, ставил свою подпись на векселях, не зиая даже, сумеет ли выпутаться, и, подавлениый грядущимн заботами, черной нуждой, которая иадвигалась на него, перспективой материальных лишений и нравствеиных мук, он поехал за новым ожерельем н выложнл торговцу иа прилавок тридцать шесть тысяч.

Когда г-жа Луазель отнесла ожерелье г-же Форестье, та сказала ей недовольиым тоиом:

— Что же ты держала его так долго? Оно могло мне поиадобнться.

Она даже ие раскрыла футляра, чего так боялась ее подруга. Что она подумала бы, что сказала бы, еслн бы заметила подмену?

Может быть, сочла бы ее за воровку?

Госпожа Луазель узнала страшиую жизнь бедияков. Впрочем, она сразу же героическн примирилась со своей судьбой. Нужно выплатить этот ужасный долг. И оиа его выплатнт. Рассчиталн прислугу, переменили квартнру — наняли мансарду под самой крышей.

Оиа узнала тяжелый домашний труд, неиавистную кухонную возию. Оиа мыла посуду, ломая розовые ногти о жириые горшки н кастрюлн. Она стирала белье, рубашкн, полотенца и развешивала их на веревке; каждое утро выиосила на улицу сор, таскала воду, остаиавливаясь передохнуть на каждой площадке. Одетая, как жеищина нз простонародья, с корзннкой на руке, оиа ходила по лавкам — в булочную, в мясную, в овощиую, торговалась, браннлась с лавочннками, отстаивала каждое су из своих иищенских средств.

Каждый месяц надо было платнть по одиим векселям, возобиовлять другие, выпрашнвать отсрочку по третьим. Муж работал вечерами, подводя балаис для одиого коммерсаита, а иногда ие спал ночей, переписывая рукописи по пяти су за страиицу.

Такая жизнь продолжалась десять лет. Через десять лет оии все выплатили, решнтельио все, даже грабнтельский рост, даже иакопившиеся сложные процеиты. Г-жа Луазель снльно постарела. Она стала шнре в плечах, жестче, грубее, стала такою, какими бывают хозяйкн в бедных семьях. Она ходила растрепанная, в съехавшей на сторону юбке, с красными руками, говорила громким голосом, сама мыла полы горячей водой. Но иногда, в те часы, когда муж бывал на службе, оиа садилась к окиу н вспомииала тот бал, тот вечер, когда она нмела такой успех н была так обворожительна.

Что было бы, если бы оиа не потеряла ожерелья? Кто знает? Кто знает? Как нзмеичива и капризиа жизнь! Как мало иужно для того, чтобы спасти или погубить человека.

Как-то в воскресеиье, выйдя прогуляться по Елнсейским полям, чтобы отдохиуть от трудов целой неделн, она вдруг увндела жеищнну, которая вела за руку ребеика. Это была г-жа Форестье, все такая же молодая, такая же краснвая, такая же очаровательная.

Госпожа Луазель взволиовалась. Заговорить с ней? Ну коиечно! Теперь, когда она выплатила долг, можио все рассказать. Почему бы нет?

Она подошла ближе.

— Здравствуй, Жанна!

— Но... сударыня... я не зиаю... Вы, верио, ошиблнсь.

— Нет. Я Матильда Луазель.

Ее приятельинца ахнула:

— Бедиая Матильда, как ты измеиилась!

— Да, мне пришлось пережить трудное время, с тех пор как мы с тобой расстались. Я много вндела иужды... и все из-за тебя!

— Из-за меня? Какнм образом?

— Помнншь то бриллиаитовое ожерелье, что ты дала мне надеть на бал в мнннстерстве?

— Помню. Ну н что же?

— Так вот, я его потеряла.

— Как! Ты же мие вернула его.

— Я вериула другое, точио такое же. И целых десять лет мы за него выплачивали долг. Ты понимаешь, как нам трудно прншлось, у нас иичего ие было. Теперь с этим покончено. И сказать иельзя, до чего я этому рада.

Госпожа Форестье остаиовилась как вкопаииая.

— Ты говоришь, вы купилн новое ожерелье взамеи моего?

— Да. А ты так ничего и ие заметила? Оии были очень похожи.

И оиа улыбнулась торжествующе и простодушно.

Госпожа Форестье в волнеиин схватнла ее за руки.

— Бедная моя Матильда! Ведь мон брнллнанты были фальшивые! Оии стонлн самое большее пятьсот фраиков.

НИЩИЙ

Ои зиавал н лучшие дни, иесмотря иа то, что был калекой и иищим.

Ему было пятиадцать лет, когда на большой дороге в Варвиль ему раздавило ногн телегой. С тех пор ои питался подаянием, бродя по дорогам и по дворам фермеров, раскачиваясь на костылях, от которых плечн у него подинмалнсь до самых ушей. Голова пряталась между нимн, как между двумя горами.

Он был подкидыш: кюре из Бийет нашел его в канаве в канун Дня всех святых н окрестил поэтому Никола Туссеи[1]. Сирота, которого кормилн нз мнлости н инкогда иичему не учили, потом калека — ои попал под телегу, выпив несколько стакаичиков водки, которой смеха радн угостнл его деревенский булочник,— и с тех пор бездомный бродяга, он инчего ие умел делать, только протягивал руку за подаянием.

Когда-то бароиесса Д'Аварн разрешила ему ночевать иа ферме, примыкавшей к замку, в набитой соломой коиуре, возле курятника, и он зиал, что в те дии, когда уж очень стаиет донимать голод, для иего всегда иайдется на кухие кусок хлеба и стакан сидра. Ииой раз ему перепадало н несколько медиых моиет; старая дама бросала их ему с высокого крыльца нлн нз окиа своей спальии. Но оиа давио умерла.

В деревиях ему ие подавали — слишком ои всем был зиаком, ои всем иамозолил глаза за те сорок лет, что слонялся от лачугн к лачуге, волоча иа двух деревяшках свое изуродоваиное н прикрытое лохмотьями тело. Но покидать этн места ои ие хотел — ои ничего ие зиал на земле, кроме трех-четырех деревушек, в которых прошла вся его жалкая жизнь. Ои как бы обвел граиицей территорию своего нищеиства; ему и в голову не прнходило, что можно эту граннцу переступить.

Что было там, за деревьями, скрывавшнми от иего остальиой мир, да и было ли там что-ннбудь, он не знал. Ои не задумывался иад этим. И когда крестьяие, которым надоело вечио натыкаться иа него то иа краю поля, то у обочин дорогн, крнчалн ему: «Ну что ты в другую деревию не пойдешь, иет тебе места, как только тут клянчить!»— он не отвечал и торопливо уходил прочь, охваченый иеясиым страхом перед нензвестиым, страхом, который заставляет бедняка смутио опасаться тысячи вещей: иовых лнц, браниых криков, подозрнтельиых взглядов, а пуще всего стражников, расхаживающих по двое по дорогам; увндев нх, он, сам ие зиая почему, спешил спрятаться за кустом нли за грудой щебня.

Стоило им показаться вдали, поблескнвая галуиами на солнце, и у иего появлялось удивнтельное проворство, как у зверя, которого травят. Он соскальзывал с костылей, шлепался, как тряпка, иаземь, съеживался, стаиовнлся крохотным, иезаметиым, прижимался к земле, точно залегший в поле заяц, н его бурые лохмотья слнвалнсь с почвой.

А между тем у иего иикогда не было столкиовеиий с полицией. Но этот страх и эта хитрость снделн у иего в крови, словно он уиаследовал их от своих родителей, которых инкогда не вндел.

У иего не было пристаинща, не было крова — даже шалаша, даже иоры. Летом он спал где попало, а зимой с необыкновеииой ловкостью забнрался куда-нибудь в амбар или на коиюшию. Ои всегда успевал уйти раньше, чем его замечалн. Он зиал все лазейкн, через которые можио было проиикнуть в любой сарай, а руки и плечн у иего от постояиного цепляния за костылн сталн так сильны, что ои мог, подтягиваясь на руках, вскарабкаться на сеиовал; н там он, случалось, лежал, не выходя, по четыре-пять дией, если ему перед тем удавалось иасбнрать достаточно съестиого.

Ои жил среди людей, как зверь в лесу,— никого не зиал, иикого не любил, а у крестьян встречал только равиодушиое презрение н привычиую враждебность. Его прозвали «Колокол», потому что на ходу ои раскачнвался между свонмн костылями, как колокол между двумя столбами.

Одиажды случилось так, что он двое суток иичего ие ел. Ему перестали подавать. Довольно, до коих же пор иа самом деле! Женщины, стоя иа пороге, кричали ему еще издали:

— Уходи, уходи, провалнвай! Трех дней не прошло, как я тебе кусок хлеба подала.

Ои поворачнвался иа костылях и плелся к соседиему дому, где его ожндала такая же встреча.

Жеищииы, стоя в дверях своих домов, переговаривались между собой:

— Круглый год, что лн, кормнть иам этого лодыря!..

Одиако этому лодырю каждый деиь иадо было есть.

Ои обошел Сеит-Илер, Варвиль и Бийет, не выпросив ии гроша, даже черствой корки. Оставалась одиа иадежда иа Турноль, но туда было две мнлн по большой дороге, а он так устал, что шагу ие могу ступить, и в животе у него было пусто, как н в кармане.

Все же он двинулся в путь.

Дело было в декабре, в полях носился холодиый ветер и свнстел в голых деревьях, а по низкому темиому иебу мчались тучн, торопясь иеизвестно куда. Калека брел медленно, с трудом передвигая костыли, опираясь иа единственную свою нзуродоваииую ногу с кривой ступней, обмотаииой лохмотьями.

[1] Имя Туссен означает по-французскн «Все святые».

Время от времени он присаживался на краю канавы и отдыхал несколько минут. Голод наполнял тоской его темную, неповоротливую душу. Одна мысль владела им: «Поесть»,— но он не знал, как этого добиться.

Три часа он тащился по бесконечной дороге; завидев деревья на краю села, он заковылял быстрей.

Первый же встречный крестьянин, у которого он попросил милостыни, закричал на него:

— Ты опять тут, попрошайка! Когда же мы от тебя избавимся?

И Колокол покорно отошел. В какую дверь он ни стучался, всюду его осыпали бранью и отсылали с пустыми руками. Все же он переходил от дома к дому, терпеливый и упорный. Он не собрал ни гроша.

Потом он побрел на ферму, увязая в размокшей от дождя земле, еле переставляя от усталости костыли. Отовсюду его прогоняли. То был один из холодных, хмурых дней, когда сердце у человека замкнуто и ум ожесточен, когда рука не протягивается ни для того, чтобы дать, ни для того, чтобы оказать помощь.

Обойдя все знакомые фермы, он сел на краю канавы возле усадьбы фермера Шике. Он «снялся с петель»— так о нем говорили, стараясь этими словами изобразить, как он вдруг соскальзывал наземь со своих высоких костылей,— и затем долго сидел неподвижно, мучаясь от голода, но не постигая тупым умом всей глубины своего несчастья.

Он ждал, сам не зная чего, с той неясной надеждой, которая вечно тлеет в сердце человека. Сидя у канавы на ледяном ветру, он ждал чудодейственной помощи, которой мы никогда не перестаем ждать от неба или от людей, не задумываясь над тем, как, почему и через кого она может прийти. Мимо него прошла стайка черных кур. Они копошились в земле, кормилице всего живого. То и дело приостанавливались и подхватывали клювом зернышко или неразличимую для человеческих глаз букашку, потом продолжали свои неторопливые, уверенные поиски.

Колокол смотрел на них, не думая ни о чем; затем, скорей в желудке, чем в мозгу, у него зародилась не мысль, а так, глухое ощущение, что курица, если ее зажарить на костре из сухого валежника, будет очень вкусной.

Мысль, что он совершает воровство, даже не коснулась его сознания. Он нашел возле себя камень и швырнул в ту, что была поближе, и так как он был очень ловок, то уложил ее на месте. Курица повалилась на бок, трепыхая крыльями. Остальные разбежались, покачиваясь на тонких лапках, а Колокол, снова подвесившись на костыли и походкой очень напоминая курицу, заковылял, чтобы подобрать свою добычу.

Он уже приблизился к маленькому черному тельцу с перепачканной в крови головкой, как вдруг страшный толчок в спину вышиб у него из рук костыли, а его самого отбросил на десять шагов в сторону. И фермер Шике, со всей яростью обворованного крестьянина, накинулся на грабителя, колотя его по чему попало кулаками и ногами, избивая смертным боем бессильного защититься калеку.

На подмогу хозяину сбежались работники и тоже принялись колотить нищего. Наконец, уморившись, они подняли его, оттащили в дровяной сарай и заперли там в ожидании, пока придут стражники: за ними уже послали.

Колокол лежал на земле, полумертвый, окровавленный, умирающий от голода. Настал вечер, потом ночь, потом утро. Он все еще ничего не ел.

В полдень явились стражники и со всяческими предосторожностями отворили дверь. Они ожидали сопротивления, так как, по рассказам Шике, выходило, что бродяга сам напал на него и фермеру только с большим трудом удалось отбиться.

Бригадир скомандовал:

— Встать!!

Но Колокол был не в силах пошевелиться. Он, правда, сделал попытку подняться, но безуспешно. Это было принято за хитрость, притворство, за уловку закоренелого преступника, и двое вооруженных мужчин грубо схватили его и силой поставили на костыли.

Его обуял страх, врожденный страх перед желтой перевязью стражника, страх, который испытывает дичь при виде охотника, мышь при виде кошки. И сверхъестественным усилием он удержался на костылях.

— Марш!— крикнул бригадир. И он зашагал. Все обитатели фермы собрались посмотреть, как его уводят. Женщины грозили ему кулаками. Мужчины зубоскалили и ругались: «Сцапали голубчика! Наконец-то! Туда ему и дорога!».

Он шел, а по бокам шагали стражники. Его поддерживала энергия отчаяния, и до вечера он кое-как плелся по дороге, оглушенный, не понимая, что с ним случилось, да с перепугу и неспособный ничего понять.

Встречные крестьяне останавливались и бормотали, провожая его взглядом:

— Видать, вора поймали!

К ночи добрались до города. Он никогда тут раньше не бывал. Он совсем не представлял себе ни что происходит сейчас, ни что ждет его дальше. Все было неожиданным и страшным — все эти новые лица и незнакомые дома.

Он молчал; ему нечего было сказать, потому что он решительно ничего не понимал. Да к тому же он столько лет ни с кем не разговаривал, что почти утратил дар речи; и мысли его были слишком смутны, чтобы их можно было облечь в слова.

Его отвели в городскую тюрьму. Стражникам не пришло в голову, что ему надо дать поесть, и его заперли до завтра.

Но когда на другой день рано утром пришли звать его на допрос, он лежал на полу мертвый. Какая неожиданность!

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

На дворе завывал ветер, сильный осенний ветер, который налетает порывами, сбрасывает с деревьев последние листья и уносит их под облака.

Охотники поужинали; они еще не успели снять сапоги и сидели раскрасневшиеся, веселые и разгоряченные. Это были мелкие нормандские помещики — полудворяне, полукрестьяне, богатые, здоровенные, способные свернуть рога быку, когда останавливали его на ярмарочной площади.

Весь день они охотились на земле эпарвильского мэра Блонделя, а сейчас ужинали за большим столом в его доме, представлявшем нечто среднее между фермой и замком.

Их говор напоминал рычание, смех походил на рев хищных зверей, а пили они, как губки; вытянув ноги, облокотившись на стол, они грелись у исполинского очага, бросавшего на потолок кровавые отблески, болтали об охоте, о собаках, и глаза их блестели при свете лампы. Все были наполовину пьяны, все находились в том состоянии, когда мужчинам на ум приходят игривые мысли, и следили взглядом за сильной круглолицей девкой, которая подавала им красными руками огромные блюда со всякими яствами.

Долговязый Сежур, который собирался стать священником, а сделался ветеринаром и лечил скотину во всей округе, внезапно воскликнул

— Черт вас возьми, Блондель, ну и служаночка у вас, прямо пальчики оближешь!

Раздался оглушительный хохот. И тут взял слово де Варието, старый пьяница, опустившийся дворянин:

— У меня, знаете ли, была когда-то забавная история с такой же девчонкой! Стоит рассказать ее. Каждый раз, как я об этом думаю, мне вспоминается моя сука Мирза; я продал ее графу д'Оссонель, но она никак не могла отвыкнуть от меня и ежедневно, лишь только ее отвязывали, прибегала обратно. В конце концов я обозлился и попросил графа держать ее на цепи. И знаете, что с ней случилось? Она подохла от тоски.

Но возвращаюсь к истории с моей служанкой. Вот как обстояло дело.

Мне было тогда двадцать пять лет, и жил я холостяком в своем замке Вильбон. А знаете, когда человек молод, обеспечен да по вечерам после обеда изнывает от скуки, он начинает поглядывать по сторонам.

Вскоре я обнаружил молоденькую девушку, служившую в Ковиле у Дебульто. Вы, Блондель, хорошо знали этого Дебульто! Короче говоря, плутовка так пленила меня, что в один прекрасный день я отправился к ее хозяину и предложил ему сделку: он уступает мне служанку, а я продаю ему вороную кобылу Кокот — он уже два года зарился на нее. Он протянул мне руку: «Идет, господин де Варието». Сделка была заключена; девочка пришла ко мне в замок, а я сам отвел кобылу в Ковиль и уступил ее за триста экю.

Первое время все шло как по маслу. Никто ни о чем не подозревал; только вот Роза полюбила меня, на мой взгляд, чересчур сильно полюбила. Эта девочка, видите ли, была не такая, как все. В жилах ее текла не совсем простая кровь. Она, наверное, родилась от какой-нибудь прислуги, согрешившей с барином.

Короче говоря, она обожала меня. Она льнула ко мне, ластилась, называла меня дурацкими ласкательными именами, и все эти телячьи нежности навели меня на размышления.

Я сказал себе: «Пора положить этому конец, не то я попадусь!» Но меня-то не так легко поймать. Я не из тех, кого можно околдовать поцелуями. Словом, я был уже настороже, как вдруг она сообщила мне, что беременна.

Пиф, паф! Как будто кто-то выпалил мне в сердце из двустволки. А она обнимала меня, целовала, смеялась, плясала, была без ума. Каково? В первый день я не сказал ни слова, а ночью стал размышлять. Я думал: «Пусть так, но надо отвести удар, надо разрубить узел — и сейчас самое время». Понимаете, мои родители жили в Баривиле, а сестра, та, что за маркизом д'Испар,— в Роллебеке, в двух милях от Вильбона. Тут было не до шуток.

Как же, однако, выпутаться? Если она уйдет от меня, люди сразу же что-то заподозрят и начнут болтать. Оставить ее у себя,— нельзя, вскоре все обнаружится. Но не мог же я бросить ее в таком положении?

Я поговорил с дядей, бароном де Кретейлем, старым стреляным воробьем, у которого бывали приключения не с одной такой девицей, и попросил у него совета. Он спокойно ответил мне:

— Надо выдать ее замуж, мой мальчик.

Я так и подпрыгнул.

— Выдать замуж, дядя? Но за кого?

Он пожал плечами.

— За кого хочешь, это уж твое дело, а не мое. Если ты не дурак,— найдешь за кого.

Я обдумывал его слова целую неделю и наконец решил: «Что ж, дядя прав».

Тогда я начал ломать голову, искать жениха. И вот как-то раз мировой судья, с которым я только что пообедал, говорит мне:

— А сынок тетушки Помель опять натворил глупостей. Парень плохо кончит. Верно сказано, что яблоко от яблони недалеко падает.

Эта тетушка Помель в годы юности не отличалась добродетелью, а к старости стала прожженной шельмой. За одно экю она готова была продать душу, а впридачу и своего негодяя сына.

Я отправился к ней и осторожно дал понять, в чем дело.

Так как я начал путаться в объяснениях, она спросила меня напрямик:

— Что же дадите за девчонкой?

Старуха была пройдохой, но и я был не дурак и подготовился ко всему заранее.

Как раз возле Сасвиля у меня было три маленьких земельных участка, на отлете от трех моих вильбонских ферм. Фермеры постоянно жаловались, что они далеко, ну так я отобрал у них эти три поля, составлявшие шесть акров, а когда фермеры мои завопили, я снял с них до конца действия арендных договоров всю повинность по части домашней птицы. Таким путем дело уладилось. После этого я купил у моего соседа д'Омонте клочок земли у реки и построил на нем домишко; все это обошлось мне в полторы тысячи франков. Таким образом я устроил малень-

кое хозяйство, которое стоило мне недорого, и дал его девчонке в приданое.

Старуха подняла было крик, что этого мало, но я уперся, и мы разошлись, ни до чего не договорившись.

На другой день, чуть свет, ко мне явился ее сынок. Я не помнил его лица. Увидав его, я успокоился: для крестьянина он был недурен, хотя и смахивал на заправского жулика.

Он завел разговор издалека, словно пришел покупать корову. Когда мы столковались, ему захотелось осмотреть хозяйство, и мы отправились туда через поля. Плут промаенежил меня на участке добрых три часа: обходил его, измерял, брал в руку и крошил комья земли,— видимо, боялся, как бы его не надули. Домишко стоял еще без крыши, и мошенник потребовал, чтобы крыша была не из соломы, а из шифера, потому что его-де легче поддерживать в сохранности!

Потом он спросил:

— А мебель вы даете?

Я запротестовал:

— Ну нет, хватит с вас и фермы.

Он усмехнулся:

— Еще бы! Ферма и ребенок в придачу.

Я невольно покраснел. Он продолжал:

— Ну так вот: вы дадите кровать, стол, шкаф, три стула и посуду; иначе дело не выйдет.

Я согласился.

Мы пустились в обратный путь. Он еще не сказал ни слова о девушке. Но вдруг он спросил с хитрым и все же смущенным выражением лица:

— А... если она помрет, кому достанется хозяйство?

Я ответил:

— Разумеется, вам.

Это было главное, о чем ему хотелось спросить с самого утра. Он тут же с удовлетворенным видом протянул мне руку. Дело было слажено.

Но зато как трудно мне было уговорить Розу! Она валялась у меня в ногах, рыдала, твердила: «Да неужели вы предлагаете мне это? Вы! Вы!» Она сопротивлялась больше недели, несмотря на все мои просьбы и доводы. До чего глупы женщины! Уж если любовь засядет у них в голове, то они ничего не понимают. Никакого благоразумия,— любовь прежде всего, все для любви!

В конце концов я рассердился и пригрозил выгнать ее вон. Тогда она стала сдаваться, при условии, что я позволю ей приходить иногда ко мне.

Я сам проводил ее к алтарю, заплатил за брачную церемонию и всех угостил обедом. Словом, за расходами я не постоял. А потом: «Прощайте, детки!»— и уехал на полгода к брату в Турень.

Возвратившись, я узнал, что она приходила каждую неделю в замок справляться обо мне. Только я приехал, не прошло и часа, как она уже явилась с младенцем на руках. Хотите верьте, хотите нет, но что-то шевельнулось во мне, когда я увидел крошку. Кажется, я даже поцеловал его.

А мать превратилась в развалину, в скелет, в тень. Исхудалая, постаревшая. Черт возьми, замужество не пошло ей впрок! Я машинально спросил ее:

— Ты счастлива?

Она заплакала в три ручья и, всхлипывая, рыдая, воскликнула:

— Я не могу, не могу жить без вас. Лучше умереть. Я не могу!..

Она подняла адский шум. Я утешил ее, как мог, и проводил до калитки.

Я узнал, что муж колотит ее, а старая сова, свекровь, не дает ей житья.

Через два дня она явилась снова. Она уцепилась за меня, ползала по полу:

— Убейте меня, но я не вернусь обратно.

То же самое сказала бы и Мирза, если бы умела говорить.

Вся эта канитель мне надоела, и я снова исчез на полгода. Возвратившись... возвратившись, я узнал, что Роза умерла за три недели до моего приезда. Без меня она каждое воскресенье прибегала в замок... совсем, как Мирза. Через неделю умер и ребенок.

А муж... Ну, этот плут получил наследство. С той поры он, кажется, пошел в гору, и сейчас его выбрали городским советником.

Де Варнето прибавил со смехом:

— Как-никак, а я создал этому человеку благополучие.

А ветеринарный врач Сежур, поднося ко рту рюмку водки, с важностью заключил:

— Нет, уж лучше что угодно, только не иметь дела с такими женщинами.

ИСПОВЕДЬ

Маргарита де Терель умирала. Ей было пятьдесят шесть лет, но на вид не менее семидесяти пяти. Она задыхалась, лицо ее, белое, как простыня, судорожно дергалось, все тело мучительно дрожало, а глаза дико блуждали, словно ей чудилось что-то страшное.

Ее сестра Сюзанна, старше ее на шесть лет, рыдала, стоя на коленях около кровати. На маленьком, покрытом салфеткой столике у ложа умирающей стояли две зажженные свечи, так как должен был прийти священник для соборования и причащения.

В спальне был зловещий беспорядок последнего безвозвратного прощания, как во всякой комнате, где лежит умирающий. На столах и полках — пузырьки из-под лекарств, во всех углах — полотенца, отброшенные второпях ногой или половой щеткой. Стулья и кресла, расставленные как попало, словно разбежались от испуга во все стороны. Смерть притаилась где-то здесь и выжидала.

История двух сестер была трогательная. Ее рассказывали по всей округе, и не раз она вызывала у слушателей слезы умиления.

Старшая, Сюзанна, когда-то любила одного молодого человека, он тоже любил ее, они были обручены, день свадьбы был уже назначен, но

жених Анри де Сампьер скоропостижно скончался.

Девушка была в полном отчаянии и поклялась никогда не выходить замуж. Она сдержала слово. Надев вдовье платье, она так и не сняла его.

И вот однажды утром ее сестра, ее младшая сестра Маргарита, которой было только двенадцать лет, бросилась к ней в объятия и сказала:

— Сестрица, я не хочу, чтобы ты была несчастной. Не хочу, чтобы ты проплакала всю жизнь. Никогда, никогда, никогда я не покину тебя! Я тоже никогда не выйду замуж. Я останусь с тобой навсегда, навсегда, навсегда.

Сюзанна, растроганная этой детской преданностью, поцеловала сестру, но не поверила ей.

Однако младшая сестра тоже сдержала слово и, несмотря на увещания родителей, несмотря на мольбы старшей, так и не вышла замуж. Она была хороша собой, очень хороша; многие молодые люди влюблялись в нее, но она всем отказывала; она не покинула сестры.

Они прожили вместе всю жизнь, никогда не расставаясь. Они шли бок о бок одной и той же дорогой, связанные неразрывными узами. Но Маргарита всегда казалась печальной, удрученной, более суровой, чем старшая сестра, словно великая жертва надломила ее силы. Она быстрее состарилась, поседела в тридцать лет и часто хворала, как будто ее снедал какой-то тайный недуг.

Теперь она умирала первой.

Уже сутки она не говорила ни слова. Только на рассвете она сказала:

— Пошли за священником, пора.

Конвульсивно вздрагивая, она все время лежала на спине, страшная на вид, беспрестанно шевеля губами, словно из глубины ее сердца уже поднимались какие-то ужасные слова, но еще не могли сорваться с языка, и смотрела вокруг себя безумными от страха глазами.

Ее сестра, припав лбом к краю постели, плакала в глубокой скорби, повторяя:

— Марго, родная моя, детка моя!

Она всегда называла ее «деткой», так же как младшая называла старшую «сестрицей».

На лестнице послышались шаги. Дверь открылась. Появился мальчик-служка, а за ним — старый священник в рясе. Увидев их, умирающая быстро приподнялась, села и, с трудом открыв рот, прошептала несколько слов, царапая ногтями по простыне, словно хотела разорвать ее.

Аббат Симон подошел, взял ее за руку, поцеловал в лоб и ласково сказал:

— Господь простит вас, дитя мое. Будьте мужественны; час настал, говорите.

Маргариту охватила такая сильная дрожь, что вся ее кровать затряслась. Умирающая пробормотала:

— Сестрица, садись и слушай...

Священник нагнулся к Сюзанне, припавшей к постели, поднял ее, усадил в кресло и, взяв за руки обеих сестер, произнес:

— Господи боже! Пошли им силы, будь милостив к ним.

И Маргарита заговорила. Слова, одно за другим, вырывались из ее горла, хриплые, отрывистые, как будто угасающие.

— Прости, прости, сестрица, прости меня!.. О, если бы ты знала, как я всю жизнь боялась этого часа!..

Сюзанна лепетала сквозь слезы:

— В чем тебя простить, детка? Ты отдала мне все, всем пожертвовала ради меня. Ты ангел...

Но Маргарита прервала ее:

— Молчи, молчи! Дай мне сказать... не перебивай... Как страшно!.. Дай мне сказать все... до конца... Не шевелись... Слушай... Ты помнишь... помнишь... Анри?..

Сюзанна, вздрогнув, посмотрела на сестру. Та продолжала:

— Выслушай меня, и ты все поймешь. Мне было тогда двенадцать лет, только двенадцать лет, ты помнишь, не правда ли? Я была избалована, делала все, что вздумается!.. Ты помнишь, как меня баловали?.. Слушай же... Когда он в первый раз приехал к нам, на нем были лакированные сапоги; он сошел с лошади у крыльца, извинился за свой костюм и сказал, что приехал сообщить папе какую-то новость. Ты помнишь все это, да?.. Молчи... Слушай... Увидев его, я так была поражена его красотой, что остолбенела и простояла в уголке гостиной все время, пока он разговаривал с папой. Дети — совсем особенные, ужасные существа... О, как я мечтала о нем!

Он приехал еще раз... стал бывать в доме... Я смотрела на него во все глаза... всей своей душой... Я была старше своих лет... и много хитрее, чем казалась. Он начал бывать чаще... Я думала только о нем. Я шептала: «Анри... Анри де Сампьер!»

Потом сказали, что он женится на тебе... О, сестрица, какое это было для меня горе... какое горе, какое горе! Я не спала три ночи и все плакала... Он приходил каждый день, после завтрака... помнишь? Не отвечай... слушай... Ты делала для него пирожные, которые он очень любил... из муки, масла и молока.... О, я тоже умела их готовить!.. Я и сейчас могла бы сделать их, если было бы нужно. Он проглатывал их целиком, выпивал стакан вина... и говорил: «Замечательно!» Ты помнишь, он говорил это?

Я ревновала, о, как я ревновала!.. Приближался день твоей свадьбы. Оставалось только две недели. Я совершенно обезумела. Я говорила себе: «Он не женится на Сюзанне, нет, я не хочу этого. Он женится на мне, когда я вырасту большая. Я никого не полюблю в жизни так сильно, как его...» Но однажды вечером, за десять дней до свадьбы, ты гуляла с ним перед замком при свете луны... и там... под елью... под большой елью... он обхватил тебя обеими руками и поцеловал долгим-долгим поцелуем... Ты помнишь это, не правда ли? Это был, вероятно, ваш первый поцелуй... Да... Ты была такая бледная, когда вернулась в гостиную!

Я видела вас, я была в саду, в кустарнике. Я пришла в бешенство. Я убила бы вас, если бы могла!

Я сказала себе: «Он никогда не женится на Сюзанне! Он ни на ком не женится. Я не вынесу

такого несчастья». И вдруг он стал мне глубоко ненавистен.

Тогда знаешь, что я сделала?.. Слушай... Я видела, как наш садовник приготовлял колобки, чтобы травить бродячих собак. Он камнем разбивал бутылку и толченое стекло клал в мясной шарик.

Я взяла у мамы аптекарский пузырек, искрошила его молотком и спрятала толченое стекло в карман. Это был блестящий порошок... На следующий день, когда ты приготовила пирожные, я разрезала их и подмешала туда порошок... он съел их три штуки... и я тоже съела одно... Шесть остальных я бросила в пруд... Два лебедя умерли через три дня... помнишь? Молчи же... Слушай, слушай... Только я одна не умерла... но осталась больной навсегда... Слушай... Он умер... Ты знаешь... Слушай... Это еще ничего... Но потом... все время... было самое страшное... Слушай...

Вся жизнь, вся моя жизнь... какая это была мука! Я сказала себе: «Я больше не покину сестру и перед смертью все скажу ей...» Да... И с тех пор я всегда думала о том часе... о том часе, когда я признаюсь тебе во всем... Час настал. Как мне страшно!.. О!.. Сестрица!

Утром и вечером, днем и ночью я все думала: «Придет время, и я признаюсь ей во всем...» Я ждала. Ах, какая это пытка!.. И вот я все рассказала... Молчи! Ни слова... Теперь мне страшно, страшно... О, как мне страшно!.. Если я теперь увижу его... на том свете... если увижу,— подумай только?.. Ведь я увижу его первая!.. Я не посмею!.. Но придется... Я умираю... Прости же меня! Прости!.. Я не могу предстать пред ним без твоего прощения. Скажите ей, господин кюре, чтобы она простила меня... Скажите, прошу вас... Я не могу умереть без этого...

Она умолкла и, тяжело дыша, судорожно царапала ногтями по простыне...

Сюзанна закрыла лицо руками и не шевелилась. Она думала о нем, о том, кого могла бы любить так долго. Какую хорошую жизнь могли бы они прожить! Она снова видела его, видела в исчезнувшем прошлом, в далеком, навсегда угаснувшем прошлом. О дорогие мертвецы! Как они терзают нам сердце! А этот поцелуй, его единственный поцелуй! Она сохранила его в душе. И после него — ничего, ничего за всю жизнь!...

Вдруг священник выпрямился и громко крикнул дрожащим голосом:

— Мадмуазель Сюзанна! Ваша сестра умирает!

Сюзанна отвела руки от залитого слезами лица, бросилась к сестре и, крепко целуя ее, шепнула:

— Прощаю тебя, детка, прощаю...

ТУАН

I

Его знали все на десять миль в окружности — дядю Туана, толстяка Туана, Туана-Моя-Водочка, Антуана Машбле, по прозвищу Жженка, кабатчика из Турневана.

Он прославил и всю деревеньку, приютившуюся в овраге, который спускался к морю,— бедную нормандскую деревеньку из десяти крестьянских домиков, окруженных деревьями и канавами.

Эти домишки укрылись в овраге, сплошь заросшем травой и кустами, за поворотом, от которого и сама деревушка получила название Турневан[1]. Казалось, домики прятались в этой яме, как птицы в грозу прячутся в глубокие борозды, прятались от морского ветра, от дыхания морских просторов, крепкого и соленого, которое все разъедает, жжет, как огонь, сушит и убивает, как зимние морозы.

А вся деревушка казалась собственностью Антуана Машбле, по прозвищу Жженка, которого звали также и Туан-Моя-Водочка за то, что он постоянно твердил одно и то же: «Моя водочка — лучшая во всей Франции».

«Водочкой» он называл, конечно, коньяк.

Уж двадцать лет поил он всю округу своей водочкой и жженкой, и каждый раз, когда посетитель его спрашивал: «Чего бы мне выпить, дядя Туан?»— он неизменно отвечал: «Жженки, зятек, она и нутро прогреет, и мозги прочистит; уж чего полезней для здоровья».

Еще была у него привычка звать всех и каждого «зятек», хотя ни одной дочери — ни замужней, ни на выданье — он не имел.

Да и кто не знал Туана-Жженку, первого толстяка во всем кантоне и даже во всей округе! Его домишко казался до смешного низеньким и тесным для такой туши; и когда его видели на пороге дома, где он, бывало, простаивал целыми днями, то удивлялись, как это он пролезает в дверь. Входил же он всякий раз, когда являлся кто-нибудь из завсегдатаев, потому что Туана-Моя-Водочка все обязательно угощали, какая бы ни ставилась выпивка.

На вывеске его кабачка значилось: «Свидание друзей», и дядя Туан действительно был другом всем и каждому в здешних местах. Из Фекана и Монвилье приходили повидаться с ним и повеселиться, слушая его, потому что этот толстяк рассмешил бы и мертвого. Он умел подшутить над людьми так, что они не сердились, умел так подмигнуть глазом, что все было понятно без слов, умел так хлопнуть себя по ляжке в приливе веселья, что поневоле разбирал смех. Поглядеть, как он пьет, и то было любопытно. Он мог пить сколько угодно, лишь бы угощали, и его хитрые глаза светились радостью от двойного удовольствия: во-первых, он угощался, а во-вторых, получал за это самое денежки.

Местные шутники спрашивали его:

— А море ты выпил бы, дядя Туан?

Он отвечал:

— Отчего ж; только две причины мешают: во-первых, оно соленое, а во-вторых, не в бутылки же его разливать; а ведь с моим брюхом из такой чашки не напьешься.

А как он ругался с женой! Это надо было послушать. Такая получалась комедия, что никаких

[1] Турневан (Tournevent) (фр.) — дословно «поворот ветра».

денег не жалко. Тридцать лет они были женаты и все тридцать лет переругивались каждый день. Но дядя Туан шутил, а его старуха злилась. Это была высокая плоскогрудая крестьянка с длинными, худыми, как у цапли, ногами и сердитыми совиными глазами. Она разводила кур во дворе позади кабачка и славилась умением откармливать домашнюю птицу.

Если в Фекане у кого-нибудь из господ обедали гости, то к столу обязательно подавали откормленную мамашей Туан птицу,— без этого и обед был не в обед.

Но характер у нее был скверный: вечно она была не в духе, сердилась на всех вообще, а на своего мужа особенно. За его веселость и за то, что его все любили за здоровье и за толщину. Она честила его лодырем, потому что деньги ему доставались даром, без всякого труда, и обжорой, потому что он пил и ел за десятерых; дня не проходило, чтобы она не заявляла ему, вне себя от злости:

— Убирался бы ты лучше в свинарник, да и сидел бы там голышом! Глядеть на тебя противно: одно сало.

И кричала ему прямо в лицо:

— Погоди, погоди, вот увидишь, что с тобой будет! Лопнешь, как мешок с зерном, пузырь этакий!

Туан заливался хохотом и отвечал ей, хлопая себя по животу:

— Эх, ты, куриная мамаша, жердь сухая, попробуй так откормить свою птицу! Ну-ка, постарайся.

И, засучив рукав на своей толстой руке, говорил:

— Вот это крылышко, мамаша, погляди-ка!

Завсегдатаи кабачка стучали кулаками по столу, корчась от смеха, топали ногами и восторженно сплевывали на пол.

А разъяренная старуха твердила:

— Погоди, погоди, вот увидишь, что будет: лопнешь, как мешок с зерном!

И уходила в бешенстве под дружный смех гостей.

В самом деле, на Туана нельзя было смотреть без смеха, такой он стал красный и толстый, точно надутый. Над такими толстяками смерть как будто потешается, подкрадываясь к ним исподтишка, хитрит и паясничает, придавая им что-то до крайности смешное своей медленной и разрушительной работой. Вместо того чтобы проявить себя, как на других, не таясь, сединой, худобой, морщинами, угасанием сил, всем, что заставляет говорить с содроганием: «Черт возьми, как он постарел!»— она, негодяйка, забавлялась, наращивая сало, доводя человека до уродливой толщины, раскрашивая его синим и красным, раздувая, как шар, так что вид у него был сверхчеловечески здоровый; она обезобразила дядю Туана, как и все живое, но это безобразие становилось у него не мрачным и зловещим, как у других, а смешным, шутовски забавным.

— Погоди еще, погоди,— твердила мамаша Туан,— вот увидишь, что случится.

II

А случилось то, что дядю Туана хватил удар. Великана уложили на кровать в каморке за перегородкой, чтобы ему было слышно, о чем толкуют в кабачке, и чтобы он мог разговаривать с приятелями; ведь голова у него была по-прежнему светлая, зато тело — громадная туша, такая, что ни поднять, ни повернуть,— было парализовано и оставалось неподвижным. Первое время надеялись, что его толстые ноги будут хоть немного двигаться, но скоро эта надежда пропала, а Туан-Жженка день и ночь лежал в кровати, которую перестилали раз в неделю, призвав на помощь четверых соседей, и те приподнимали его за руки и за ноги, пока под ним перевертывали тюфяк.

Однако он был весел по-старому, только веселость у него была уже не та: он стал смирнее и боязливее и, как ребенок, боялся жены; а она донимала его целый день:

— Ну вот, достукался, толстый лодырь, лентяй, пьяница негодный! Так тебе и надо, так и надо!

Он уже не отвечал старухе, а только подмигивал у нее за спиной и поворачивался к стене — единственное движение, которое он мог сделать. Это у него называлось «поворот на север» или «поворот на юг».

Главным его развлечением было теперь слушать, о чем толкуют в кабачке, и разговаривать через стенку с приятелями. Когда он узнавал их голоса, то кричал:

— Эй, Селестен, это ты, зятек?

И Селестен Малуазель откликался:

— Я, дядя Туан. Опять, что ли, прыгаешь, жирный кролик?

Туан-Моя-Водочка отвечал:

— Положим, прыгать я пока не прыгаю. Зато и худеть не худею, сундук еще крепкий.

Потом он начал зазывать в каморку близких приятелей, чтоб они составили ему компанию, хотя очень огорчался, глядя, как они пьют без него. Он все твердил:

— Одно плохо, зятек, без моей водочки тоска берет, ей-богу! На все остальное мне плевать, а вот без выпивки — плохо дело.

В окно заглядывала совиная голова мамаши Туан. Старуха поднимала крик:

— Вот поглядите-ка на него, на пузатого лодыря; теперь и корми его, и обмывай, да еще чисти, словно кабана!

Когда старуха уходила, на окно вскакивал рыжий петух, круглым любопытным глазом заглядывал в комнату и громко кукарекал. А не то одна или две курицы подлетали к самой кровати, подбирая с полу хлебные крошки.

Приятели дяди Туана скоро совсем забросили свои места в общей зале и каждый день после обеда собирались потолковать вокруг постели толстяка. Шутник Туан и лежа ухитрялся их развлекать. Этот хитрец самого черта насмешил бы.

Трое завсегдатаев приходили каждый день: Селестен Малуазель, высокий и худой, согнутый, как ствол старой яблони, Проспер Орлавиль, маленький, сухопарый, похожий на хорька, ехид-

ный и хитрый, как лиса, н Сезер Помель, который всегда молчал, но все-такн веселился.

Со двора прнноснлн доску, клалн ее на край постели и садились нграть в домнно, прнчем сражалнсь, черт возьмн, не на шутку: с двух часов до шестн вечера.

Но мамаша Туан была просто невыносима. Она не могла примириться с тем, что ее толстый лодырь развлекается по-прежнему н нграет в домино, валяясь в кроватн. Только, бывало, старуха увндит, что нгра началась, сейчас же ворвется, как бешеная, опрокннет доску, схватит домино и отнесет в кабачок: довольно, мол, с нее и того, что она кормнт этого кабана, не желает она больше вндеть, как он веселится; нарочно, что лн, он дразнит людей, которые день-деньской работают не покладая рук?

Селестен Малуазель н Сезер Помель снделн смирно, а Проспер Орлавиль начинал поддразнивать старуху: его забавляло, как она серднтся.

Заметив как-то, что она разозлнлась снльнее обыкновенного, он ей сказал:

— А знаете, мамаша, что я сделал бы на вашем месте?

Она замолчала, в недоумении уставившись на него свонми совннымн глазамн.

Проспер объяснил:

— Он у вас горячий, как печка, муженек-то ваш, н с кроватн не встает. Так вот, я бы его выснживать яйца заставнл.

Она остолбенела, впернвшнсь взглядом в хитрую фнзнономню крестьяннна, думая, что он над ней смеется. А тот продолжал:

— Я бы ему положнл по пятку яиц под мышку и с одной и с другой стороны в тот самый день, как наседка сядет на яйца. А когда цыплята вылупятся, я бы нх отнес к наседке, пускай выхажнвает. Вот бы развелось у вас кур, мамаша!

Старуха растерянно спроснла:

— А разве это можно?

Тот отвечал:

— Можно. А почему же нельзя? Выводят же цыплят в теплой коробке — значнт, н в постелн можно вывести.

Она была поражена таким доводом, сразу стихла и ушла, задумавшнсь.

Неделей позже она прннесла Туану полный фартук яиц и сказала:

— Я посадила желтуху на десяток яиц. А вот н тебе десяток. Смотрн не раздави.

Туан не понял ее и спросил:

— Чего тебе надо?

Она отвечала:

— Надо, чтобы ты цыплят высижнвал, дармоед.

Сначала Туан засмеялся, но старуха настанвала; он рассерднлся, заупрямился н наотрез отказался подложнть куриные зародыши себе под мышку.

Но разъяренная старуха объявила:

— Пока не возьмешь яйца, ннкакой еды не получишь. А там вндно будет.

Встревоженный Туан промолчал.

Когда часы пробили двенадцать, он позвал ее:

— Эй, мамаша! Суп сварился?

Старуха отозвалась нз кухнн:

— Нет тебе супа, толстый лентяй.

Он подумал, что жена шутит, и подождал немного, потом стал проснть, умолять, ругаться, в отчаяннн ворочался то на север, то на юг, стучал кулаком в стенку, но в конце концов покорился судьбе и позволнл подложнть себе пяток яиц под левый бок. После этого ему далн похлебки. Когда пришли его друзья, онн подумали, что ему совсем плохо, такой у него был странный н стесненный вид.

Потом начали, как всегда, нграть в домнно. Но дяде Туану это, вндимо, не доставляло ннкакого удовольствия, и рукой он двигал еле-еле, с большой осторожностью.

— Рука у тебя прнвязана, что лн?— спроснл Орлавиль.

Туан ответил:

— Да, в плече словно тяжесть какая.

Вдруг в кабачок кто-то вошел. Игрокн замолчалн.

Это был мэр со свонм помощннком. Онн спроснлн по рюмочке коньяка н стали раговаривать о местных делах. Онн говорнлн вполголоса. Туан хотел было приложиться ухом к стене и, сделав быстрый поворот на север, устронл себе в постелн яичницу.

Он громко выругался; на крнк прибежала мамаша Туан н, угадав, что случнлось, сдернула с него одеяло. Сначала прн вндe желтой прнпарки, облепившей весь бок ее мужа, она остановилась в негодовании, как вкопанная, не находя слов. Потом, вся дрожа от ярости, она бросилась на паралитика и принялась колотнть его по жнвоту изо всей силы, как бьют вальком белье на пруду. Она молотнла кулакамн быстро-быстро, с глухим стуком, словно заяц по барабану.

Трое прнятелей Туана смеялись до упаду, кашлялн, чнхалн, охалн, а толстяк осторожно защищался от наскоков жены, боясь раздавнть яйца, лежавшие с другого бока.

III

Наконец Туан сдался. Ему пришлось высиживать яйца, отказавшнсь от нгры в домнно, от всякнх двнженнй, потому что за каждое раздавленное яйцо злая старуха морнла его голодом.

Он неподвнжно лежал на спнне, уставившись глазамн в потолок, растопырив руки, как крылья, согревая свонм телом куриные зародыши в белой скорлупе.

Теперь он говорил всегда шепотом, словно боялся не то что двнгаться, а даже шуметь, н все беспокоился о желтой наседке, которая в курятнике несла тут же повнннность, что и он.

Он спрашнвал у жены:

— Покормили желтуху с вечера?

А старуха переходнла от кур к мужу н от мужа к курам, вся поглощенная мыслямн о будущих цыплятах, которые высnживались н в постелн и в курятннке.

Соседн, которые знали об этой историн, с любопытством заходнли в кабачок и степенно справ-

лялись о Туане. Они входили к нему на цыпочках, как к больному, и с участием спрашивали:

— Ну, как дела? Подвигается, что ли?

Туан отвечал:

— Подвигаться-то подвигается, только что-то меня все в жар бросает. И по всему телу мурашки бегают.

Но вот как-то утром старуха вошла к нему в большом волнении и объявила:

— У желтухи семь штук вывелось. Остальные три болтуны.

У Туана забилось сердце. Сколько-то окажется у него?

—— А скоро это будет?— спросил он с тревогой, словно женщина, которая собирается родить.

Старуха, боясь неудачи, сердито ответила:

— Надо думать, скоро!

Они стали ждать. Собрались и приятели Туана, которые знали, что срок подходит, и тоже беспокоились.

По всей деревне только об этом и судачили, то и дело бегали справляться у соседей.

Часам к трем Туан задремал. Теперь он спал половину дня. Вдруг его разбудило непривычное щекотание под правым боком. Он протянул туда левую руку, и что-то живое, все в желтом пуху, зашевелилось у него под пальцами.

Он так взволновался, что закричал и выпустил цыпленка, а тот побежал по его груди. В кабачке было полно народу. Все бросились к двери, набились в каморку, окружили кровать Туана, словно палатку фокусника, и прибежавшая старуха осторожно высвободила птенца, который запутался в бороде ее мужа.

Все молчали. День был жаркий, апрельский. В открытое окно было слышно, как желтая наседка клохтаньем сзывала своих новорожденных цыплят.

Туан, весь потный от волнения, тревоги и ожидания, прошептал:

— У меня еще один вот сейчас вывелся, под левым боком.

Жена засунула в постель длинную костлявую руку и вытащила второго цыпленка с ловкостью и осторожностью повивальной бабки.

Соседям захотелось поглядеть на него. Цыпленка передавали из рук в руки, разглядывали его, словно какое-то чудо.

В следующие двадцать минут не вывелось ни одного цыпленка, зато потом сразу вылупилось четыре.

Зрители зашумели. А Туан улыбался, радуясь такой удаче, и начинал гордиться своим необыкновенным отцовством. Ну еще бы, такие, как он, конечно, редкость! Вот уж правда выдумщик!

Он объявил:

— Шестеро! Вот так крестины, ей-богу!

Зрители громко расхохотались. В кабачок набились новые посетители. Остальные дожидались своей очереди перед дверьми. Все спрашивали друг у друга:

— Сколько там у него?

— Шесть штук.

Старуха отнесла наседке это новое прибавление семейства, и та отчаянно клохтала, взъерошив перья и растопырив крылья, чтобы укрыть всех своих цыплят.

— Еще один!— закричал Туан.

Однако он ошибся: их оказалось трое! Вот это было торжество! Самый последний вылупился из скорлупы в семь часов вечера. Все яйца оказались хорошие! И Туан, с ума сходя от радости, торжествующе целовал в спинку слабенького птенчика, чуть не задушив его своими губами. Охваченный материнской нежностью к крохотному существу, которому дал жизнь, он хотел было оставить этого цыпленка до завтра у себя в кровати, но старуха и этого отнесла к наседке, не слушая никаких просьб своего мужа.

Восхищенные зрители стали расходиться, обсуждая это событие; один только Орлавиль, задержался и, оставшись последним, заметил:

— Послушай-ка, дядя Туан, ты меня первого должен угостить жареными цыплятами.

При мысли о жареном лицо Туана просияло, и толстяк ответил:

— Ну, само собой, угощу, зятек!

ГОСПОДИН ПАРАН

I

Маленький Жорж ползал на четвереньках по дорожке, сгребая песок в кучки. Он собирал его пригоршнями, насыпал пирамиды, а затем сажал на верхушку листок каштана.

Сидевший на железном садовом стуле отец не спускал с него внимательного, любовного взгляда и никого больше не видел в маленьком сквере, полном народа.

По всей круговой дорожке, которая проходит перед бассейном и Троицкой церковью и огибает газон, как щенята, резвились ребятишки; равнодушные няньки тупо глядели в пространство, а матери разговаривали между собой, неусыпным оком следя за малышами.

Степенно прохаживались парами кормилицы, распустив по спине длинные разноцветные ленты своих чепцов, неся на руках что-то белое, утопающее в кружевах; девочки с голыми икрами, в коротких платьицах вели серьезные разговоры, а потом снова принимались катать обруч; сторож в зеленом мундире расхаживал среди детворы, то и дело обходя песочные постройки, боясь наступить на ручонки, разрушить муравьиную работу этих крошечных человечьих личинок.

Солнце садилось за крышами улицы Сен-Лазар и бросало длинные косые лучи на эту нарядную шаловливую толпу. Каштановые деревья вспыхивали желтыми отблесками, фонтан перед высоким церковным порталом, казалось, струил расплавленное серебро.

Господин Паран смотрел на Жоржа, сидевшего на корточках в песке: он с любовью следил за каждым его жестом, мысленно сопровождал поцелуем малейшее движение сына.

Но, подняв глаза к часам на колокольне, он увидел, что запаздывает на пять минут. Он встал,

подиял ребеика, отряхиул пыль с его костюмчика, обтер руки и повел к улице Блаиш. Ои торопился, чтобы попасть домой раиьше жеиы; мальчик, ие поспевая за иим, бежал вприпрыжку.

Отец взял его иа руки и, еще ускорив шаг, тяжело дыша от напряжеиия, стал подыматься по идущей в гору улице. Это был человек лет сорока; ои уже поседел, начииал полиеть и с виноватым видом иосил свое сытое брюшко, брюшко благодушиого человека, которого жизиь сделала робким.

Несколько лет иазад ои жеиился иа юиой особе, которую иежио полюбил, а теперь оиа обходилась с иим резко и свысока, как самовластиый тираи. Оиа придиралась к иему иепрестаиио и за то, что ои делал, и за то, чего ие делал, язвительио допекала за каждый шаг, за все его привычки, за самые скромиые удовольствия, за вкусы, маиеры, жесты, за полиоту его фигуры и иетороплнвую речь.

И все же ои еще любил ее, ио гораздо больше любил их ребеика — трехлетиего Жоржа, который стал главиой заботой и радостью его души. Ои жил, иигде ие служа, иа процеиты со скромиого капитала, дававшего ему двадцать тысяч фраиков годового дохода; жеиа, за которой ои ие взял придаиого, постояиио возмущалась его бездельем.

Накоиец ои дошел до дому, поставил ребеика иа иижиюю ступеиьку, вытер пот со лба и стал подыматься по лестиице.

На третьем этаже ои позвоиил.

Дверь открыла старая иянька, вырастившая еще его самого, одиа из тех зиающнх себе цеиу старых служаиок, которые становятся деспотамн в семье. Ои с тревогой спросил:

— Барыия дома?

Служаика пожала плечами.

— Да где ж это видаио, чтобы иаша барыня была дома в половиие седьмого?

Он смущеиио ответил:

— Ладно, тем лучше, по крайией мере успею переодеться: мие очеиь жарко.

Няиька посмотрела иа иего с возмущеннем н презрительной жалостью.

— Вы, барин, я вижу, вспотели; торопнлись, иесли, верио, мальчика, а теперь нзволь дождндаться барыию до половииы восьмого,—заговорила она ворчливо,—иет, я учеиая стала, ие спешу управиться вовремя. Обед будет к восьми; иичего не поделаешь, придется подождать. Нельзя, чтобы пережарнлось жаркое!

Господии Паран сделал вид, что не слышнт. Он пробормотал:

— Ладио, ладио. Надо вымыть Жоржу руки, он лепил пирожки из песка. А я пойду переоденусь. Скажи гориничой, чтобы как следует почистила мальчика.

И ои прошел к себе в спальню. Там ои задвинул задвижку, чтобы остаться одиому, совсем одиому, совершеиио одиому. Ои уже так привык к дурному обращеиию, к попрекам, что чувствовал себя в безопасиости только за запертой дверью. Ои даже ие смел теперь думать, размышлять, рассуждать сам с собою, еслн не был уверен, что от взглядов и придирок его охраияет накрепко запертая дверь. Присев иа стул, чтобы иемиого отдохиуть перед тем, как иадеть чистую рубашку, ои подумал, что Жюли стаиовится иастоящей грозой в доме. Оиа иеиавидела его жеиу, это было очевидио, ио в особеииости иеиавидела его товарища, Поля Лимузеиа, закадычиого приятеля Параиа в годы холостой жизии, а теперь оставшегося другом дома и своим человеком в семье, что случается довольио редко. Лимузеи служил буфером в его ссорах с Аириеттой и всегда защищал друга, защищал очеиь горячо, очеиь смело от иезаслужеииых упреков, от злобиых иападок, от всех иевзгод его каждодиевиого существоваиия.

Но вот уже с полгода, как Жюли ие скупнлась иа недоброжелательиые замечаиия и колкие иамеки по адресу хозяйки. Оиа постояиио осуждала ее и заявляла двадцать раз иа деиь: «Будь я, барии, иа вашем месте, ие позволнла бы я, чтобы меия так водили за иос. Словом, словом... Да... Каждый живет по-своему».

Раз оиа даже иадерзила Аириетте; та смолчала и только вечером сказала мужу: «Имей в виду, при первой же грубости я выставлю ее за дверь». Казалось, одиако, оиа опасается служаики, хотя обычио ие боялась иикого, и Параи приписывал ее сдержаииость уважению к жеищиие, которая выияичила его, закрыла глаза его матери.

Но пора было положить этому коиец, так дольше продолжаться ие могло, и ои приходил в ужас при мысли о том, что иеминуемо должио случиться. Как ему поступить? Рассчитать Жюли — этот исход казался иастолько нежелательиым, что ои и думать о нем не хотел. Встать иа ее сторону против жеиы также было иевозможно; однако самое большее через месяц отношеиия между иими обеими станут иестерпимымн.

Он сндел, опустив рукн, вяло подыскивая способ все уладнть и иичего ие мог придумать. Наконец он прошептал: «Какое счастье, что у меня есть Жорж!.. Без иего я бы просто пропал».

Затем он подумал, что иадо посоветоваться с Лимузеиом, и совсем было иа этом успокоился, ио, тут же вспомнив о неприязии, зароднвшейся между старой иянькой и его другом, нспугался, как бы тот ие посоветовал прогиать ее; н опять им овладелн сомнеиия и тревога.

Пробило семь. Он вздрогнул. Семь, а он еще ие готов! И вот, торопясь, отдуваясь, ои разделся, вымылся, иатянул чнстую рубашку и поспешио оделся, словно в соседией комнате его ждало событне чрезвычайиой важности.

Ои вышел в гостиную, радуясь, что больше ему опасаться иечего.

Мельком заглянув в газету, он подошел к окну, посмотрел на улицу и опять сел иа диваи; открылась дверь, и вбежал его сыи, умытый, причесаииый, веселый. Параи схватил ребенка иа рукн и прииялся горячо целовать. Сперва он поцеловал его в волосы, потом в глаза, потом в обе щеки, потом в губы, потом в ладошкн. Потом, вытяиув руки, стал подбрасывать малыша до потолка. Накоиец сел, утомлениый от такого иапряжеиия, и, посаднв Жоржа на колено, иачал его «катать на лошадке».

Мальчик в восторге смеялся, размахивал ручонками, радостно вскрикивал, и отец тоже смеялся и вскрикивал от удовольствия, так что трясся его толстый живот; он забавлялся даже больше сына.

Он любил его всем своим сердцем, сердцем доброго, слабовольного, покорного, обиженного человека. Любил с безумными порывами, с бурными ласками, со всей застенчивой, затаенной нежностью, не нашедшей выхода, не излившейся даже в первые дни его брачной жизни, ибо жена всегда была с ним суха и сдержанна.

Тут в дверях появилась Жюли, бледная, с горящими глазами, и заявила дрожащим от раздражения голосом:

— Половина восьмого, барин.

Паран бросил на часы беспокойный, виноватый взгляд и пробормотал:

— Правда, половина восьмого.

— Вот теперь у меня обед готов.

Предвидя бурю, он попытался ее предотвратить:

— А ведь когда я пришел, ты, кажется, говорила, будто раньше восьми не управишься?

— Раньше восьми!.. Да что вы в самом деле! Не морить же ребенка голодом до восьми часов. Мало ли что сказала, сказать всякое можно. Только Жоржу голодать до восьми вредно! Счастье, что за ребенком не только мать смотрит. Она-то не очень о нем заботится. Да, уж нечего сказать, хороша мать! Глаза бы мои на нее не глядели!

Паран, дрожа от мучительной тревоги, почувствовал, что надо сразу пресечь опасную сцену.

— Жюли,—сказал он,—я запрещаю тебе так говорить о хозяйке! Надеюсь, ты поняла? Не забывай этого впредь!

Старая нянька, чуть не задохнувшись от изумления, повернулась и вышла, так хлопнув дверью, что на люстре зазвенели подвески. Несколько секунд в безмолвной гостиной стоял как бы легкий, неуловимый перезвон невидимых колокольчиков.

Жорж сначала испугался, потом радостно захлопал в ладоши и, надув щеки, изо всех сил крикнул: «Бух!»— подражая стуку двери.

Отец стал рассказывать ему сказки, но то и дело терял нить повествования, потому что был удручен своими мыслями, а мальчик не понимал и удивленно таращил глазенки.

Паран не спускал взгляда с каминных часов. Ему казалось, что стрелка движется неумолимо. Ему хотелось остановить время, задержать его бег до прихода жены. Он не сердился на Анриетту за опоздание, но он боялся, боялся ее и Жюли, боялся всего, что могло случиться. Еще десять минут — и может произойти непоправимое несчастье, бурная сцена с такими объяснениями, о которых ему даже и подумать страшно. При одной мысли о ссоре, громких криках, обидных словах, будто пули прорезающих воздух, об этих двух женщинах, стоящих лицом к лицу, впивающихся друг в друга взглядом, бросающих оскорбления, у него замирало сердце, во рту пересохло, как при ходьбе под палящим солнцем; он весь обмяк, словно тряпка, до того обмяк, что не имел больше сил приподнять сынишку и покачать его на ноге.

Пробило восемь; дверь снова отворилась, и снова вошла Жюли. Теперь вид у нее был уже не раздраженный, а решительный и злой, что внушало еще большие опасения.

— Барин!— сказала она.—Я служила вашей матушке до самой ее смерти и за вами хожу с самого вашего рождения и до нынешнего дня. Думаю, можно сказать, что я предана вашей семье...

Она ждала ответа.

Паран пробормотал:

— Ну, конечно, Жюли, голубушка.

Она продолжала:

— Сами знаете, на деньги я никогда не льстилась, а всегда берегла ваше добро; никогда я вас не обманывала, никогда вам не врала, вам нечем меня попрекнуть...

— Ну, конечно, Жюли, голубушка.

— Так вот, барин, дольше я терпеть не могу. Только из любви к вам я молчала, боялась вам глаза открыть. Но теперь довольно, вся улица над вами смеется. Конечно, это ваше дело, но только все уже знают. Видно, придется мне и вам рассказать, хоть и не охотница я до сплетен. Барыня потому приходит домой когда ей вздумается, что она нехорошими делами занимается.

Он растерялся, не понимал. И мог только пролепетать:

— Замолчи... Ведь я тебе запретил...

Она оборвала его на полуслове с непреодолимой решительностью:

— Нет, барин, теперь я вам все выложу. Барыня давно уже согрешила с господином Лимузеном. Я сама раз двадцать видела, как они целуются за дверьми. Уж поверьте, будь господин Лимузен богат, барыня не за господина Парана вышла бы замуж. Вы только вспомните, как ваша свадьба сладилась, и сразу вам все станет ясно, как на ладони...

Паран встал. Бледный как полотно, он лепетал:

— Замолчи... замолчи... Не то...

Она не унималась:

— Нет, я вам все выложу. Барыня вышла за вас из расчета и с первого же дня изменяла вам. Между ними уговор был! Надо только немного подумать, и все станет понятно. Барыня злилась, что вышла за вас не по любви, вот она и стала портить вам жизнь, да так портить, что у меня сердце кровью обливалось. Я-то все видела.

Он сделал два шага, сжал кулаки и, не находя что возразить, только повторял:

— Замолчи... замолчи...

Старая нянька не отступала: казалось, она решилась на все.

Но тут Жорж, сначала растерявшийся, потом перепуганный сердитыми голосами, пронзительно закричал. Он стоял позади отца и, сморщившись, открыв рот, громко ревел.

Вопли сына привели Парана в отчаяние, придали ему смелости и разъярили его. Он кинулся к Жюли с поднятыми кулаками.

— Подлая!— крикнул он.—Ты ребенка перепугаешь!

Он уже готов был ее ударить. Тогда она бросила ему в лицо:

— Бейте, если вам угодно, бейте меня, хоть я вас и вынянчила, только этим делу не поможешь, жена вас обманывает, и сын у нее не от вас!..

Он сразу остановился, уронил руки и стоял перед ней, оторопев, ничего не понимая. А она прибавила:

— Достаточно посмотреть на мальчика, чтобы признать отца, ей-богу! Вылитый портрет господина Лимузена. Стоит только на глаза да на лоб посмотреть. Слепому, и тому ясно.

Но он схватил ее за плечи и принялся трясти изо всех сил, крича:

— Змея... Змея подколодная! Вон отсюда, змея!.. Убирайся, убью! Вон, вон отсюда!..

И отчаянным усилием он вытолкнул ее в соседнюю комнату. Она повалилась на уже накрытый стол, стаканы упали, разбились; поднявшись, она загородилась от него столом и, пока он гонялся за ней, стараясь ее схватить, выкрикивала ему прямо в лицо ужасные слова:

— Вы, барин, только уйдите из дому... нынче вечером... после обеда... и вернитесь невзначай... вот тогда увидите!.. Увидите, правду я говорила или врала!.. Вы, барин, только попробуйте... и увидите.

Она очутилась на пороге кухни и скрылась за дверью. Он погнался за ней, взбежал по черной лестнице до комнаты для прислуги, где она заперлась, и крикнул, стуча в дверь:

— Сейчас же вон из дому!

Она ответила из-за двери:

— Можете быть покойны. Через час меня здесь не будет.

Он медленно сошел вниз, цепляясь за перила, чтобы не упасть, и вернулся в гостиную, где Жорж сидел на полу и плакал.

Паран опустился в кресло и тупым взглядом посмотрел на ребенка. Он уже ничего не понимал, ничего не сознавал; он был оглушен, подавлен, ошеломлен, словно его ударили по голове; он с трудом вспоминал то страшное, что рассказала ему нянька. Потом мало-помалу рассудок его, словно взбаламученная вода, успокоился и прояснился, чудовищное разоблачение стало грызть ему сердце.

Жюли говорила так определенно, так убедительно, так уверенно, так искренне, что он не сомневался в ее правдивости, но он упорно не хотел верить в ее проницательность. Она могла ошибаться, ослепленная преданностью ему, подстрекаемая безотчетной ненавистью к Анриетте. Однако, по мере того как он старался успокоить и убедить себя, в памяти вставало множество ничтожных фактов: слова жены, взгляды Лимузена, множество неосознанных, почти незамеченных мелочей, поздние отлучки из дому, одновременное отсутствие обоих, даже жесты, как будто совсем незначительные, но странные,— он тогда не сумел их подметить, не сумел понять, а теперь они казались ему чрезвычайно значительными, свидетельствовали о сговоре между ними. Все, что было после помолвки, вдруг всплыло в его памяти, возбужденной и встревоженной. Он восстановил все: и необычные интонации и подозрительные позы; этого уравновешенного, доброго, недалекого человека мучили сомнения, и ему уже представлялось достоверным то, что пока еще могло быть только подозрительным.

С яростным упорством пересматривал он пять лет своей брачной жизни, стараясь вспомнить все, месяц за месяцем, день за днем, и каждая тревожная подробность впивалась ему в сердце, как осиное жало.

Он позабыл о Жорже, который замолк, сидя на ковре. Но, видя, что им никто не занимается, мальчик снова захныкал.

Отец бросился к нему, схватил на руки и покрыл поцелуями его голову. У него же остался ребенок! Какое значение имеет все остальное? Он держал своего сыночка, прижимал к себе, целовал его белокурые волосы, бормотал успокоенный, утешенный: «Жорж... сынок мой, дорогой мой сынок...» Но вдруг он вспомнил, что сказала Жюли!.. Она сказала, что ребенок от Лимузена... Нет, это невозможно! Нет... он никогда этому не поверит, ни на минуту не усомнится. Это подлая клевета, взлелеянная мелкой душонкой прислуги! Он повторил: «Жорж... дорогой мой сынок!» Отцовская ласка успокоила мальчика.

Паран чувствовал, как тепло маленького тельца через платье проникает к нему в грудь. Нежное детское тепло переполняло его любовью, решимостью, радостью; оно согревало, укрепляло, спасало его.

Он слегка отстранил от себя хорошенькую курчавую головку и с горячей любовью посмотрел на мальчика. Жадно, в самозабвении любовался он им и все повторял: «Сынок мой, милый сынок, Жорж!..»

И вдруг подумал: «А что, если он похож на Лимузена!..»

Он ощутил что-то странное, что-то ужасное, резкий холод во всем теле, во всех членах, словно все кости у него оледенели. О, если он похож на Лимузена!.. И Паран смотрел на Жоржа, совсем уже повеселевшего. Смотрел на него растерянным, затуманенным, обезумевшим взглядом и искал в линиях лба, носа, губ и щек что-нибудь напоминающее лоб, нос, губы или щеки Лимузена.

Мысли его путались, как в припадке безумия; и лицо ребенка менялось у него на глазах, приобретало странное выражение, неправдоподобное сходство.

Жюли сказала: «Слепому, и тому ясно». Значит, было что-то разительно, бесспорно похожее! Но что? Может быть, лоб? Возможно. Но у Лимузена лоб более узкий! Тогда рот? Но Лимузен носит бороду! Как усмотреть сходство между пухлым детским подбородком и подбородком мужчины?

Паран думал: «Я не понимаю, ничего не понимаю; я слишком взволнован; сейчас я ни в чем не разберусь... Надо повременить; посмотрю на него повнимательнее завтра утром, как только встану».

Потом у него мелькнула мысль: «Ну, а что, если он похож на меня? Ведь тогда я спасен, спасен!»

Он мигом очутился на другом конце гостиной и остановился перед зеркалом, чтобы сравнить лицо сына со своим.

Он держал Жоржа на руках так, чтобы лица

их были совсем рядом, и в смятении разговаривал вслух сам с собой: «Да, нос тот же... нос тот же... да, пожалуй... нет, я не уверен... И взгляд у нас тот же. Да нет же, у него глаза голубые... Значит... Господи боже мой!.. Господи боже мой!.. Я с ума сойду!.. Не могу больше смотреть... С ума сойду!..»

И он убежал подальше от зеркала, в противоположный угол гостиной, упал в кресло, посадил мальчика в другое и заплакал. Он плакал, тяжко и безутешно всхлипывая. Жорж услышал, как рыдает отец, и сам заревел с испугу.

Зазвонил звонок. Паран вскочил, как ужаленный. И пробормотал: «Это она... Что мне делать?..» Он побежал к себе в спальню и заперся, чтобы успеть хотя бы глаза вытереть. Но потом он опять вздрогнул от нового звонка; тут он вспомнил, что Жюли ушла, не предупредив горничную. Значит, дверь открыть некому. Что делать? Он пошел сам.

И вдруг он почувствовал смелость, решимость, способность скрывать и бороться. От пережитого им ужасного потрясения он за несколько минут стал зрелым человеком. А потом он хотел знать, хотел страстно, настойчиво, как умеют хотеть люди робкие и добродушные, когда их выведут из себя.

И все же он дрожал! От страха? Да... Может быть, он все еще боялся ее? Кто знает, сколько отчаявшейся трусости таится порою в отваге!

Он на цыпочках подкрался к двери и остановился, прислушался. Сердце его неистово колотилось. Он слышал только глухие удары у себя в груди да тоненький голосок Жоржа, все еще плакавшего в гостиной.

Тут над самой его головой опять раздался звонок, и он весь затрясся, как от взрыва; он нащупал замок, задыхаясь, изнемогая, повернул ключ и распахнул дверь.

Жена и Лимузен стояли перед ним на площадке.

Она сказала с удивлением, в котором сквозила некоторая досада:

— Ты уж и двери сам открываешь. А Жюли где?

Ему сдавило горло, он часто дышал, силился ответить и не мог произнести ни слова.

— Ты что, онемел? Я спрашиваю, где Жюли?

Он пробормотал:

— Она... она... она ушла.

Жена рассердилась:

— Как ушла? Куда? Зачем?

Он понемногу оправился и почувствовал, как в нем закипает острая ненависть к наглой женщине, стоящей перед ним.

— Да, ушла, ушла совсем... Я ее рассчитал...

— Ты ее рассчитал?.. Рассчитал Жюли?.. Да ты в уме ли?..

— Да, рассчитал, потому что она надерзила и потому... потому, что она обидела ребенка.

— Жюли?

— Да... Жюли.

— Из-за чего она надерзила?

— Из-за тебя.

— Из-за меня?

— Да... Потому что обед перестоялся, а тебя не было дома.

— Что она наговорила?..

— Наговорила... всяких гадостей по твоему адресу... Я не должен был... не мог слушать...

— Каких таких гадостей?

— Не стоит повторять.

— Я хочу знать!

— Она сказала, что такой человек, как я, на свою беду женился на такой женщине, как ты,— неаккуратной, ветреной, неряхе, плохой хозяйке, плохой матери и плохой жене...

Молодая женщина вошла в переднюю вместе с Лимузеном,— тот молчал, озадаченный неожиданной сценой. Она захлопнула дверь, бросила пальто на стул и, наступая на мужа, раздраженно повторила:

— Ты говоришь... ты говоришь... что я...

Он был очень бледен, но очень спокоен. Он ответил:

— Я, милочка, ничего не говорю; я только повторяю слова Жюли, ты ведь хотела их знать; и позволь тебе заметить, что за эти самые слова я и выгнал ее.

Она дрожала от безумного желания вцепиться ему в бороду, исцарапать щеки. В его голосе, в тоне, во всем поведении она уловила явный протест, но ничего не могла возразить и старалась перейти в наступление, уязвить его каким-нибудь жестоким и обидным словом.

— Ты обедал? — спросила она.

— Нет, я ждал тебя.

Она нетерпеливо пожала плечами.

— Глупо ждать после половины восьмого. Ты должен был понять, что меня задержали, что у меня были дела в разных концах города.

Потом ей вдруг показалось необходимым объяснить, на что она потратила столько времени. Пренебрежительно, в нескольких словах рассказала она, что выбирала кое-что из обстановки, очень, очень далеко от дома, на улице Рен, что, возвращаясь уже в восьмом часу, встретила Лимузена на бульваре Сен-Жермен и попросила зайти с ней в ресторан перекусить,— одна она не решалась, хотя и умирала с голоду. Таким образом, они с Лимузеном пообедали, хотя вряд ли это можно назвать обедом — чашка бульона и кусок цыпленка,— они очень торопились домой.

Паран ответил:

— Отлично сделала. Я тебя не упрекаю.

Тут Лимузен, до тех пор молчавший и стоявший позади Анриетты, подошел и протянул руку, пробормотав:

— Как поживаешь?

Паран взял протянутую руку и вяло пожал ее.

— Спасибо, хорошо.

Но молодая женщина прицепилась к одному слову в последней фразе мужа.

— Не упрекаешь... При чем тут упрек?.. Можно подумать, будто ты хочешь на что-то намекнуть.

Он стал оправдываться:

— Да вовсе нет! Я просто хотел сказать, что не беспокоился и нисколько не виню тебя за опоздание.

Она решила разыграть обиженную и сказала, ища предлога для ссоры:

— За опоздание?.. Право, можно подумать,

что уже бог знает как поздно н что я где-то пропадаю по ночам.

— Да нет же, мнлочка. Я сказал «опоздание», потому что не подыскал другого слова. Ты хотела вернуться в половине седьмого, а вернулась в половнне девятого. Это н есть опоздание! Я все отлично понял; я... я... я... даже не удивляюсь... Но... но... я не знаю... какое слово подыскать.

— Ты произносншь его так, словно я ночевала не дома...

— Да нет же... нет...

Она поняла, что его не вывестн из себя, н уже пошла было в спальню, но вдруг услышала рев Жоржа и встревожнлась:

— Что с мальчнком?

— Я же тебе сказал, что Жюлн его обндела.

— Что эта дрянь ему сделала?

— Да пустякн: она его толкнула, н он упал.

Она решнла сама взглянуть на сына н тороплнво вошла в столовую, но остановилась при внде залнтого вином стола, разбнтых графинов и стаканов, опрокинутых солонок.

— Что тут за разгром?

— Это Жюли, она...

Но Анриетта резко оборвала его:

— В конце концов это уже слншком! Жюли объявляет, что я потеряла всякий стыд, бьет моего ребенка, колотнт мою посуду, переворачнвает все в доме вверх дном, а тебе кажется, что так и надо.

— Да нет же... Ведь я ее рассчнтал.

— Скажите! Рассчитал!.. Да ее арестовать надо было. В такнх случаях вызывают полицню!

Он промямлил:

— Но, милочка... Да как же я мог... на каком основанни?.. Право же, это невозможно...

Она пожала плечамн с безграннчным презрением.

— Знаешь, что я тебе скажу: тряпка ты, тряпка, ннчтожный, жалкнй человек, безвольиый, бесснльный, беспомощный! Уж, верно, прнятных вещей наговорнла твоя Жюлн, раз ты посмел ее выгнать. Хотелось бы мне на вас взглянуть, хоть одиим глазком взглянуть.

Открыв дверь в гостнную, она подбежала к Жоржу, взяла его на руки, обняла, поцеловала.

— Что с тобой, котнк, что с тобой, голубчик мой, цыпонька моя?

Оттого, что мать прнласкала его, он успоконлся. Она повторнла:

— Что с тобой?

Жорж ответил, все перепутав с испугу:

— Зюлн папу побила.

Анриетта оглянулась на мужа сначала в недоуменин, затем ее глаза заискрились безудержным весельем, нежные щекн дрогнулн, верхняя губа прнподнялась, ноздри расшнрилнсь, и громкнй смех, серебрнстый н звонкнй, волной радости, как птичья трель, полнлся нз ее уст. Слова, которые она повторяла, взвнзгивая, сверкая злым оскалом зубов, так и впнвались в сердце Парана:

— Ха... ха... ха!.. По... по... побила тебя... Ха... ха... ха! Просто курам на смех... Лимузен, слышите? Жюлн его побнла... побнла... Жюли побила моего мужа... ха-ха-ха!.. Просто курам на смех!

Паран пробормотал:

— Да нет же... нет... Неправда... неправда... Совсем наоборот, это я вытолкал ее в столовую, да так, что она опрокинула стол. Мальчнк спутал, это я ее побил!

Анрнетта сказала сыну:

— Повтори, цыпонька. Жюлн побнла папу?

Он ответил:

— Да, Зюли побила.

Но внезапно, вспомнив о другом, она сказала:

— Да ведь мальчнк не обедал? Ты не кушал, мой маленький?

— Нет, мама.

Она накинулась на мужа:

— Да ты что, рехнулся, совсем рехнулся? Половнна девятого, а Жорж не обедал!

Он стал оправдываться, сбнтый с толку этой сценой, этнми объяснениями, подавленный крушением всей своей жнзнн.

— Но, милочка, мы тебя дожндались. Я не хотел обедать без тебя. Ведь ты всегда опаздываешь, я и думал, что ты вернешься с мнннуты на мнннуту.

Она швырнула на стул шляпу, которую до снх пор не сняла, и сказала возмущенным тоном:

— Просто невыносимо иметь дело с людьми, которые ничего не поннмают, не догадываются, как поступить, ни до чего не доходят своим умом! Ну, а еслн бы я в двенадцать ночн вернулась, так ребенок и остался бы ненакормленным? Точно ты не мог понять, что раз я не вернулась к половине восьмого, значит, у меня дела, что-то мне помешало, меня задержалн!..

Параи дрожал, чувствуя, как им овладевает гнев; но тут вмешался Лимузеи, обратившись к молодой жеищнне:

— Вы не правы, мой друг. Где же было Параиу догадаться, что вы так запоздаете, еслн обычио с вами этого не случается? А потом, как же вы хотнте, чтобы он одни со всем справился? Ведь ои выгнал Жюлн!

Но Анрнетта с раздраженнем ответила:

— Справляться ему так нли иначе придется, я помогать не буду. Пусть выпутывается, как хочет!

И она ушла к себе в спальню, уже позабыв, что сын ннчего не ел.

Лнмузеи броснлся помогать своему прнятелю. Он просто из кожн лез — подобрал и выиес осколкн, покрывавшие стол, расставнл приборы и усадил ребенка на высокий стульчик, пока Паран сходил за горничной и велел ей подавать. Та пршшла уднвленная: она была занята в детской и ничего не слыхала.

Она прннесла суп, пережаренную баранину, картофельное пюре.

Паран сел рядом с сыном в полном смятенин, не в снлах собраться с мыслямн после постнгшей его беды. Он кормнл ребенка и сам пытался есть, резал мясо, жевал, но глотал с трудом, словно горло у него было сдавлено.

И тут в его душе возннкло безумное желанне взглянуть на Лнмузена, сидевшего напротнв и катавшего хлебные шарикн. Ему хотелось посмотреть, похож лн Жорж на Лимузеиа. Но он не смел подиять глаза. Наконец решился и пристально

посмотрел на это лицо, которое хорошо знал, но сейчас как будто увидел впервые, настолько оно показалось ему иным, чем он ожидал. Он ежеминутно украдкой взглядывал на это лицо, стараясь запомнить малейшую морщинку, малейшую черточку, малейший оттенок выражения; потом переводил взгляд на сына, делая вид, будто уговаривает его кушать.

Два слова звенели у него в ушах: «Его отец! Его отец! Его отец!..» Они стучали у него в висках при каждом биении сердца. Да, этот человек, этот спокойный человек, сидевший на другой стороне стола,— быть может, отец его сына, Жоржа, его маленького Жоржа. Паран перестал есть, он больше не мог. Все внутри у него разрывалось от невыносимой боли, той боли, от которой люди воют, катаются по земле, кусают ножки стульев. Ему захотелось взять нож и всадить себе в живот. Это прекратило бы страдания, спасло его: наступил бы конец всему.

Как может он жить дальше? Как может жить, вставать утром, сидеть за столом, завтракать, ходить по улицам, ложиться вечером и спать ночью, раз его непрестанно будет точить одна мысль: «Лимузен — отец Жоржа!..» Нет, у него не хватит сил сделать хоть один шаг, не хватит сил одеваться, о чем-то думать, с кем-то говорить! Ежедневно, ежечасно, ежеминутно он будет задавать себе тот же вопрос, будет стараться узнать, отгадать, раскрыть эту ужасную тайну. И всякий раз, глядя на своего мальчика, на своего дорогого мальчика, он будет страдать от ужасных сомнений, его сердце будет обливаться кровью, душу истерзают нечеловеческие муки. Ему придется жить здесь, оставаться в этом доме, рядом с ребенком, и он будет и любить и ненавидеть его! Да, в конце концов он его непременно возненавидит. Какая пытка! О, если бы твердо знать, что Лимузен — отец Жоржа! Может быть, тогда ему удастся успокоиться, смириться со своим горем, со своей болью. Но не знать — вот что нестерпимо!

Не знать, вечно допытываться, вечно страдать, целовать этого ребенка, чужого ребенка, гулять с ним по улице, носить на руках, чувствовать на губах нежное прикосновение его мягких волосиков, обожать его и непрестанно думать: «Может быть, это не мой ребенок?» Лучше уж не видеть его, покинуть, бросить на улице или самому убежать далеко, так далеко, чтобы ни о чем больше не слышать, никогда, никогда!

Он вздрогнул, услыхав, как скрипнула дверь. Вошла Анриетта.

— Мне хочется есть,— сказала она,— а вам, Лимузен?

Лимузен, помедлив, ответил:

— Правду сказать, мне тоже.

И она приказала снова подать баранину.

Паран задавал себе вопрос: «Обедали они или нет? Может быть, их задержало любовное свидание?»

Теперь оба они ели с большим аппетитом. Анриетта спокойно смеялась и шутила. Муж следил и за нею, бросал быстрые взгляды и тут же отводил глаза. Она была в розовом капоте, отделанном белым кружевом; ее белокурая головка, свежая шея, полные руки выступали из этой кокетливой, пахнущей духами одежды, словно из раковины, обрызганной пеной. Что делали они целый день, она и этот мужчина? Паран представлял себе их в объятиях друг друга, шепчущих страстные слова! Как мог он ничего не понять, не отгадать правды, видя их вот так, рядом, напротив себя?

Как, должно быть, они смеялись над ним, если с первого дня обманывали его! Мыслимо ли так глумиться над человеком, порядочным человеком, только потому, что отец оставил ему кое-какие деньги? Почему нельзя прочесть в душах, что там творится? Как это возможно, чтобы ничто не раскрыло чистому сердцу обман вероломных сердец? Как можно тем же голосом и лгать и говорить слова любви? Как возможно, чтобы предательский взор ничем не отличался от честного?

Он следил за ними, подкарауливал каждый жест, каждое слово, каждую интонацию. Вдруг он подумал: «Сегодня вечером я их поймаю». И сказал:

— Милочка! Я рассчитал Жюли, значит, надо сегодня подыскать новую прислугу. Я сейчас пойду, чтобы найти кого-нибудь уже на завтра, с утра. Может быть, я немного задержусь.

— Ступай, я никуда не уйду. Лимузен составит мне компанию. Мы подождем тебя.

Затем она обратилась к горничной:

— Уложите спать Жоржа, потом уберете со стола и можете идти.

Паран встал. Он еле держался на ногах, голова кружилась, он шатался. Он пробормотал: «До свидания» — и вышел, держась за стенку,— пол уплывал у него из-под ног.

Горничная унесла Жоржа. Анриетта и Лимузен перешли в гостиную. Как только закрылась дверь, он спросил:

— Ты с ума сошла! Зачем ты изводишь мужа?

Она обернулась:

— Ах, знаешь, мне начинает надоедать, что с некоторых пор у тебя появилась манера изображать Парана каким-то мучеником!

Лимузен сел в кресло и, положив ногу на ногу, сказал:

— Я отнюдь не изображаю его мучеником, но считаю, что в нашем положении нелепо с утра до вечера делать все наперекор твоему мужу.

Она взяла с камина папироску, закурила и ответила:

— Я вовсе не делаю ему все наперекор, просто он раздражает меня своей глупостью... Как он того заслуживает, так я с ним и обращаюсь...

Лимузен нетерпеливо перебил:

— Нелепо так себя вести! Впрочем, женщины все на один лад! Да что же это такое! Превосходный человек, мягкий, добрый и доверчивый до глупости, ни в чем нас не стесняет, ни в чем не подозревает, дает нам полную свободу, оставляет в покое, а ты все время стараешься взбесить его и испортить нам жизнь!

Она повернулась к нему:

— Слушай, ты мне надоел! Ты трус, как и все мужчины! Ты боишься этого кретина!

Он в ярости вскочил:

— Хотел бы я знать, чем он тебе досадил и за

что ты на него сердишься? Что, он тебя тиранит? Бьет? Обманывает? Нет, это в конце концов невыносимо! Заставлять так страдать человека только потому, что он чересчур добр, и злиться на него только потому, что сама ему изменяешь!

Она подошла к Лимузену и, глядя ему в глаза, сказала:

— И ты меня упрекаешь в том, что я ему изменяю? Ты? Ты? Ты? Ну и подлая же у тебя душа!

Устыдившись, он стал оправдываться:

— Да я тебя ни в чем не упрекаю, дорогая, а только прошу бережнее обращаться с мужем, ведь нам обоим важно не возбуждать его подозрений. Неужели это непонятно?

Они стояли совсем рядом: он — высокий брюнет с бакенбардами, несколько развязный, какими бывают мужчины, довольные своей наружностью; она — миниатюрная, розовая и белокурая, типичная парижанка, полукокотка, полумещаночка, с малых лет привыкшая стрелять глазами в прохожих с порога магазина, где она выросла, и выскочившая замуж за случайно увлекшегося ею простодушного фланера, который влюбился в нее, видя ее ежедневно у дверей лавки утром, когда выходил из дому, и вечером, когда возвращался.

— Глупый! — говорила она.— Неужели ты не понимаешь, что ненавижу я его как раз за то, что он на мне женился, за то, что он меня купил; все, что он говорит, все, что он делает, все, что он думает, действует мне на нервы! Ежеминутно он раздражает меня своей глупостью, которую ты называешь добротой, своей недогадливостью, которую ты называешь доверчивостью, а главным образом тем, что он мой муж, он, а не ты! Я чувствую, что он стоит между нами, хотя он нас совсем не стесняет. И потом... потом... надо быть полным идиотом, чтобы ничего не подозревать! Лучше бы уж он ревновал. Бывают минуты, когда мне хочется ему крикнуть: «Осел! Да неужели ты ничего не видишь, неужели не понимаешь, что Поль — мой любовник?»

Лимузен расхохотался.

— Но пока что тебе лучше молчать и не нарушать нашего мирного существования.

— Будь спокоен, не нарушу. С таким дураком бояться нечего. Нет, я просто поверить не могу, что ты не понимаешь, как он мне противен, как он меня раздражает! У тебя всегда такой вид, будто ты его любишь, ты ему всегда искренне жмешь руку. Мужчины — странный народ.

— Дорогая моя, надо же уметь притворяться!

— Дело, дорогой мой, не в притворстве, а в чувстве. Вы, мужчины, обманываете друга и как будто от этого еще сильнее его любите; а нам, женщинам, муж делается ненавистен с той минуты, как мы его обманули.

— Не понимаю, чего ради ненавидеть хорошего человека, у которого отнимаешь жену?

— Тебе непонятно?.. Непонятно?.. Вам всем не хватает чуткости! Что делать! Есть вещи, которые чувствуешь, а растолковать не можешь. Да и не к чему... Ну да тебе все равно не понять! Нет в вас, в мужчинах, тонкости.

Улыбаясь чуть презрительной улыбкой развращенной женщины, она положила ему на плечи обе руки и протянула губы; он склонил к ней голову, сжал ее в объятиях, и губы их слились. И так как они стояли у камина перед зеркалом, другая, совершенно такая же чета поцеловалась в этом зеркале за часами.

Они ничего не слышали: ни звука ключа, ни скрипа двери; но вдруг Анриетта пронзительно вскрикнула, обеими руками оттолкнула Лимузена, и они увидели Парана, разутого, в надвинутой на лоб шляпе; бледный, как полотно, он смотрел на них, сжимая кулаки.

Он смотрел на них, быстро переводя взгляд с нее на него и обратно, не поворачивая головы. Он походил на сумасшедшего. Затем, не говоря ни слова, накинулся на Лимузена, сгреб его, стиснул так, будто хотел задушить, толкнул что было мочи, и тот, потеряв равновесие, размахивая руками, отлетел в угол гостиной и сильно ударился головой о стену.

Анриетта, поняв, что муж убьет любовника, бросилась на Парана, впилась ему в шею всеми своими десятью тонкими розовыми пальцами и сжала горло с отчаянной силой обезумевшей женщины так, что кровь брызнула у нее из-под ногтей. Она кусала его в плечо, словно хотела в клочья разорвать его зубами. Задыхаясь, изнемогая, Паран выпустил Лимузена, чтобы стряхнуть жену, вцепившуюся ему в шею, и, схватив ее за талию, отбросил в другой конец гостиной.

Потом он остановился между ними обоими, отдуваясь, обессилев, не зная, что делать: он был вспыльчив, но отходчив, подобно всем добрякам, и быстро выдыхался, подобно всем слабым людям. Его животная ярость нашла выход в этом порыве — так вырывается пена из откупоренной бутылки шампанского,— и непривычное для него напряжение разрядилось одышкой. Как только к нему вернулся дар речи, он пробормотал:

— Убирайтесь... убирайтесь оба... Убирайтесь сейчас же!

Лимузен стоял в углу, точно прилипнув к стене, ничего не понимая — так он был озадачен, боясь пошевелить пальцем — так он был перепуган. Анриетта, растрепанная, в расстегнутом лифе, с обнаженной грудью, оперлась обеими руками на столик, вытянула шею, насторожившись, как зверь, готовый к прыжку.

Паран повторил громче:

— Сейчас же убирайтесь вон... Сейчас же!

Видя, что первая вспышка улеглась, жена осмелела, выпрямилась, шагнула к нему и сказала уже наглым тоном:

— Ошалел ты, что ли?.. Какая муха тебя укусила?.. Что за безобразная выходка?..

Он обернулся к ней, поднял кулак, чтобы ее ударить, и выкрикнул, заикаясь:

— О... о... это... это... уж слишком! Я... я... я... все слышал... все... все!.. Понимаешь?.. Все! Подлая!.. Подлая!.. Оба вы подлые!.. Убирайтесь!.. Оба... сейчас же!.. Убью!.. Убирайтесь!..

Она поняла, что все кончено, что он знает, что ей не вывернуться и надо покориться. К ней вернулась ее обычная наглость, а ненависть к мужу, дошедшая теперь до предела, подстрекала ее к дерзким выпадам, вызывала желание держать

себя вызывающе, бравировать своим положением.

Оиа сказала звоиким голосом:

— Идемте, Лимузеи! Раз меия гонят, пойду к вам.

Но Лимузеи ие троиулся с места. Параи в иовом порыве гиева закричал:

— Да убирайтесь же!.. Убирайтесь! Подлые!.. Не то... Не то...

Ои схватил стул и стал вертеть им иад головой.

Тогда Аириетта быстро перебежала гостииую, взяла любовника под руку, оторвала его от стеиы, к которой ои будто прирос, и потащила к двери, повторяя:

— Идемте, мой дорогой, идемте... Вы же видите, что это сумасшедший... Идемте!..

Уже выходя, оиа огляиулась иа мужа, придумывая, как бы еще ему досадить, прежде чем покииуть его дом, что бы еще изобрести такое, что раиило бы его в самое сердце. И вдруг ей пришла мысль, ядовитая, смертоиосиая мысль, порождеииая жеиским коварством.

Оиа сказала решительиым тоиом:

— Я хочу забрать моего ребеика.

Ошеломлеииый Паран пролепетал:

— Твоего... твоего... ребеика? Ты смеешь говорить о твоем ребеике?.. Ты смеешь... смеешь требовать твоего ребеика... после... после всего... О, о, это уж слишком! Ты смеешь? Убирайся вои, мерзавка! Убирайся вон!..

Оиа подошла к иему вплотную, улыбаясь, чувствуя себя уже почти отомщеиной, и прямо в лицо ему вызывающе крикнула:

— Я хочу забрать моего ребеика... и ты ие имеешь права ие дать мие его, потому что ои не от тебя... Понимаешь, понимаешь?.. Он не от тебя... Ои от Лимузеиа.

Параи в отчаянни выкрнкиул:

— Лжешь... Лжешь... Подлая!

Но она не унималась:

— Дурак! Все это знают, один ты ие зиаешь. Говорю тебе: вот его отец. Достаточио посмотреть...

Параи, шатаясь, отступал перед ней. Потом вдруг огляиулся, схватил свечу н бросился в соседиюю комнату.

Воротнлся ои почти тут же, неся иа руках Жоржа, завернутого в одеяло. Внезапио разбужеииый ребенок нспугался н плакал. Паран бросил его иа руки жеие и, ие прибавнв ии слова, грубо вытолкал ее за дверь иа лестиицу, где — из осторожностн — ее дожидался Лимузеи.

Затем ои закрыл дверь, повериул два раза ключ в замке и задвииул засов. Едва успев войти в гостииую, ои тяжело рухнул на пол.

II

Параи стал жить одии, совсем одии. Первое время после разрыва иовизиа одинокого существоваиия отвлекала его от дум. Он снова зажил холостяком, вериулся к прежиим привычкам, флаиировал по улицам, обедал в ресторане. Желая избежать скаидала, он выплачивал жеие через иотариуса определеииую сумму. Но мало-помалу воспоминаиие о ребенке стало его преследовать. Часто по вечерам, когда ои сидел дома одии, ему вдруг чудилось, будто Жорж зовет его: «Папа». Сердце у иего иачинало усилеиио биться, и ои спешил открыть дверь иа лестиицу и поглядеть: уж ие вериулся ли домой его мальчик? Ведь мог же ои вериуться, как возвращаются собаки или голуби. Почему ие быть инстиикту у ребенка, раз он есть у животиых?

Убедившись в своей ошибке, он сиова усаживался в кресло и думал о сыие. Ои думал о нем часами, думал целыми диями. Тоска его была не только душевной, это была, пожалуй, даже больше тоска физическая, чувствеииая, иервиая потребиость целовать сыиа, обиимать, тискать его, сажать к себе иа колеии, возиться с иим, подбрасывать его к потолку. Ои томился жгучими воспомииаииями о былых радостях. Ои ощущал детские ручоики вокруг своей шеи, губки, чмокающие его в бороду, волосики, щекочущие щеку. Жажда этих исчезиувших сладостиых ласк, жажда ощутить губами мягкую, теплую и иежиую кожу сводила его с ума, как тоска о любимой жеищиие, ушедшей к другому.

На улице ои вдруг вспоминал, что его сын, его бутуз Жорж мог бы сейчас быть с иим, семеиить рядом детскимн своими иожоиками, как прежде, когда оии ходилн гулять, и ои прииимался плакать. Он возвращался домой и, закрыв лицо руками, рыдал до вечера.

Двадцать раз, сто раз на дию задавал себе Паран все тот же вопрос: чей сыи Жорж, его или ие его? Думы об этом обступалн его главиым образом по иочам. Как только ои ложился в постель, ои иачииал выстраивать тот же ряд безиадежных доводов.

Виачале, после ухода жеиы, он уже ие сомиевался: коиечио, ребеиок ие его, а Лимузеиа. Потом его увереииость была поколеблеиа. Слова Аириетты, разумеется, ие имели иикакой цеиы. Оиа хотела сделать ему больио, довести его до отчаяиня. Здраво обсуждая все доводы «за» и «против», ои приходнл к выводу, что оиа могла и солгать. Одии только Лимузен, пожалуй, сказал бы правду. Но как узиать, как спросить его, как склонить к призиаиию?

Иногда Параи вскакивал среди ночи, твердо решив сейчас же пойти к Лимузеиу, умолить его, дать ему все, чего тот ии пожелает, только бы положить коиец ужасиым мукам. Потом сиова укладывался в постель, в полиом отчаяиии от мысли, что любовиик тоже, верио, будет лгать. Даже обязательио будет лгать, чтобы настоящий отец ие мог взять к себе сыиа.

Что же оставалось делать? Ничего!

И ои упрекал себя в том, что ускорнл события, что не подумал обо всем, ие запасся терпением, не сумел выждать, притворяться месяц-другой н во всем удостовериться собствеииыми глазами. Надо было прикииуться, будто иичего ие подозреваешь, и предоставить им возможиость понемиогу выдать себя. Достаточио было бы посмотреть, как Лимузеи целует мальчика, чтоб догадаться, чтобы поиять. Друг не целует так, как

отец. Он мог бы подглядеть за ннмн в щелочку! Как ему это не пришло в голову? Если Лимузеи, оставшись с Жоржем, ие схватнл бы мальчика, не сжал в объятиях, ие покрыл страстиыми поцелуямн, а равнодушио смотрел бы, как тот играет, все сомнення исчезли бы: значит, он не отец, не счнтает, не чувствует себя отцом.

Тогда он, Параи, выгнал бы мать, но сохраиил сына и был бы счастлив, вполне счастлив.

Ои ворочался в постели, облнваясь потом, мучительно стараясь припомннть, как держал себя Лимузен с мальчиком. Но ои ничего не мог восстановнть в памятн, абсолютно ннчего: ни подозрительного жеста, нн взгляда, нн слова, ни ласки. Да н мать тоже совсем не занималась ребенком. Будь он от любовиика, верно, она любила бы его сильнее.

Зиачнт, его разлучили с сыном нз мести, из жестокости, чтобы наказать за то, что ои их поймал.

И ои собнрался чуть свет обратнться к властям и потребовать, чтобы ему вериулн его Жоржа.

Но как только он прниимал такое решеине, им снова овладевала увереиность в обратном. Раз Лнмузен с первого дня был любовииком Аириетты, любовнником, любимым ею, значнт, она отдавалась ему с такнм порывом, с таким самозабвеиием, с такой страстью, что нензбежно должиа была стать матерью. Ведь при той холодной сдержанностн, которую оиа виоснла в супружескне отношения с иим, Параном, она вряд ли могла зачать от иего ребеика!

Тогда, стало быть, он вытребует, будет держать прн себе, будет растить н холнть чужого ребенка. Всякнй раз, когда ои посмотрит на мальчика, поцелует, услышит, как тот лепечет «папа», его будет точнть мысль: «Он не мой сыи». И самому обречь себя на эту ежедиевную пытку, иа эти вечиые муки? Нет, лучше остаться в одиночестве, жить в одииочестве, состарнться в одииочестве н умереть в одииочестве.

Каждый деиь, каждую иочь одолевалн его все те же жестокне сомиеиия и страдания, от которых не было ни отдыха, нн спасення. Особенно опасался он наступающей темноты, печальиых сумерек. Тогда на сердце его дождем падала тоска, он знал, что вместе с мраком нахлынет на иего волиа отчаяння, затопнт, лншит разума. Он страшился своих мыслей, как страшатся злоумышлеиника, он бежал от них, словио затравлеиный зверь. Особенно опасался ои своей пустой квартнры, такой темиой, такой жуткой, н безлюдиых улнц, где горят редкие газовые фоиари н где, заслышав нздалн одинокого прохожего, пугаешься его, как бродягн, н невольно замедляешь или ускоряешь шаг, смотря по тому, идет ли он навстречу илн следом за тобой.

И Паран, сам того не замечая, не отдавая себе отчета, сворачивал иа большие улицы, освещенные и миоголюдиые. Свет и толпа манили его, заннмали, помогали ему рассеяться. Затем, когда он уставал бродить, толкаться в людском водовороте и видел, как поиемногу редеет поток прохожих, как иа тротуарах стаиовится свободиее, боязнь одиночества и тишииы загоияла его в какое-нибудь большое, ярко освещеиное кафе, где всегда полно народа. Он шел туда, как мухн летят иа огоиь, садился за круглый столик и заказывал кружку пива. Он медленно потягивал его, огорчаясь каждый раз, как вставал и уходил ктонибудь нз посетителей. Ему хотелось взять его за рукав, удержать, попросить посидеть еще немиого, до того боялся он мниуты, когда гарсон, подойдя к нему, сердито скажет: «Пора, сударь, уже закрываем!»

И каждый вечер ои уходил последиим. Он видел, как сдвигают столнкн, как гасят одии за другнм газовые рожкн, за исключением двух — над его столнком и иад стойкой. Ои с тоской следил, как касснрша пересчнтывает и запирает в ящнк дневиую выручку, и уходил, подгоняемый шепотом прнслуги: «К месту он прирос, что лн? Будто ему н переиочевать иегде!»

Очутившись одии, на темиой улице, ои сейчас же вспомииал о Жорже н сиова ломал себе голову, думал и передумывал, отец ои ему илн нет.

Поиемиогу ои обжился в пнвной, где, постояиио толкаясь среди завсегдатаев, привыкаешь к их безмолвиому присутствию, где плотиый табачный дым усмиряет тревогн, где от густого пива тяжелеет мозг и успокаивается сердце.

Ои, можно сказать, поселился там. Шел туда с самого утра, чтобы поскорее очутиться на людях, чтобы было на ком остаиовить взгляд н мысль. Затем, облеиившись и тяготясь лншией ходьбой, ои и столоваться начал там. В полдеиь стучал блюдцем по мраморному столику, н гарсои быстро прииосил тарелку, стакаи, салфетку н дежуриое блюдо иа завтрак. Кончив есть, ои медлеино пил кофе, глядя на графинчик со спнртным и предвкушая часок полного забвення. Сначала он чуть пригубливал коньяк, как бы желая только отведать его, смакуя приятиую жидкость коичиком языка. Потом, запрокинув голову, по капле цедил коньяк в рот, медлеиио ополаскивая крепким напитком нёбо, десиы, всю слизистую оболочку, что вызывало слюну. С благоговейной сосредоточеииостью глотал ои напиток, разбавлениый слюной, чувствуя, как жгучая влага течет по пнщеводу до самого желудка.

После еды ои в теченне часа выпнвал трнчетыре рюмкн, потягнвая коньяк маленькнмн глоточками, и постепеино впадал в дремотное состояиие. Голова клоиилась к животу, глаза слнпались, и ои засыпал. Очнувшнсь в середиие дия, он сейчас же протягивал руку к кружке с пивом, которую гарсон ставил на столик, пока ои спал. Выпнв, ои приподнимался с красиой бархатной скамейки, подтягнвал брюки, одергивал жнлет, чтобы прикрыть выгляиувшую белую полоску сорочки, отряхивал воротннк пнджака, вытаскнвал нз рукавов маижеты н снова прнннмался за изучение газет, уже прочитаиных утром. Ои опять чнтал их от первой до последней строки, ие пропуская реклам, спроса и предложеиия труда, объявлеиий, биржевого бюллетеия и репертуара театров.

От четырех до шестн он шел погулять по бульварам, «проветриться», как ои говорил; затем

опять возвращался на свое место, которое сохраиялось за ннм, и заказывал абсеит.

Ои беседовал с завсегдатаямн пивиой, с которымн позиакомнлся. Онн обсуждали новостн дия, пронсшествня, политические событня. В пивной он досижнвал до обеда. Вечер проходил так же, как и.день,— до закрытня пивной. Это была для него самая ужасная минута. Волей-неволей надо было возвращаться в темноту, в пустую спальию, где гиездилнсь страшиые воспомниания, мучительиые мыслн и тревогн. Со старымн друзьямн ои ие видался, ие видался и с родиыми, ие видался ии с кем, кто мог бы напомнить ему прежнюю жнзиь.

Квартира стала для него адом, н ои сиял комиату в хорошей гостинице, прекрасиую комнату в бельэтаже, чтобы можно было глядеть на прохожих. Здесь, в этом большом общем жилище, он был не одииок; ои чувствовал, что вокруг копошатся люди, слышал голоса за стеиой; если же постланиая на иочь постель н догорающий камин опять иагоияли иа иего мучительную тоску, ои выходнл в широкий коридор н, словио часовой, шагал мимо закрытых дверей, с грустью посматривая на ботиикн,— две пары перед каждой дверью,— на изящиые дамские ботинки, прильиувшие к тяжелым мужским; и он думал, что все эти люди, верно, счастливы и сладко спят, рядышком или обиявшись, в жаркой постелн.

Так прошло пять лет, пять хмурых лет, без всяких событнй, если не считать случайиой любви, куплениой на два часа за два лундора.

И вот как-то, когда он совершал свою обычиую прогулку от церкви Магдалиины до улицы Друо, он вдруг заметил жеищину, походка которой чем-то поразила его. С ией были высокнй мужчииа и ребенок. Все трое шли впереди него. Ои задавал себе вопрос: «Где же я вндел этнх людей?» И вдруг по движению рукн ои узнал ее: это была его жеиа, его жеиа с Лимузеном н его сыиом, его малеиьким Жоржем.

Он еле переводил дух — так сильно билось у него сердце; ио ои ие остановился, ему хотелось взглянуть иа иих, и ои пошел следом. Казалось, это была семья, добропорядочиая буржуазиая семья. Аирнетта шла под руку с Полем н тихо что-то говорила, времеиами посматривая на него. Тогда Парану был виден ее профиль. Он узнавал нзящные черты ее лица, двнженне губ, улыбку, ласковый взгляд. Но особенно волновал его ребенок. Какой ои большой, крепкнй! Парану не видно было лнца, он видел только длииные белокурые волосы, локоиами падающие иа шею. Этот высокнй мальчуган с голыми икрами, этот малеиький мужчнна, шагавший рядом с матерью,— Жорж!

Они остаиовились перед магазиииом, и ои вдруг увндел всех троих разом. Лнмузен поседел, постарел, похудел; жена, наоборот, расцвела и раздобрела; Жоржа нельзя было узиать — так он измеиился!

Они пошли дальше. Паран снова двииулся следом. Потом быстро перегиал их, вериулся и посмотрел вблнзи, прямо нм в лнцо. Проходя мимо мальчика, ои вдруг ощутнл желание, безумиое желанне схватить его иа руки н уиести. Будто случайно, ои задел его. Мальчуган обериулся и иедовольно взглянул иа неловкого прохожего. И Паран убежал, поражеииый, преследуемый, раненный этим взглядом. Ои убежал, точно вор, в невероятиом страхе, как бы жеиа и ее любовник ие увнделн и ие узналн его. Не передохиув, добежал ои до своей пнвиой и, запыхавшись, упал на стул.

В этот вечер он выпил три рюмки абсеита.

Четыре месяца ие заживала в его сердце рана от этой встречи. Каждую иочь они синлнсь ему все трое: отец, мать н сыи, счастлнвые, спокойиые, гуляющие по бульвару перед тем, как идти обедать домой. Эта иовая картииа заслоинла прежнюю. Теперь это было что-то иное, иное внденне, а с ннм н ииая боль. Жорж, его сыиочек Жорж, которого ои так любнл, так лелеял когда-то, исчез в далеком и иавсегда ушедшем прошлом. Ои видел нового Жоржа, будто брата первого, мальчика с голыми икрамн, который не зиал его, Парана! Он ужасио страдал от этой мысли. Любовь мальчика умерла; связь между нимн оборвалась; ребеиок, увндя его, не протянул к иему рук, а даже сердито покосился на иего.

Но мало-помалу сердце Параиа снова успокоилось; душевиые муки утнхли. Картнна, представшая его глазам, преследовавшая его целыми иочами, потускиела, стала возиикать реже. Он опять зажнл как многие, как все те бездельннки, что пьют пнво за мраморными столиками и до дыр проснжнвают брюки на скамейках, обнтых потертым бархатом.

Он состарнлся в дыму трубок, облысел под светом газовых рожков, стал почитать за событне ванну раз в иеделю, стрижку волос два раза в месяц, покупку нового костюма нли шляпы. Если ои приходнл в свою пивную в новой шляпе, то раиьше, чем сесть за столик, долго разглядывал себя в зеркало, иадевал и снимал ее несколько раз подряд, примерял иа все лады, а потом спрашивал свою приятельиицу буфетчицу, которая с иитересом смотрела иа него: «Как по-вашему, шляпа мне к лнцу?»

Два-трн раза в год он бывал в театре, а летом проводил иногда вечер в кафешаитаие иа Елнсейских полях. Неделями потом звучали у него в ушах мотивы, выиесеиные оттуда, н, сидя за кружкой пива, ои даже напевал их, отбивая такт иогой.

Шли годы — медлеииые, одиообразиые и короткне, потому что они иичем ие были заполиеиы.

Ои не чувствовал, как оии скользят мимо. Он подвигался к смерти, ие суетясь, ие волнуясь, сидя за столнком в пнвиой, н только большое зеркало, к которому прислоиялась его лысеющая с каждым дием голова, отмечало работу времени, проносящегося, убегающего, пожнрающего людей, жалкнх людей.

О тягостиой драме, разбившей его жнзнь, думал он теперь редко,—ведь с того страшиого вечера прошло двадцать лет.

Но существование, которое ои сам себе создал после этого, подорвало его здоровье, ослабило, истощило его, и хозяин пивиой — шестой по счету с тех пор, как ои стал там завсегдатаем,—

частенько убеждал его: «Хорошо бы вам встряхнуться, господин Паран, подышать свежим воздухом, съездить за город; право, за последние месяцы вас узнать нельзя».

И когда посетитель уходил, хозяин делился своими соображениями с кассиршей: «Бедный господин Паран! Плохо его дело. Вредно для здоровья вечно сидеть в Париже. Посоветуйте ему съездить разок-другой в деревню, покушать рыбы, вас он послушается. Скоро лето, это ему на пользу пойдет».

И кассирша, благоволившая к постоянному клиенту и жалевшая его, каждый день твердила Парану: «Послушайте, сударь, выберитесь подышать свежим воздухом! Летом в деревне так хорошо! Ох, будь моя воля, всю бы жизнь там провела!»

И она делилась с ним своими грезами, поэтичными, незатейливыми, как у всех бедных девушек, которые круглый год безвыходно сидят в лавке и наблюдают в окно шумную и показную уличную жизнь, а сами мечтают о мирной, тихой сельской жизни, среди полей и деревьев, под ярким солнцем, заливающим и луга, и леса, и прозрачные реки, и коров, лежащих на траве, и пестрые цветы, растущие на воле,—голубые, красные, желтые, фиолетовые, лиловые, розовые, белые, такие милые, такие свежие, такие душистые полевые цветы, которые срываешь на прогулке и собираешь в большие букеты.

Ей доставляло удовольствие говорить с ним о давнишней своей мечте, неосуществленной и неосуществимой, а ему, одинокому старику, ничего не ждущему от жизни, доставляло удовольствие ее слушать. Теперь он садился поближе к стойке, чтобы поболтать с мадмуазель Зоэ, потолковать с ней о деревне. И понемногу в нем затеплилось смутное желание самому убедиться, правда ли так уж хорошо, как она говорит, за стенами большого города.

— Как вы думаете, где в окрестностях Парижа можно хорошо позавтракать?— спросил он ее однажды утром.

Она ответила:

— Поезжайте на «Террасу» в Сен-Жермен, там так красиво!

Когда-то, будучи женихом, он туда ездил. И решился опять побывать там.

Он выбрал воскресенье, без всякой особой причины, просто потому, что обычно все ездят за город по воскресеньям, даже если ничем не заняты всю неделю.

Итак, он отправился в воскресенье утром в Сен-Жермен.

Это было в начале июля; день стоял солнечный и жаркий. В вагоне, сидя у окна, он смотрел, как бегут мимо деревья и смешные домишки парижских окраин. Ему было грустно, он досадовал на себя, что поддался соблазну, нарушил свои привычки. Ему наскучил меняющийся, но однообразный пейзаж. Хотелось пить; на каждой станции его тянуло выйти, зайти в кафе, видневшееся позади вокзала, выпить кружки две пива и с первым же поездом вернуться в Париж. И дорога казалась ему долгой, очень долгой. Обычно он целыми днями сидел в пивной, а перед глазами были все те же предметы, незыблемо стоявшие все на тех же местах; но сидеть и в то же время перемещаться, видеть, что все вокруг движется, а сам ты неподвижен, было утомительно, и это раздражало его.

Правда, каждый раз, как он переезжал через Сену, река привлекала его внимание. Под мостом Шату он увидел гички и гребцов с засученными рукавами, быстро гнавших лодки сильными взмахами весел, и он подумал: «Вот кому, верно, не скучно!»

Длинная лента реки, развернувшаяся по обе стороны Пекского моста, пробудила где-то в глубине его сердца смутное желание погулять по берегу. Но поезд вошел в туннель перед Сен-Жерменским вокзалом и вскоре остановился у платформы.

Паран вышел и усталой, тяжелой походкой, заложив руки за спину, направился к «Террасе». Он остановился у железной балюстрады, чтобы полюбоваться пейзажем. Перед ним раскинулась широкая, словно море, зеленая равнина, усеянная большими деревнями, многолюдными, как города. Белые дороги перерезали обширное пространство, кое-где виднелись рощи, блестели серебром пруды Везине, и в легкой, синеватой дымке едва вырисовывались далекие холмы Саннуа и Аржантейля. Жгучее солнце заливало ярким светом весь беспредельный простор, еще затянутый утренним туманом, испарениями нагретой земли, подымавшимися чуть заметным маревом, и влажным дыханием Сены, которая нескончаемой змеей извивается по долине, опоясывает селения и огибает холмы.

Теплый ветерок, пропитанный запахом зелени и древесных соков, ласкал лицо, проникал в легкие и, казалось, молодил сердце, веселил дух, будоражил кровь.

Приятно удивленный, Паран вдыхал его полной грудью, любуясь открывавшимися перед ним далями; он пробормотал: «А здесь неплохо».

Затем сделал несколько шагов и опять остановился, чтобы посмотреть еще. Ему казалось, будто перед ним открывается нечто, дотоле незнакомое, не то, что видели его глаза, но то, что предвосхищала душа: нежданные события, неизведанное счастье, неиспытанные радости, такие горизонты жизни, о которых он не подозревал и которые вдруг явились ему среди этого безграничного сельского простора.

Гнетущая тоска его одинокого существования предстала перед ним, как бы освещенная ярким солнцем, заливавшим землю. Он увидел два десятилетия, проведенные в кафе, тусклые, однообразные, унылые. А ведь он мог бы путешествовать, как другие,—поехать далеко-далеко, в чужие страны, в неведомые земли, за море, мог бы заинтересоваться тем, что увлекает других, искусством, наукой, мог бы любить жизнь во всем ее многообразии, таинственную жизнь, чарующую и мучительную, вечно изменчивую, непонятную и захватывающую.

Теперь уже было поздно. Так, за кружкой пива, и дотянет он до смерти — без семьи, без дру-

зей, без иадежды, без ннтереса к чему бы то ии было. Его охватила безысходиая тоска н желание убежать, спрятаться, вернуться в Парнж, к себе в пивную, к прежней своей спячке. Все мысли, все мечты, все желаиия, ленние дремлющие иа дне вялых сердец, проснулись в нем: их растревожил этот солиечиый свет, льющийся иад равииной.

Он почувствовал, что сойдет с ума, если долго простоит здесь одии, н поспешил к павильону Генриха IV, чтобы позавтракать, забыться за вином, за спиртными напитками, чтобы перекинуться с кем-нибудь хоть словом.

Он сел за столик под деревьями, откуда открывался широкий вид, заказал завтрак и попросил подать его поскорее.

Подходили другие посетители, садились за соседние столики. Он чувствовал себя лучше: ои был ие один.

В беседке завтракали трое. Он несколько раз смотрел иа иих иевидящим взглядом, как смотрят на посторонних.

Вдруг ои весь вздрогнул от звука женского голоса.

Женщииа сказала:

— Жорж! Разрежь цыплеика.

В ответ послышался другой голос:

— Сейчас, мама.

Параи поднял глаза; и тут ои поиял, догадался, кто были эти люди. Ои бы, коиечио, ие узиал их. Жеиа его поседела, сильио располиела, стала строгой и почтеииой дамой; она ела, вытягивая шею, потому что боялась закапать платье, хотя и прикрыла бюст салфеткой. Жорж стал настоящим мужчиной. У него пробивалась бородка. Редкая, почти бесцветная бородка, тот пушок, что вьется на щеках юношей. Он был в цилиндре, в белом пикейиом жилете, с моноклем — верно, для шику. Паран смотрел иа иего и поражался. Это Жорж, его сын? Нет, он не зиал этого молодого человека, между ними ие могло быть иичего общего.

Лимузен сидел спииой к нему и ел, слегка сгорбившись.

Итак, эти трое людей казались счастливыми и довольными; они ездили за город, завтракали в дорогих ресторанах. Спокойио и мирио прожили они жизнь, прожили по-семейному, в удобной квартире, теплой и уютиой, уютиой от всех тех мелочей, что скрашивают жизнь, от иежных зиаков внимания, от ласковых слов, столь частых в устах людей, которые любят друг друга. Прожили оии так благодаря ему, Парану, на его деньги, после того как обманули, обокрали, погубили его! Они обрекли его, ни в чем не виноватого, простодушного, кроткого, на тоску одиночества, на гнусное прозябание между улицей и стойкой кафе, на все душевные муки и физические недуги! Они превратили его в никому не нужное существо, потерянное, не нашедшее себе места в жизни, в жалкого старика, которому нечему радоваться, не на что надеяться, нечего ждать — ниоткуда и ни от кого. Для него Земля была пустыней, потому что он ничего не любил на Земле. Он мог изъездить все страны, исходить все улицы, обойти все дома в Париже, открыть все двери, но ни за одной дверью не нашел бы он желаииого, дорогого лица, лица женщины или ребеика, которое улыбнулось бы ему навстречу. Особенно мучила его эта мысль, мысль о двери, открыв которую увидишь и поцелуешь любимое существо.

И все по вине этих трех дряииых людей! По вине иедостойной жеищииы, иеверного друга и высокого белокурого юиоши, уже усвоившего надменные замашки.

Теперь он сердился ие только на них обоих, но и иа сыиа! Ведь это же сыи Лимузена. В противиом случае разве стал бы Лимузен воспитывать его, любить? Ведь Лимузеи очень скоро бросил бы и мать и ребенка, если бы не был уверен, твердо увереи, что ребеиок от иего. Кто стаиет воспитывать чужих детей?

Итак, вот оии, тут, рядом — эти три злодея, что причиинли ему столько страданий.

Паран смотрел иа них, закипая гиевом, возмущаясь при воспомииаиии о всех своих муках, о своей тоске, своем отчаянии. Особеиио раздражал его их спокойиый, довольиый вид. Ему хотелось их убить, бросить в иих бутылкой из-под сельтерской, раскроить голову Лимузеиу, который то и дело иаклоиялся к тарелке и тут же выпрямлялся.

Что ж, оии и дальше будут так жить, не зная забот и тревог? Нет, иет. Довольио! Всему есть предел! Ои отомстит. И отомстит сейчас же, раз оии тут, рядом. Но как? Ои придумывал, изобретал всякие ужасы, вроде тех, что описывают в газетных фельетонах, ио не находил иичего мало-мальски осуществимого. И он пил рюмку за рюмкой, чтобы возбудить себя, собраться с духом, чтобы ие упустить такого случая, который, коиечио, никогда больше не представится.

Вдруг ему пришла в голову мысль, страшная мысль: он даже перестал пить, чтобы ее обдумать. Усмешка морщила его губы; он шептал: «Оии у меия в руках, они у меня в руках. Увидим. Увидим».

Гарсои спросил его:

— Чего еще прикажете?

— Ничего. Кофе и коньяку, самого лучшего.

Он смотрел на них, пропуская рюмку за рюмкой. Здесь, в ресторане, было слишком людно для того, что он задумал: значит, надо подождать, выйти следом за ними; они, конечно, пойдут гулять на «Террасу» или в лес. Когда оии иемиого отдалятся, он их догонит, и тут он отомстит, да, отомстит! Пора, после двадцати трех лет мучений! О, они не подозревают, что их ждет!

Они неторопливо доедали завтрак и мирно беседовали. Парану не слышио было слов, но он видел их спокойные движения. Особенно раздражало его лицо жены. У нее появилось высокомерное выражение благополучной ханжи, неприступной ханжи, облекшейся в броню строгих правил, в доспехи добродетели.

Они заплатили по счету и поднялись. Тут он рассмотрел Лимузена. Его можно было принять за дипломата в отставке,—такой важный вид придавали ему холеные седые бакенбарды, концы которых лежали на лацканах сюртука.

Оии вышли. Жорж закурил сигару, сдвинув

цилиндр на затылок. Паран поспешил за ннмн следом.

Сперва они обошлн террасу, мирно полюбовалнсь вндом, как любуются сытые люди, потом направнлнсь в лес.

Паран потирал руки; он шел за ними поодаль, прячась, чтобы не привлечь раньше времени их внимания.

Они шли медленно, наслаждаясь зеленью н теплом. Анрнетта опиралась на руку Лимузена, велнчаво выступая рядом с ннм, как подобает верной н гордящейся этим супруге. Жорж сбивал тросточкой лнстья и время от времени легко перепрыгнвал через прндорожную канаву, как молодой норовистый конь, который вот-вот ускачет в кусты.

Паран потихоньку приблнжался, задыхаясь от волнення и усталости: он отвык от ходьбы. Вскоре он догнал их, но его охватил страх, смутный, необъяснимый страх, и он прошел вперед, чтобы вернуться н встретиться с ними лицом к лицу.

Он шел, и сердце у него громко стучало — ведь онн здесь, позадн него; и он мысленно повторял: «Ну, теперь пора; смелей, смелей! Пора!»

Он обернулся. Они сиделн на земле под большим деревом н беседовали.

Тогда он решился н быстро двинулся к ним. Остановившись посредн дороги, он выговорил прерывающимся голосом, заикаясь от волнення:

— Это я! Я! Не ждали?

Все трое смотрели на незнакомого человека: он казался им сумасшедшим.

Паран продолжал:

— Можно подумать, что вы меня не узнали. Так посмотрите хорошенько! Я Паран, Анри Паран. Что, не ждали? Думали, все кончено, кончено раз и навсегда, больше вы меня никогда, никогда не увидите? Так нет же, вот я и пришел! Теперь мы объяснимся.

Анриетта в ужасе закрыла лицо руками и пролепетала:

— Господи боже мой!

Видя, что посторонний человек угрожает матерн, Жорж встал, собнраясь схватить его за шиворот.

Лнмузен, прншнбленный, растерянно глядел на Парана, как на выходца с того света, а Паран, передохнув, продолжал:

— Ну-с, теперь мы объясннмся. Пора! А-а! Вы меня обманулн, обрекли на каторжную жизнь и думалн, я до вас не доберусь?

Но тут молодой человек взял его за плечн н оттолкнул:

— Вы что, с ума сошли? Что вам нужно? Ступайте своей дорогой, не то я вас вздую!

Паран ответнл:

— Что мне нужно? Мне нужно, чтобы ты знал, что это за людн.

Жорж, выведенный из терпення, тряс его за плечн; он уже готов был ударнть его. Но тот не унимался:

— Отпусти. Я твой отец... Посмотри: узнают ли они меня теперь, эти подлые люди!

Растерявшийся молодой человек разжал рукн и оглянулся на мать.

Высвободнвшнсь, Паран подошел к ней:

— Ну-ка, скажите ему, кто я! Скажнте ему, что меня зовут Анрн Паран и что я его отец, раз его зовут Жорж Паран, раз вы — моя жена, раз вы все трое живете на мой счет, на пенснон в десять тысяч франков, который я выплачиваю вам с того дня, как выгнал нз своего дома. Скажнте ему также, за что я вас выгнал нз дома. За то, что застал вас с этим мерзавцем, с этнм подлецом, с вашим любовннком! Скажите ему, что я был честным человеком, за которого вы вышлн замуж радн денег н которому нзменялн с первого же дня. Скажнте ему, кто вы н кто я...

От ярости он занкался, с трудом переводнл дух.

Женщина крнкнула разднрающнм душу голосом:

— Поль, Поль, запрети ему говорить такне вещн прн моем сыне! Запрети! Пусть замолчнт, пусть замолчнт!

Лимузен тоже встал. Он пробормотал очень тнхо:

— Замолчнте! Замолчите! Поймнте же, что вы делаете!

Паран не унимался:

— Я отлично знаю, что делаю. И это еще не все. Есть еще одна вещь, которую мне нужно знать; она мучает меня вот уже двадцать лет.

Тут он повернулся к потрясенному Жоржу, который стоял, прнслонясь к дереву:

— Теперь слушай ты. Уходя от меня, она решнла, что изменнть мне мало — ей захотелось довести меня до отчаяння. В тебе была вся моя радость; так вот, она унесла тебя, поклявшнсь, что не я твой отец, что твой отец — он! Солгала она илн сказала правду? Я не знаю. Двадцать лет я задаю себе этот вопрос.

Он подошел вплотную к ней, трагнческн-грозный, н отдернул руку, которой она закрыла лицо.

— Так вот, теперь я требую, чтобы вы сказалн мне, кто нз нас двонх отец этого юношн: он илн я, муж нлн любовннк? Ну, скорей, говорнте!

Лнмузен броснлся на него. Паран его оттолкнул н злобно захохотал:

— Сейчас ты осмелел, не так трусншь, как в тот день, когда удрал на лестннцу, боялся, что я тебя убью. Ну, еслн она не отвечает, ответь ты. Ты должен знать не хуже нее. Скажн: ты его отец? Ну, говорн же, говорн!

Он снова повернулся к жене:

— Еслн вы не хотнте сказать мне, скажнте хоть сыну. Он уже взрослый человек. Он вправе знать, кто его отец. Я не знаю этого и никогда не знал, ннкогда, ннкогда! И тебе я не могу сказать это, голубчнк.

Он терял самообладание, у него в голосе появилнсь внзглнвые нотки. Руки дергалнсь, как у прнпадочного.

— Ну... ну... Отвечайте же. Она не знает... Держу парн, что не знает... Нет... не знает... Черт возьмн! Она спала с намн обонми... Ха-ха-ха! Никто не знает... Никто... Разве это можно знать?.. Ты, голубчик, тоже этого не узнаешь, как и я... Ннкогда... Ну спроси ее... Спросн!.. Увидншь, что она не знает. И я не знаю... и он... и ты. Ннкто не знает. Можешь выбирать. Да. Можешь выбирать...

его или меия... Выбирай... Прощайте. Я все сказал... Если оиа решится открыть тебе истииу, приди сообщить мие в гостииицу «Коитиненталь». Придешь? Мие бы хотелось знать... Прощайте... Счастливо оставаться...

И ои ушел, жестикулируя, разговаривая сам с собой, ушел в лес под высокие деревья, где свежий, прозрачный воздух был иасыщеи благоухаиием древесиых соков. Ои ии разу ие огляиулся, ие посмотрел иа иих. Ои шел, куда глаза глядят, гоиимый яростью, неистовым возбуждением, поглощеиный одной навязчивой мыслью.

Неожиданно для себя ои очутился у вокзала. Как раз в эту миииуту отходил поезд. Ои сел в ваго. Гнев его постепеиио улегся, ои опомиился и, вериувшись в Париж, удивлялся собствеииой смелости.

Ои чувствовал себя разбитым, словно ему иамяли бока. Все же ои зашел выпить кружку в своей пивиой.

Увидев его, мадмуазель Зоэ удивлеиио спросила:

— Уже вериулись? Верно, устали?

Ои ответил:

— Да, устал... Очеиь устал!.. Поиимаете?.. С иепривычки!.. Довольио, больше уж ие поеду за город. Лучше бы мне оставаться здесь. Впредь иикуда уже ие двииусь.

И, как оиа ии старалась, ей ие удалось вызвать его иа разговор о прогулке.

Первый раз в жизии ои в этот вечер иапился так, что его пришлось отвести домой.

ЗВЕРЬ ДЯДИ БЕЛЬОМА

Из Крикто отправлялся гаврский дилижанс, и пассажиры, собравшись во дворе «Торговой гостииицы» Малаидена-сыиа, ожидали переклички.

Дилижаис был желтый, иа желтых колесах, теперь почти серых от иакопившейся грязи. Передиие колеса были совсем иизенькие, иа задиих, очень высоких и тоиких, держался бесформеиный кузов, раздутый, как брюхо животиого. В эту чудовищную колымагу треугольииком запряжены были три белые клячи с огромиыми головами и толстыми, узловатыми колеиями. Оии, казалось, успели уже засиуть, стоя перед своим ковчегом.

Кучер Сезер Орлавиль, коротенький человечек с большим животом, ио провориый, оттого что иаловчился постояиио вскакивать иа колеса и лазить иа империал, красиолицый от вольиого воздуха, ливией, шквалов и рюмочек, привыкший щурить глаза от града и ветра, показался в дверях гостииицы, вытирая рот ладоиью. Его дожидались крестьяики, иеподвижно сидевшие перед большими круглыми корзинами с перепугаииой птицей. Сезер Орлавиль брал одиу корзииу за другой и ставил иа крышу рыдваиа, потом более осторожио поставил корзииы с яйцами и иачал швырять сиизу мешочки с зерном, бумажиые свертки, узелки, завязаииые в платки или в холстину. Затем ои распахнул заднюю дверцу и, достав из карманиа список, стал вызывать:

— Господии кюре из Горжвиля!

Подошел священиик, крупиый мужчиид богатырского сложения, тучиый, широкоплечий, с багровым добродушиым лицом. Ставя иогу иа ступеиьку, ои подобрал сутаиу, как женщины подбирают юбку, и влез в ковчег.

— Учитель из Рольбоск-ле-Гриие!

Длииный, иеловкий учитель в сюртуке до колеи заторопился и тоже исчез в открытых дверцах дилижанса.

— Дядя Пуаре, два места!

Выступил Пуаре, долговязый, сутулый, сгорбленный от хождеиия за плугом, тощий от недоедаиия, с давио ие мытым морщиинистым лицом. За иим шла жеиа, малеиькая и худая, похожая на замореииую козу, ухватив обеими руками большой зелеиый зоит.

— Дядя Рабо, два места!

Рабо, иерешительиый по иатуре, колебался. Ои переспросил:

— Ты меия, что ли, зовешь?

Кучер, которого прозвали «зубоскал», собирался было ответить шуткой, как вдруг Рабо подскочил к дверцам, получив тумака от жены, рослой и плечистой бабы, пузатой, как бочка, с ручищами широкими, как вальки.

И Рабо юркиул в дилижаис, словно крыса в нору.

— Дядя Каииво!

Плотиый и грузный, точио бык, крестьяиии, сильио погиув рессоры, ввалился в желтый кузов.

— Дядя Бельом!

Бельом, худой и высокий, с плачущим лицом, подошел, скривив иабок шею, прикладывая к уху платок, словно он страдал от зубной боли.

На всех пассажирах были синие блузы поверх старомодиых сукоииых курток странного покроя, чериых или зеленоватых — парадной одежды, в которой оии покажутся только на улицах Гавра; иа голове у каждого башней высилась шелковая фуражка — верх элегаитиости в иормаидской деревие.

Сезер Орлавиль закрыл дверцы своей колымаги, влез иа козлы и щелкиул киутом.

Три клячи, видимо, просиулись и тряхиули гривами; послышался нестройный звон бубенцов.

Кучер гаркнул во весь голос: «Нно!» — и с размаху хлестнул лошадей. Лошади зашевелились, иалегли иа постромки и троиули с места иеровной, мелкой рысцой. А за ними оглушительио загромыхал экипаж, дребезжа расшатаииыми окиами и железом рессор, и два ряда пассажиров заколыхались, как иа волиах, подпрыгивая и качаясь от толчков иа каждой рытвиие.

Сиачала все молчали из почтеиия к кюре, стесияясь при ием разговаривать. Однако, будучи человеком словоохотливым и общительным, ои заговорил первый.

— Ну, дядя Каииво, — сказал ои, — как дела?

Дюжий крестьяиии, питавший симпатию к священнику, иа которого ои походил ростом, дородиостью и объемистым животом, ответил улыбаясь:

— Помаленьку, господин кюре, помаленьку, а у вас как?

— О, у меня-то всегда все благополучно. А у вас как, дядя Пуаре?— осведомился аббат.

— Все было бы ничего, да вот сурепка в нынешнем году совсем не уродилась; а дела нынче такие, что только на ней и выезжаешь.

— Что поделаешь, тяжелые времена.

— Да, да, уж тяжелее некуда,— подтвердила зычным басом жена Рабо.

Она была из соседней деревни, и кюре знал ее только по имени.

— Вы, кажется, дочка Блонделя?— спросил он.

— Ну да, это я вышла за Рабо.

Рабо, хилый, застенчивый и довольный, низко поклонился, ухмыляясь и подавшись вперед, словно говоря: «Это я и есть тот самый Рабо, за которого вышла дочка Блонделя».

Вдруг дядя Бельом, не отнимавший платка от уха, принялся жалобно стонать. Он мычал: «М-м... м-м... м-м...»— и притопывал ногой от нестерпимой боли.

— У вас зубы болят?— спросил кюре.

Крестьянин на минуту перестал стонать и ответил:

— Да нет, господин кюре... какие там зубы... это от уха, там в самой середке...

— Что же такое у вас в ухе? Нарыв?

— Уж не знаю, нарыв или не нарыв, знаю только, что там зверь, большущий зверь, он туда забрался, когда я спал на сеновале.

— Зверь? Да верно ли это?

— Еще бы не верно! Верней верного, господин кюре, ведь он у меня в ухе скребется. Он мне голову прогрызет, говорю вам — прогрызет. Ой, м-м... м-м... м-м...— И Бельом опять принялся притопывать ногой.

Все очень заинтересовались. Каждый высказал свое мнение. Пуаре предполагал, что это паук, учитель — что это гусеница. Ему пришлось наблюдать такой случай в Кампмюре, в департаменте Орн, где он прожил шесть лет; вот так же гусеница забралась в ухо и выползла через нос. Но человек оглох на это ухо, потому что барабанная перепонка у него была продырявлена.

— Скорее всего это червяк,— заявил кюре.

Дядя Бельом все стонал, склонив голову набок и прислонившись к дверце,— садился он последним.

— Ох! М-м... м-м... м-м... Верно, это муравей, большущий муравей, уж очень больно кусается... Вот, вот, вот, господин кюре... бегает... бегает... Ох! М-м... м-м... м-м... До чего больно!..

— К доктору ты ходил?— спросил Каниво.

— Ну уж нет!

— А почему?

Страх перед доктором, казалось, исцелил Бельома. Он выпрямился, не отнимая, однако, руки от уха.

— Как «почему»? У тебя, видно, есть для них деньги, для этих лодырей? Он придет и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и всякий раз подавай ему деньги! Это выйдет два экю по сто су, два экю! Как пить дать!.. А какая от него польза, от этого лодыря, какая от него польза? Ну-ка скажи, если знаешь!

Каниво засмеялся.

— Почем мне знать? А куда же ты все-таки едешь?

— Еду в Гавр к Шамбрелану.

— К какому это Шамбрелану?

— Да к знахарю.

— К какому знахарю?

— К знахарю, который моего отца вылечил.

— Твоего отца?

— Ну да, отца, еще давным-давно.

— А что у него было, у твоего отца?

— Прострел в пояснице, не мог ни рукой, ни ногой пошевельнуть.

— И что же с ним сделал твой Шамбрелан?

— Он мял ему спину, как тесто месят, обеими руками! И через два часа все прошло!

Бельом был уверен, что Шамбрелан, кроме того, заговорил болезнь, но при кюре он постеснялся сказать об этом.

Каниво спросил, смеясь:

— Уж не кролик ли туда забрался? Верно, принял дырку в ухе за нору,— видит, кругом колючки растут. Постой, сейчас я тебе его спугну.

И Каниво, сложив руки рупором, начал подражать лаю гончих, бегущих по следу. Он тявкал, выл, подвизгивал, лаял. Все в дилижансе расхохотались, даже учитель, который никогда не смеялся. Но так как Бельома, по-видимому, рассердило, что над ним смеются, кюре переменил разговор и сказал, обращаясь к дюжей жене Рабо:

— У вас, говорят, большая семья?

— Еще бы, господин кюре... Нелегко детей растить!

Рабо закивал головой, как бы говоря: «Да, да, нелегко их растить!»

— Сколько же у вас детей?

Она объявила с гордостью, громко и уверенно:

— Шестнадцать человек, господин кюре! Пятнадцать от мужа!

Рабо заулыбался и еще усиленнее закивал головой. Он сделал пятнадцать человек ребят, один он, Рабо! Жена сама в этом призналась! Значит, и сомневаться нечего. Черт возьми, ему есть чем гордиться!

А шестнадцатый от кого? Она не сказала. Это, конечно, первый ребенок? Все, должно быть, знали, потому что никто не удивился. Даже сам Каниво оставался невозмутимым. Бельом снова принялся стонать:

— Ох! М-м... м-м... м-м... ох, как ухо свербит внутри!.. Ох, больно!..

Дилижанс остановился перед кофейней Полита.

Кюре сказал:

— А что, если влить в ухо немного воды? Может быть, он выскочит. Хотите, попробуем?

— Еще бы! Понятно, хочу.

И все вылезли из дилижанса, чтобы присутствовать при операции.

Священник спросил миску, салфетку и стакан воды, велел учителю держать голову пациента пониже, наклонив ее набок, и, как только вода

проникнет в ухо, сразу опрокинуть голову в другую сторону.

Но Каниво, который уже заглядывал в ухо Бельома в надежде увидеть зверя простым глазом, воскликнул:

— Прах тебя побери, вот так мармелад! Сначала надо прочистить, старик. Твоему кролику никак не выбраться из этого варенья. Увязнет в нем всеми четырьмя лапами.

Кюре тоже исследовал проход и нашел его слишком узким и грязным для того, чтобы приступить к изгнанию зверя. Тогда учитель прочистил ухо тряпочкой, навернутой на спичку. Среди общего волнения священник влил в канал полстакана воды, и она потекла по лицу Бельома, по его волосам и за шиворот. Потом учитель так резко повернул голову Бельома в другую сторону, словно хотел совсем ее отвертеть. Несколько капель воды вылилось в белую миску. Все бросились глядеть. Никакого зверя не было видно. Однако Бельом объявил:

— Я больше ничего не чувствую.

И священник, торжествуя, воскликнул:

— Ну, разумеется, зверь утонул!

Все опять уселись в дилижанс, очень довольные. Но едва дилижанс тронулся, как Бельом поднял страшный крик. Зверь очнулся и рассвирепел. Бельом утверждал даже, что зверь теперь пробрался к нему в голову и гложет мозг. Он так выл и дергался, что жена Пуаре, приняв его за бесноватого, начала креститься, заливаясь слезами. Потом боль немного утихла, и страдалец сообщил, что «он» ползает в ухе «кругом, кругом». Бельом пальцами изображал движения зверя и, казалось, видел его, следил за ним взглядом.

— Вот он опять ползет кверху... м-м... м-м... м-м... ой, больно!

Каниво не выдержал:

— Это он от воды взбесился, твой зверь. Он, может, больше к вину привык.

Все рассмеялись. Каниво продолжал:

— Как доедем до кофейни Бурбе, ты поднеси ему водочки, он и не пошевельнется, право слово.

Но Бельом себя не помнил от боли. Он кричал так, будто у него душа с телом расставалась. Кюре пришлось поддерживать ему голову. Сезера попросили остановиться у первого попавшегося дома.

Первой попалась навстречу ферма у самой дороги. Бельома перенесли на руках в дом и положили на кухонный стол, чтобы снова приступить к операции. Каниво советовал все-таки прибавить водки к воде, чтобы оглушить, а то и совсем убить зверя. Но кюре предпочел уксус.

На этот раз смесь вливали по капле, чтобы она дошла до самого дна, и оставили ее на несколько минут в ухе.

Опять принесли миску, и два великана, кюре и Каниво, перевернули Бельома, а учитель принялся постукивать пальцами по здоровому уху, чтобы вода скорее вылилась.

Даже сам Сезер Орлавиль, с кнутом в руках, вошел поглядеть.

И вдруг все увидели на дне миски маленькую темную точку, чуть побольше макового зернышка. Однако она шевелилась. Это была блоха! Поднялся крик, потом оглушительный хохот. Блоха! Вот так штука! Каниво хлопал себя по ляжке, Сезер Орлавиль щелкал кнутом. Кюре фыркал и ревел, как осел, учитель смеялся, будто чихал. Обе женщины радостно кудахтали.

Бельом уселся на столе и, держа на коленях миску, сосредоточенно и злорадно смотрел на побежденную блоху, барахтавшуюся в капле воды. Он проворчал:

— Попалась, стерва!— и плюнул на нее.

Кучер, еле живой от смеха, приговаривал:

— Блоха, блоха, ах, чтоб тебя! Попалась-таки, проклятая, попалась, попалась!

Потом, успокоившись немного, крикнул:

— Ну, по местам! И так много времени потеряли.

И пассажиры, все еще смеясь, потянулись к дилижансу.

Вдруг Бельом, который шел позади всех, заявил:

— А я пойду обратно в Крикто. Теперь мне в Гавре делать нечего.

Кучер ответил:

— Все равно плати за место!

— Заплачу, да только половину, я и полдороги не проехал.

— Нет, плати сполна, место все равно за тобой.

И начался спор, очень скоро перешедший в ожесточенную ссору: Бельом божился, что больше двадцати су не заплатит, Орлавиль твердил, что меньше сорока не возьмет.

Они кричали, уставившись друг на друга, нос к носу.

Каниво вылез из дилижанса.

— Во-первых, ты дашь сорок су господину кюре. Понятно? Потом всем поднесешь по рюмочке, это будет пятьдесят пять, да Сезеру заплатишь двадцать. Идет, что ли, зубоскал?

Кучер, очень довольный тем, что у Бельома вылетит из кармана почти четыре франка, ответил:

— Идет!

— Ну, так плати!

— Не заплачу! Во-первых, кюре не доктор.

— Не заплатишь, так я тебя посажу обратно в дилижанс и отвезу в Гавр.

И великан, схватив Бельома в охапку, поднял его на воздух, как ребенка.

Бельом понял, что придется уступить. Он вынул кошелек и заплатил.

Дилижанс двинулся по направлению к Гавру, а Бельом пошел обратно в Крикто, и примолкшие пассажиры долго еще видели на белой дороге синюю крестьянскую блузу, развевавшуюся над длинными ногами Бельома.

ДУЭЛЬ

Война кончилась. Франция была оккупирована немцами; страна содрогалась, как побежденный борец, прижатый к земле коленом победителя.

Из Парижа, настрадавшегося, наголодавшегося, неутешного, первые поезда медленно шли мимо полей и селений к новым границам. Первые пассажиры смотрели из окон на разоренную местность, на сожженные деревни. У дверей уцелевших домов прусские солдаты, в черных касках с медным шишаком, курили трубки, сидя верхом на стуле. А некоторые работали или беседовали, как свои люди в семье. В городах целые полки маршировали по площадям, и, несмотря на стук колес, до пассажиров долетали гортанные слова команды.

Дюбюи, состоявший в национальной гвардии, пока длилась осада, теперь ехал за женой и дочерью в Швейцарию, куда для безопасности отправил их перед оккупацией. Голодная, трудная жизнь не отразилась на солидной комплекции преуспевающего мирного коммерсанта. Страшные события он встречал покорным отчаянием и сетованием на озверение людей. Теперь война кончилась, он ехал к границе и тут впервые увидел пруссаков, хотя во время осады честно исполнял свой долг и не раз холодными ночами нес караульную службу на укреплениях.

С испугом и злобой смотрел он на этих вооруженных бородатых людей, расположившихся на французской земле как у себя дома, и в душе его нарастал бессильный патриотический пыл наряду с новым могучим инстинктом осторожности, который отныне не покидал французов.

В его купе двое англичан-туристов смотрели вокруг спокойным любопытствующим взглядом. Оба они тоже были упитанны, говорили между собой на своем языке, иногда листали путеводитель и читали его вслух, чтобы не упустить ни одного достопримечательного места.

Вдруг на остановке в каком-то небольшом городке вошел, громыхая саблей по ступенькам вагона, прусский офицер. Это был рослый малый, затянутый в мундир. Борода у него росла от самых глаз и была огненного цвета, а длинные усы, тоном светлее, торчали в обе стороны, пересекая лицо пополам.

Англичане принялись с любопытством разглядывать его, а Дюбюи сделал вид, что читает газету. Он забился в угол купе, точно вор в присутствии жандарма.

Поезд тронулся. Англичане продолжали переговариваться, отыскивать места сражений, и вот, когда один из них указал рукой вдаль на какую-то деревню, прусский офицер произнес, вытягивая длинные ноги и откидываясь на спинку дивана:

— Я убивал двенадцать француз в эта деревня. Я брал больше сто в плен.

Англичане, живо заинтересовавшись, поспешили спросить:

— О-о! А как называйт этот деревня?

— Фарсбур,— отвечал пруссак и продолжал:— Я брал эти шельмы французы за воротник.

При этом он смотрел на Дюбюи, кичливо посмеиваясь в бороду.

А поезд все шел, минуя одно оккупированное селение за другим. Немецкие солдаты виднелись по обочинам дорог, среди полей, у шлагбаумов, за столиками кафе. Они усеивали землю, как египетская саранча.

Офицер протянул руку:

— Если бы я имел командование, я брал бы Париж, я бы все сжигал и всех убивал. Франции капут!

Англичане из вежливости ответили кратко:

— О-о!

Он не унимался:

— Через двадцать лет весь Европа, да, весь, будет принадлежать нам. Пруссия сильнее всех.

Англичане насторожились и больше не отвечали. Лица их застыли, точно восковые маски, окаймленные бакенбардами. А прусский офицер захохотал. Развалясь на диване, он дал волю насмешкам. Он издевался над раздавленной Францией, над поверженным врагом, издевался над Австрией, побежденной раньше, над отчаянным и тщетным сопротивлением департаментов, над ополчением, над парализованной артиллерией. Он сообщал, что Бисмарк собирается построить железный город из захваченных пушек. И под конец чуть не уперся сапогами в бок Дюбюи; тот сидел весь красный и глядел в сторону.

Англичане, казалось, потеряли интерес к окружающему, как будто вдруг отгородились на своем острове от мирской суеты.

Офицер достал трубку и, глядя в упор на француза, спросил:

— Вы не имеет табак?

— Нет, сударь,— ответил Дюбюи.

— Я вас прошу идти покупать мне табак, когда поезд сделает остановка,— продолжал немец и добавил, захохотав опять:— Я вам тогда давать на чай.

Паровоз засвистел, замедляя ход.

Показались обгоревшие станционные здания. Поезд остановился.

Немец распахнул дверцу и потянул Дюбюи за рукав:

— Идите исполнять моя поручение, скоро, скоро!

Станция была занята немецким отрядом. Другие немецкие солдаты глазели на поезд, толпясь за деревянной загородкой. Паровоз уже свистел, готовясь к отходу. Тогда Дюбюи неожиданно выпрыгнул на перрон и, невзирая на протестующие жесты начальника станции, ринулся в соседнее отделение. Он был один! Он расстегнул жилет — так у него колотилось сердце, отер лоб и едва перевел дух.

Поезд снова остановился на какой-то станции. Вдруг в дверь заглянул и в купе вошел офицер, а за ним вскоре, движимые любопытством, последовали оба англичанина. Немец уселся напротив француза и, посмеиваясь, заметил:

— Вы не желал исполнять моя поручение?

— Да, сударь,— ответил Дюбюи.

Поезд тем временем тронулся.

— Я буду резать вам усы, чтобы набивать моя трубка,— заявил офицер и потянулся к физиономии соседа.

Англичане все так же невозмутимо пристальным взглядом смотрели на происходящее.

Немец успел уже зажать между пальцами несколько волосков, но тут Дюбюи ударом кулака поддал его руку и, схватив его за ворот, швырнул на скамейку. Он не помнил себя, вены на висках вздулись, глаза налились кровью, и, продолжая одной рукой душить офицера, другой, сжатой в кулак, он неистово колотил его по лицу. Пруссак отбивался, силился вытащить саблю, обхватить врага. Но Дюбюи навалился на него всей тяжестью своего живота и колотил, колотил без устали, без передышки, не глядя, куда бьет. По лицу пруссака текла кровь, он задыхался, хрипел, выплевывал зубы, тщетно старался отшвырнуть разъяренного толстяка, спасти свою жизнь.

Англичане встали и подошли ближе, чтобы не упустить ничего. Они смотрели, любопытствуя и радуясь; еще минута, и они держали бы пари — чья возьмет.

Но Дюбюи разом изнемог от такого порыва, поднялся, не говоря ни слова, и сел на место.

Пруссак настолько был испуган, ошеломлен неожиданностью и болью, что даже не бросился на него. Отдышавшись, он изрек:

— Если вы не хотеть давать мне удовлетворение на пистолет, я буду вас убивать.

— Я согласен, когда угодно,— отвечал Дюбюи.

— Это есть город Страсбург,— продолжал немец,— я буду взять два офицера, как свидетели, я имею время, пока поезд не уезжал.

Дюбюи пыхтел не хуже паровоза.

— Хотите быть моими секундантами?— спросил он англичан.

Оба ответили вместе:

— О-о!

Поезд остановился.

В один миг пруссак отыскал двух приятелей, те принесли пистолеты, и все отправились на крепостной вал.

Англичане поминутно вынимали часы, ускоряли шаг, торопили с приготовлениями, боясь опоздать к отходу поезда.

Дюбюи никогда не держал в руках пистолета. Его поставили в двадцати шагах от противника. Его спросили:

— Вы готовы?

Он ответил:

— Да,— и при этом заметил, как один из англичан раскрыл зонтик, чтобы спрятаться от солнца.

Раздалась команда:

— Огонь!

Дюбюи выстрелил наугад, не дожидаясь; с изумлением увидел он, что пруссак, стоявший напротив него, зашатался, взмахнул руками и, как подкошенный, упал ничком. Дюбюи убил его.

— О-о!— выкрикнул один из англичан, весь дрожа от восторга, от удовлетворенного любопытства и радостного нетерпения. Второй, тот, что не выпускал из рук часов, схватил Дюбюи за рукав и маршевым шагом поспешил с ним на вокзал.

Первый англичанин твердо отбивал шаг, стиснув кулаки, прижав локти к бокам.

— Раз-два! раз-два!

Все три толстяка бежали в ряд, как три карикатуры из юмористического журнала.

Поезд тронулся. Они вскочили в свой вагон. Только тут англичане сняли дорожные кепи, помахали ими над головой и трижды прокричали:

— Гип, гип, гип, ура!

После этого каждый из них торжественно пожал руку Дюбюи, а затем оба уселись рядом на своей скамейке.

ОДИССЕЯ ПРОСТИТУТКИ

Да, никогда воспоминания об этом вечере не изгладятся из моей памяти. В течение получаса я пережил зловещее ощущение неотвратимости рока, я испытал дрожь, охватывающую новичка при спуске в глубокую шахту. Я заглянул в черную бездну человеческого горя, я понял, что честная жизнь для некоторых людей невозможна.

Было уже за полночь. Выйдя из театра Водевиль, я шел, торопливо шагая по бульвару, на улицу Друо, среди сплошного потока раскрытых зонтов. Мельчайшие капли дождя, не достигая земли, оставались висеть в воздухе, застилая свет газовых рожков, и ночные улицы были уныльми-унылыми. Тротуары лоснились под дождем и казались какими-то липкими. Прохожие, не глядя по сторонам, ускоряли шаг.

Проститутки, приподняв край платья так, что виднелась нога, обтянутая чулком, тускло белевшим в полумраке, зазывали мужчин, укрывшись в подъездах, или с вызывающим видом шныряли по тротуарам, нашептывая бессмысленные, невнятные слова. Они шли бок о бок минуту-две то с одним, то с другим, стараясь прижаться к мужчине, обдавая его лицо нечистым дыханием; затем, убедившись в тщете своих усилий, круто, с сердцем поворачивали и возобновляли прогулку, вихляя бедрами.

Преследуемый ими, чувствуя, что меня хватают за рукав, я шел, еле сдерживая подступавшее к горлу отвращение. Вдруг я увидел трех девиц, которые бежали сломя голову, крича что-то своим подружкам. Те тоже пустились бежать, подхватив для скорости юбки обеими руками. В эту ночь происходила облава: регламентировали проституцию.

Внезапно я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мой локоть, и задыхающийся голос пробормотал:

— Спасите меня, сударь, не гоните меня!

Я взглянул на говорившую. Ей не было и двадцати, но она уже порядком поблекла. Я сказал:

— Хорошо, оставайся!

Она пролепетала:

— Спасибо, спасибо!

Мы приблизились к цепи полицейских. Они расступились, давая мне дорогу. Я повернул к улице Друо.

Моя спутница спросила:

— Пойдешь со мной?
— Нет.
— Почему же? Ты мне сам не знаешь, какую услугу оказал, ин в жнзнь ие забуду.
Желая поскорее отделаться от нее, я заявнл:
— Отстань, я женат!
— Ну н что?
— Довольно, детка... Я тебя выручил. А теперь оставь меня в покое.
Улнца была пустыиная н темиая, понстине мрачиая. И от присутствня этой женщины, уцепнвшейся за мою руку, владевшая миой тоска еще уснлилась. Женщниа попыталась меня поцеловать. Я с ужасом отшатнулся н резко сказал:
— Убнрайся... Поияла?
Оиа в ярости отскочила н вдруг зарыдала. Я почувствовал жалость, я стоял растерянный, смущеиный.
— Что с тобой?
Она пробормотала сквозь слезы:
— Разве ты поинмаешь?.. Да что говорить!.. Невесело.
— Что иевесело?
— Да вот жнзиь эта.
— А почему ты так жнвешь?
— Разве это моя внна?
— Чья же тогда?
— А почем я знаю?
Мне захотелось понять это однnокое существо.
Я попроснл:
— Расскажи мне свою исторню.
И она рассказала.

— Мие было шестиадцать лет, я служнла тогда в Ивето у господнна Лерабля, торговца семенами. Отец н мать померлн. У меия ие осталось ни души. Я замечала, что мой хозянн как-то особеиио иа меия поглядывает н норовит ущипиуть меня прн случае за щеку, ио я на это внимання не обращала. Я, поиятно, уже все знала. Мы в деревие в этнх делах разбнраемся, но ведь господнн Лерабль был старнк богомольиый, каждое воскресенье к обедне ходнл,— вот бы уж инкогда не подумала.
Только как-то раз ои иа кухне набросилcя на меня. Я ие далась. Ои ушел ии с чем.
Напротнв иас у господнна Дютана была бакалейиая, у иего служнл одни прнказчнк, такой славный; иу, я н ие устояла. Ведь это с каждым может случиться, верно? Я ие запирала на ночь дверь, и он ко мне приходил.
А только как-то ночью господин Лерабль услышал шум. Он поднялся ко мне, увидел Антуана и хотел его убить. Они дрались стульями, кувшином, чем попало. Я схватила свою одежонку и выскочила на улицу. Так я и убежала.
Я тряслась от страха, как затравленная. Под соседними воротами кое-как оделась. Потом пошла куда глаза глядят. Все думала, что наверняка в драке кто-нибудь убит и жандармы меня уже ищут. Я вышла на руанскую дорогу. Решила, что в Руане легче будет спрятаться.
Стояла темень, хоть глаз выколи, на фермах лаяли псы. Разве разберешься ночью? Птица вопит, как будто человека режут, кто-то внзжит, свнстнт. У меия мурашкн по телу пошлн. Услышу шорох н крещусь. До чего мие страшно было!.. Когда иачало рассветать, я сиова вспомиила о жаидармах и прнпустнлась бегом. Потом успокоилась.
Мне захотелось есть, хотя я была как полоумиая. Но у меня не было иичего, нн гроша, я забыла в каморке деньгн — восемиадцать фраиков, все мое богатство.
Так я все шла н шла, а у меия совсем живот подвело от голода. Стало жарко. Снльио припекало солице. Было уже за полдеиь. А я все шла.
Вдруг я услыхала позади коиский топот. Огляиулась. Жандармы! У меня кровь в жнлах застыла, я думала, вот-вот упаду, ио оправнлась. Онн меня нагиали. Оглядели с головы до ног. Один из иих, который постарше, сказал:
— Добрый день, мамзель!
— Добрый деиь, сударь!
— Куда это вы направляетесь иалегке?
— В Руан, мне там место обещали.
— Так вы пехтурой?
— Да, пешком.
Сердце у меия, сударь, так бнлось, что я еле могла слово вымолвнть. Я твердила про себя: «Сейчас онн меня заберут». Хотела бежать. Но меня тут же бы н схватилн, самн поннмаете.
Старшнй сказал:
— Ну что ж, значнт, будем попутчнками. До Бараитеиа иам с вамн, мамзель, тем же маршрутом.
— Очень приятно, сударь.
Мы разговорнлнсь. Я старалась быть любезиее, чтобы оин иичего такого ие подумали. А когда мы вошлн в лес, старший говорнт:
— Не хотнте лн, мамзель, сделать прнвал иа травке?
Я недолго думая ответнла:
— Как вам будет угодио, сударь!
Ои слез с лошадн, дал ее подержать второму жаидарму, а мы с инм углубнлнсь в лесок.
Ломаться ие прнходнлось. Что бы вы сделали иа моем месте? Он получнл то, что хотел, потом сказал:
— Нехорошо обижать товарища.
И пошел подержать лошадей, а второй жандарм прнблнзнлся ко мне. Мне было так стыдно, что я заплакала. Но ие драться же с ннм. Сами поиимаете.
Поехалн дальше. Больше мы не разговаривали. Очень уж тяжело было у меия на сердце. А к тому же я едва ноги передвигала: есть хотелось. В деревне оин все-таки подиесли мие стаканчик вина, и это меня подкрепило, а потом пустили лошадей рысью, чтобы не показаться в Барантене вместе со мной. Я присела у канавы н плакала, плакала...
Через три часа добралась до Руана. Было семь часов вечера. Сначала я чуть не ослепла — столько там огней, а потом стала искать, где бы присесть. По дороге хоть канавы есть, трава, можно прилечь, поспать. А в городе — ничего.
У меня подкашивались ноги, перед глазами

круги, я думала: вот-вот упаду. А тут еще начался дождь, мелкий, частый, как сегодня, и не заметишь, как промокнешь до нитки. Дождливые дни для меня самые несчастливые. Я стала бродить по улицам. Смотрела на окна, на дома и думала: «Все там есть: и постели, и хлеб, а на мою долю хоть бы сухая корка, хоть соломенный тюфяк».

Я попала на улицу, где ходят женщины, которые пристают к мужчинам. Бывают, сударь, такие случаи, когда разбирать не приходится. Я тоже стала заманивать мужчин. Но мне даже никто не отвечал. Лучше мне было умереть тогда. Наступила полночь. Я ничего не соображала. Потом какой-то мужчина заговорил со мной. Он спросил:

— Где ты живешь?

Нужда хоть кого научит. Я ответила:

— Ко мне нельзя, у меня мамаша. А разве нет такого дома, куда можно пойти?

Он ответил:

— Так я и выброшу двадцать су на комнату!

Потом подумал немного и сказал:

— Пойдем. Я знаю укромное местечко, где нам не помешают.

Он повел меня через мост, куда-то на окраину, на луг, возле реки. Я едва за ним поспевала.

Он усадил меня рядом с собой и начал разговор, зачем да для чего мы сюда пришли. Он так долго тянул, а я была полумертвая от усталости. Я и заснула.

Он ушел и ничего мне не дал. А я и не заметила. Шел дождь, как я вам уже говорила. С того самого дня у меня и появились боли, никак от них не избавишься: ведь я проспала всю ночь на сырой земле.

Меня разбудили два сержанта и отвели в полицию, оттуда в тюрьму; я пробыла там неделю, пока они наводили справки, кто я да откуда явилась. Я ничего не хотела говорить, боялась: а вдруг что-нибудь в Ивето случилось.

Однако они до всего докопались и после суда выпустили меня.

Пришлось снова подумать о куске хлеба.

Я хотела поступить на место, но все не удавалось, потому что я в тюрьме побывала.

Тогда я вспомнила старого судью, который во время суда все на меня поглядывал, как старикашка Лерабль в Ивето. Я пошла к нему. И не промахнулась. На прощание он дал мне сто су и сказал:

— Я буду каждый раз давать тебе по сто су, только приходи не чаще двух раз в неделю.

Я сразу смекнула, в чем дело — понятно, в его-то годы! Потом меня осенило. Я подумала: «С молодыми, конечно, приятно, весело, да что с них возьмешь! Старики — другое дело». И потом я уже раскусила их, этих старикашек с обезьяньими глазками и постными рожами.

Знаете, что я стала делать, сударь? Я одевалась, как кухарочка, которая возвращается с рынка, и ходила по улицам, высматривая моих кормильцев. Теперь они сразу попадались на удочку. Встречу и тут же вижу: «Этот клюнет».

Подходит ко мне. Заводит разговор:

— Добрый день, мамзель!

— Добрый день, сударь!

— Куда это вы идете?

— Домой, к своим хозяевам.

— А далеко ли ваши хозяева живут?

— Кому близко, а кому далеко!

А уж он не знает, что дальше говорить. Я нарочно иду помедленнее, чтобы он мог объясниться.

Ну, тут он шепчет мне на ухо разные любезности и потом начинает просить, чтобы я пошла с ним. Сами понимаете, я заставляла себя долго уговаривать, наконец уступала. Каждое утро мне попадались два-три старичка, и все вечера у меня оставались свободные. Это было самое хорошее для меня время. Ничего я к сердцу близко не принимала.

Но что поделаешь, спокойной жизни долго не бывает. На свою беду, свела я знакомство с одним богачом из хорошего общества. Какой-то председатель, было ему лет семьдесят пять, не меньше.

Раз вечером он повез меня в загородный ресторан. И слишком он себе волю дал, понимаете! За десертом умер.

Меня продержали три месяца в тюрьме, потому что я не была зарегистрирована.

Вот тогда-то я переехала в Париж.

А здесь, сударь, тяжелая жизнь. Не всякий день поесть удается. Да что говорить, у каждого свое горе, правда ведь?

Она замолчала, я шагал с ней рядом, и сердце у меня сжималось. Тут она снова перешла со мной на «ты».

— Значит, ты, миленький, со мной не пойдешь?

— Нет, я ведь уже сказал.

— Ну что ж, до свидания! Спасибо и на том, не поминай лихом. А все-таки зря отказываешься.

И она ушла, окутанная тонкой, как вуаль, сеткой дождя. Я видел, как мелькнула в свете газового рожка ее фигура, затем пропала во мраке.

Бедняжка!

БЕСПОЛЕЗНАЯ КРАСОТА

I

У подъезда особняка стояла элегантная виктория, запряженная двумя великолепными вороными. Был конец июня, около половины шестого вечера, и между крышами домов, замыкавших передний двор, виднелось небо, ясное, знойное, веселое.

Графиня де Маскаре показалась на крыльце в ту самую минуту, когда в ворота входил ее муж, возвращавшийся домой. Он приостановился, взглянул на жену и слегка побледнел. Она была очень красива, стройна, изящна; продолговатый овал лица, кожа цвета золотистой слоновой кости, большие серые глаза, черные волосы; не взглянув на мужа, как бы даже не заметив его, она се-

ла в коляску с такой непрннужденной н благородной грацней, что сердце графа вновь сжалось от позорной ревности, так давно его терзавшей. Он подошел н поклоннлся.

— Вы едете кататься?— спроснл он.

Она презрнтельно бросила два слова:

— Как видите.

— В Лес?

— Возможно.

— Мне разрешается сопровождать вас?

— Коляска ваша.

Не удивляясь тону жены, он поднялся, сел рядом с нею н приказал:

— В Лес.

Лакей вскочил на козлы рядом с кучером; лошади, как всегда, началн плясать на месте, вскидывая головой, н выровняли шаг, только повернув на улнцу.

Супруги сндели рядом молча. Муж нскал повода для разговора, но жена упорно сохраняла жестокое выражение лица, и он не решался начать.

Наконец он тихонько пододвинул руку к затянутым в перчатку пальцам графнни н, словно нечаянно, прнкоснулся к ним, но жест, которым жена отдернула руку, был так резок н выражал такое отвращение, что муж встревожился, несмотря на свою прнвычную властность, доходившую до деспотизма.

Он прошептал:

— Габрнэль!

Не поворачивая головы, жена спросила:

— Что вам угодно?

— Вы прелестны.

Она ннчего не ответила, откннувшись в коляске с видом разгневанной королевы.

Теперь они поднималась по Елисейскнм полям к Триумфальной арке на площадн Звезды. Огромный монумент в конце длинного проспекта возносился колоссальным сводом в багряное небо, и солнце как будто садилось прямо на него, рассеивая вокруг огненную пыль.

А река экипажей, сверкавшая медью и серебром сбрун, гранеными стеклами фонарей, текла по двум руслам: в сторону Леса н к городу.

Граф де Маскаре заговорил снова:

— Дорогая Габрнэль!

Не выдержав, она ответила с досадой:

— Ах, оставьте меня в покое, прошу вас! Неужели я даже не нмею права побыть одна в коляске?

Он притворился, будто не слышит, и продолжал:

— Вы ннкогда не были так хороши, как сегодня.

Она явно потеряла терпение и ответнла, уже не сдерживая гнева:

— Напрасно вы это замечаете; клянусь вам, я ннкогда больше не буду вашей.

Он был изумлен и потрясен, однако прнвычка повелевать взяла верх, и его слова: «Что это значит?»— прозвучалн не вопросом влюбленного, а скорее окриком грубого хозяина.

Она отвечала полушепотом, хотя за оглушительным стуком колес слугн все равно ничего не моглн слышать:

— Что это значит? Что это значит? Вы все тот же! Вы хотнте, чтобы я сказала?

— Да.

— Сказала все?

— Да.

— Все, что лежнт у меня на сердце с тех пор, как я стала жертвой вашего жестокого эгоизма?

Он побагровел от удивления н злобы. И, стиснув зубы, пробормотал:

— Да, говорнте!

Это был высокий, широкоплечий человек с большой рыжей бородой, красивый мужчнна, дворяннн, светский человек, счнтавшнйся безукоризненным супругом и прекрасным отцом.

В первый раз после выезда из дома она повернулась к мужу н посмотрела ему прямо в лнцо:

— Вы услышите неприятные вещи! Но знайте, что я готова на все, что я пойду на все, что я не боюсь ннчего, а вас теперь — меньше, чем кого бы то ни было.

Он тоже взглянул ей в глаза, уже содрогаясь от ярости. И прошептал:

— Вы с ума сошлн!

— Нет, но я больше не желаю быть жертвой отвратительной пытки материнством,— вы подвергаете меня ей уже одиннадцать лет! Я хочу наконец жнть как светская женщнна, я на это имею право, как и все женщины.

Сразу побледнев, он пробормотал:

— Не понимаю.

— Нет, понимаете. Вот уже трн месяца, как я родила последнего ребенка, а так как я все еще очень красива и, несмотря на все ваши усилия, почти не дурнею,— вы только что прнзнали это, увндев меня на крыльце,— то вы находите, что мне снова пора забеременеть.

— Да вы не в своем уме!

— Ничуть. Мне тридцать лет, у меня семеро детей, мы живем вместе одиннадцать лет, и вы надеетесь, что так будет продолжаться еще лет десять, и тогда вы перестанете ревновать.

Он схватил н сдавил ее руку.

— Я вам не позволю больше так говорить со мной!

— А я буду говорнть, пока не выскажу все, и если вы попробуете помешать мне, заговорю еще громче, и меня услышат кучер и лакей на козлах. Я только потому и позволила вам сесть сюда, что здесь есть свидетели,— это вынуждает вас слушать меня и сдерживаться. Слушайте. Вы всегда были мне неприятны, и я всегда вам это выказывала,— ведь я ннкогда не лгала! Вы женились на мне против моей волн; мон роднтелн былн в стесненном положеннн, н вы добились своего; они отдалн меня вам насильно, потому что вы были очень богаты. Они заставнли меня, я плакала.

В сущности, вы купили меня; и когда я оказалась в вашей власти, когда я готова была стать вам верной подругой, привязаться к вам, забыть все ваши прнемы запугивания, принуждення н помннть только о том, что я должна быть вам преданной женой н любнть вас всем сердцем, вы тот-

час стали ревновать, как никогда не ревновал ни один человек: ревностью низкой, постыдной, унижающей вас и оскорбительной для меня, потому что вы вечно шпионили за мной. Я не прожила замужем и восьми месяцев, как вы уже стали подозревать меня во всевозможных обманах. Вы даже давали мне это понять. Какой позор! И так как вы не могли помешать мне быть красивой и нравиться, не могли помешать тому, что в салонах и даже в газетах меня называли одной из красивейших женщин Парижа, то вы старались придумать что угодно, лишь бы отстранить от меня всякие ухаживания. Тогда вам пришла в голову отвратительная мысль — заставить меня проводить жизнь в постоянной беременности, пока я не начну вызывать во всех мужчинах отвращение. Не отрицайте! Я долго не догадывалась, но потом поняла. Вы даже хвалились этим своей сестре, и она рассказала мне, потому что она любит меня и ее возмутила ваша мужицкая грубость.

Вспомните нашу борьбу, выбитые двери, взломанные замки! На какое существование вы обрекали меня целых одиннадцать лет — на существование заводской кобылы, запертой в конюшне! А беременная, я внушала вам отвращение, и вы избегали меня месяцами. Вынашивать ребенка меня отправляли в деревню, в фамильный замок, на лоно природы. Но когда я опять возвращалась, свежая и красивая, нисколько не увядшая, по-прежнему привлекательная и по-прежнему окруженная поклонением, возвращалась с надеждой хоть немножко пожить жизнью богатой молодой светской женщины, тогда вас снова обуревала ревность и вы опять начинали преследовать меня тем отвратительным и низким желанием, которым томитесь сейчас, сидя рядом со мной. И это не желание обладать мной — я бы вам никогда не отказала,— это желание обезобразить меня!

Кроме того, после долгих наблюдений я разгадала еще одну вашу тайну (я уже научилась разбираться в ваших поступках и мыслях): вы желали иметь детей потому, что они давали вам спокойствие, пока я вынашивала их под сердцем. Ваша любовь к ним родилась из отвращения ко мне, из тех гадких подозрений, которые покидали вас во время моей беременности, из той радости, которую вы испытывали, видя, что мой стан полнеет.

О, эта радость! Сколько раз я чувствовала ее в вас, встречала в вашем взгляде, угадывала! Дети! Вы любите их не как свою кровь, а как свою победу. Это победа надо мной, над моей молодостью, над моей красотой, над моим обаянием, над моим успехом; вы хотели заставить умолкнуть те восторженные голоса, которые раздавались вокруг меня и которые я слышала. И вы гордитесь детьми, вы выставляете их напоказ, возите их в брэке по Булонскому лесу, катаете на осликах в Монмаранси. Вы водите их на утренники, чтобы все видели вас с ними, чтобы все говорили: «Какой прекрасный отец!» — чтобы повторяли это беспрерывно...

Он схватил ее руку с дикой грубостью и стиснул так яростно, что графиня замолчала, подавляя подступивший к горлу крик.

Он прошипел:

— Я люблю моих детей, слышите? То, в чем вы мне признались, позорно для матери. Но вы моя. Я хозяин... ваш хозяин... Я могу требовать от вас всего, чего хочу и когда хочу... и на моей стороне... закон!

Он готов был раздавить ей пальцы в тисках своего большого, мускулистого кулака. А она, побледнев от боли, тщетно пыталась вырвать руку из этих клещей; она задыхалась, на глазах у нее выступили слезы.

— Теперь вы видите, что я хозяин, что я сильнее,— сказал он и слегка разжал руку.

Она продолжала:

— Вы считаете меня религиозной?

Он с удивлением произнес:

— Конечно.

— Как вы думаете, верю я в бога?

— Конечно.

— Могу ли я солгать, если поклянусь перед алтарем, где заключена частица тела Христова?

— Нет.

— Угодно вам отправиться со мной в церковь?

— Зачем?

— Там увидите. Угодно?

— Если хотите, пожалуйста.

Она громко позвала:

— Филипп!

Кучер слегка наклонил голову и, не отрывая глаз от лошадей, чуть повернулся к госпоже. Она приказала:

— В церковь Сен-Филипп-дю-Руль.

И виктория, подъезжавшая к воротам Булонского леса, повернула к городу.

Больше муж и жена не обменялись ни словом. Затем, когда коляска остановилась у храма, г-жа де Маскаре соскочила на землю и вошла в храм; граф следовал в нескольких шагах от нее.

Не останавливаясь, она дошла до решетки хора, упала на колени у стула, закрыла лицо руками и начала молиться. Она молилась долго, и муж, стоя позади, заметил наконец, что она плачет. Она плакала беззвучно, как плачет женщина в великом и страшном горе. Словно волна пробегала по ее телу, заканчиваясь коротким рыданием, которое она хотела скрыть, унять, сжимая голову руками.

Граф де Маскаре, которому было не по себе от этой длительной сцены, тронул ее за плечо.

Это прикосновение пробудило ее, как ожог. Выпрямившись, она посмотрела мужу прямо в глаза.

— Вот что я должна вам сказать. Я ничего не боюсь, можете делать все, что хотите. Если вам угодно, убейте меня. Один из наших детей — не от вас. Клянусь вам в этом перед богом: он слышит меня здесь. Это единственное, чем я могла отомстить вам за вашу подлую мужскую тиранию, за каторжный труд деторождения, к которому вы приговорили меня. Кто был моим любовником? Этого вы не узнаете никогда! Вы будете подозревать всех. Вам его не открыть. Я отдалась ему без любви и без радости, только для того, чтобы обмануть вас. И он тоже сделал меня матерью. Который из детей его ребенок? Этого вы тоже никогда не

узнаете. У меня семеро детей — угадайте! Я хотела сказать вам об этом позже, гораздо позже: ведь измена будет местью мужчине только тогда, когда он о ней узнает. Вы вынудили меня признаться сегодня. Вот и все.

И она быстро прошла через всю церковь к открытой двери на улицу, ожидая, что услышит за собой быстрые шаги разъяренного мужа и свалится на мостовую под жестоким ударом его кулака.

Но графиня не услышала ничего, она дошла до коляски, мигом вскочила в нее и, содрогаясь от ужаса, задыхаясь от волнения, крикнула кучеру:

— Домой!

Лошади помчались.

II

Запершись в своей комнате, графиня де Маскаре ждала обеда, как приговоренный к смерти ждет казни. Что он теперь сделает? Вернулся ли он домой? Властный, вспыльчивый человек, способный на любое насилие, что он придумал, что он готовит, на что решился? Но в доме не слышно было ни звука, и она поминутно поглядывала на стрелки часов. Вошла горничная, помогла ей переодеться к вечеру и удалилась.

Пробило восемь, и почти одновременно в дверь дважды постучали.

— Войдите.

Появился дворецкий:

— Кушать подано, ваше сиятельство.

— Граф вернулся?

— Да, ваше сиятельство. Его сиятельство в столовой.

На секунду у нее мелькнула мысль взять с собою маленький револьвер, который она купила недавно, предвидя развязку зревшей в ее душе драмы. Но, вспомнив, что там будут дети, она не взяла ничего, кроме флакона с солями.

Когда она вошла в столовую, муж ждал, стоя у своего стула. Они обменялись легким поклоном и сели. Заняли свои места и дети. Направо от матери сидели три сына со своим воспитателем, аббатом Мареном, налево — три дочери с гувернанткой-англичанкой мисс Смит. Только самый младший, трехмесячный ребенок, оставался в детской с кормилицей.

Три девочки, из которых старшей было десять лет, все белокурые, в голубых платьицах, отделанных узким белым кружевом, были похожи на прелестных куколок. Самой младшей шел третий год. Все они, уже хорошенькие, обещали вырасти красавицами, в мать.

Трое мальчиков — двое шатены, а старший, девятилетний, уже брюнет — должны были превратиться в крепких, рослых, плечистых мужчин. Вся семья как будто была одной крови, могучей и здоровой.

Аббат произнес молитву, как полагалось в те дни, когда не было гостей: при посторонних дети не являлись к столу. Начался обед.

Графиня, охваченная внезапным волнением, сидела, опустив глаза, а граф всматривался то в мальчиков, то в девочек, неуверенно переводя затуманенный тревогою взгляд с одного лица на другое. И вдруг он поставил перед собою бокал таким резким движением, что ножка сломалась и подкрашенная вином вода разлилась по скатерти. От этого легкого шума графиня вздрогнула и подскочила на стуле. Супруги посмотрели друг на друга. И с этой минуты вопреки их воле, вопреки волнению, от которого трепетали душа их и тело, взгляды обоих беспрестанно скрещивались, как дула пистолетов.

Аббат, чувствуя какую-то непонятную неловкость, старался завязать разговор. Он перебрал разные темы, но его бесплодные попытки не породили ни одной мысли, не вызвали ни одного ответного слова.

Графиня, благодаря женскому такту и повинуясь светской привычке, несколько раз пробовала отвечать ему,— напрасно. Она была в таком замешательстве, что собственный голос почти пугал ее в безмолвии просторной комнаты, где раздавалось только легкое позвякивание серебра о тарелки.

Муж неожиданно наклонился и сказал:

— Поклянетесь ли вы здесь, перед вашими детьми, что вы сказали мне правду?

Ненависть графини сразу вспыхнула, и, отвечая на вопрос с такой же энергией, как и на взгляды, она подняла обе руки — правую над головами сыновей, левую над головами дочерей — и с твердой решимостью, без малейшей дрожи, ответила:

— Жизнью детей моих клянусь, что я сказала вам правду.

Граф встал, с ожесточением бросил салфетку на стол, повернулся, отшвырнул стул к стене и молча вышел.

А графиня, облегченно вздохнув, словно радуясь своей первой победе, сказала спокойно:

— Не бойтесь, дорогие, у папы только что случилась большая неприятность. Он еще очень расстроен. Через несколько дней это все пройдет.

И она поговорила с аббатом, поговорила с мисс Смит, нашла для каждого из детей теплое, нежное слово, ту милую материнскую ласку, от которой переполняются радостью маленькие сердца.

Когда обед кончился, она перешла с детьми в гостиную. Она весело болтала со старшими, рассказывала сказки младшим и, когда наступило время сна, простилась с каждым из них долгим поцелуем. Потом, отослав детей спать, вернулась в свою комнату.

Она ждала, так как не сомневалась, что он придет. Но теперь, оставшись одна, она решила защищать свое тело, свое человеческое достоинство так же, как защищала свою жизнь светской женщины; и она спрятала в кармане платья маленький револьвер, купленный за несколько дней до того.

Время шло, били часы. Все звуки в доме стихли. Только с улицы все еще доносился смутный, далекий шум экипажей, заглушенный обивкой стен.

Она ждала напряженно, нервно, уже не боясь мужа теперь, готовая на все, почти торжествующая, потому что нашла для него ежеминутную пытку на всю жизнь.

Но утренние лучи уже стали пробиваться из-под бахромы гардин, а он все не шел. И тогда она с изумлением поняла, что он не придет. Заперев дверь на ключ и на задвижку, которую недавно велела сделать, она легла наконец в постель и долго лежала с открытыми глазами, раздумывая, не понимая, не догадываясь, что он будет делать.

Вместе с утренним чаем горничная принесла ей письмо от мужа. Он писал, что отправляется в довольно долгое путешествие, и в постскриптуме извещал, что деньги на расходы ей будет доставлять нотариус.

III

Это было в Опере, на *Роберте-Дьяволе,* в антракте.

Стоя в проходе у рампы, мужчины в цилиндрах, в глубоко вырезанных жилетах, открывавших белоснежные сорочки, на которых сверкало золото и драгоценные камни запонок, оглядывали ложи, где декольтированные женщины в бриллиантах и жемчугах казались цветами в ярко освещенной оранжерее; их прекрасные лица и ослепительные плечи словно расцветали навстречу взглядам, раскатам музыки и голосам.

Повернувшись спиной к оркестру, два приятеля беседовали, лорнируя всю эту галерею туалетов, всю эту выставку подлинного или поддельного изящества, драгоценностей, роскоши и претензий, раскинувшуюся полукругом над огромным партером театра.

Один из них, Роже де Сален, сказал своему другу Бернару Грандену:

— Погляди на графиню де Маскаре. Как она еще хороша!

Тот навел лорнет на высокую женщину в ложе напротив; женщина эта казалась еще совсем молодой, и ее блистательная красота привлекала взгляды со всех концов зрительного зала. Матовый цвет лица оттенка слоновой кости придавал ей сходство со статуей; в черных, как ночь, волосах тонкая дуга диадемы, осыпанной алмазами, сверкала, словно Млечный Путь.

Поглядев немного, Бернар Гранден ответил игриво, но с глубоким убеждением:

— Еще бы не хороша!

— Сколько ей теперь может быть лет?

— Погоди, сейчас скажу точно. Я знал ее, когда она была ребенком... Я помню, как она девушкой впервые стала выезжать в свет. Ей... ей... тридцать... тридцать... тридцать шесть лет.

— Не может быть!

— Я знаю наверное.

— На вид ей двадцать пять.

— У нее семеро детей.

— Невероятно!

— И все семеро живы! Она прекрасная мать. Я иногда бываю у них, это очень приятная семья, очень спокойная, очень здоровая. В высшем свете графиня считается идеальной женой и матерью.

— Как странно! И о ней никогда ничего не говорили?

— Никогда.

— А ее муж? Странный человек, не правда ли?

— И да и нет. Кажется, между ними произошла небольшая драма, одна из тех мелких семейных драм, о которых только подозревают, в точности о них ничего не известно, но кое о чем можно догадаться.

— В чем же дело?

— Я лично ничего не знаю. Теперь Маскаре живет очень бурно, а прежде был безукоризненным супругом. Пока он оставался верным мужем, у него был ужасный характер, мрачный, угрюмый. А с тех пор, как закутил, он стал ко всему равнодушен, но кажется, будто он чем-то удручен, будто его гложет какое-то затаенное горе. Он заметно постарел.

Приятели еще несколько минут философствовали на тему о тайных, непонятных страданиях, порождаемых в семействах несходством характеров, а может быть, и физической антипатией, незаметной вначале.

Продолжая лорнировать г-жу де Маскаре, Роже де Сален заговорил снова:

— Просто не верится, что у этой женщины семеро детей.

— Да, за одиннадцать лет! А в тридцать лет она отказалась от деторождения, и для нее началась блестящая эра светской жизни, которая, по-видимому, еще не скоро кончится.

— Бедные женщины!

— Почему ты их жалеешь?

— Почему? Ах, дорогой, подумай только! Одиннадцать лет беременности для такой женщины! Ведь это ад! Молодость, красота, надежда на успех, поэтический идеал блестящей жизни — все принесено в жертву отвратительному закону воспроизведения рода... и здоровая женщина становится простой машиной для деторождения.

— Ничего не поделаешь! Такова природа!

— Да, надо сказать, что природа — наш враг, с природой надо всегда бороться, потому что она постоянно низводит нас до уровня животного. Если есть на земле что-либо чистое, красивое, изящное, идеальное, то оно создано не богом, а человеком, человеческим разумом. Это мы, воспевая действительность, истолковывая ее, удивляясь ей, как поэты, идеализируя ее, как художники, объясняя ее, как ученые, которые, правда, обманываются, но все же находят в явлениях любопытный смысл,— это мы внесли в нее немного изящества, красоты, непонятного очарования, таинственности. Богом же сотворены лишь грубые, кишащие зародышами всяких болезней существа, которые после нескольких лет животного расцвета стареют в немощах, обнаруживая все безобразие, все бессилие человеческой дряхлости. Он, кажется, создал их только для того, чтобы они гнусно производили себе подобных и затем умирали, как умирают летним вечером однодневные насекомые. Я сказал: «Гнусно производили»— и на этом настаиваю. Что может быть, в самом деле, гаже и отвратительнее мерзкого и смешного акта воспроизведения живых существ, которым всегда возмущались и будут возмущаться все утонченные души? Раз уж все органы тела, изобре-

теиные этим скупым и иедоброжелательным творцом, служат каждый двум целям, почему же он не выбрал для этой священной миссин, для самой благородиой и самой возвышеииой нз человеческнх фуикцнй какой-ннбудь другой орган, ие столь гиусный и оскверненный? Рот, через который иаше тело получает вещественную пищу, в то же время выражает слово н мысль. Посредством него восстаиавливается плоть, н через иего же сообщаются мысли. Оргаи обоияиия, дающий легким иеобходимый для жнзии воздух, передает мозгу все благоухаиия мнра, запахи цветов, лесов, деревьев, моря. Слух, благодаря которому мы общаемся с себе подобнымн, помог нам создать музыку; мы творим из звуков мечту, счастье, бескоиечность н нспытываем прн этом физическое наслажденне! Но можно подумать, что насмешлнвый н циничиый творец как будто нарочно задался целью иавсегда лишнть человека возможиости облагороднть, украснть н ндеалнзнровать встречу с женщииой. И вот человек нзобрел любовь — неплохой ответ лукавому богу!— н так опоэтизнровал ее, что женщина подчас забывает, какне прикосновеиия она выиуждеиа терпеть. Те нз нас, кто не способен к самообмаиу и экзальтацнн, изобрелн порок, утонченный разврат,— н это тоже способ околпачнвать бога н воздавать почестн, бесстыдные почестн красоте.

А иормальный человек пронзводнт детей, подобно животным, спарнвающнмся по закону прнроды.

Поглядн на эту жеищнну! Разве не отвратнтельио думать, что эта драгоценность, эта жемчужнна, созданная для того, чтобы олнцетворять прекрасиое, внушать восхнщенне, поклоиеине и обожание, потратнла одинадцать лет своей жнзин на производство иаследников для графа де Маскаре?

Бернар Гранден ответнл со смехом:

— Во всем этом есть доля правды, ио много ли таких, которые поймут тебя?

Сален волновался все больше и больше.

— Знаешь, как я представляю себе бога?— сказал он.— В виде колоссальиого неведомого нам производнтельиого органа, рассенвающего в пространстве миллиарды мнров, словно рыба, которая мечет нкру одиа в целом море. Он творнт, ибо такова его божественная фуикцня, но ои сам не знает, что делает; его плодовнтость бессмыслеииа, он даже ие подозревает, какне разиообразиые сочетания дают разбросаиные нм семеиа. Человеческая мысль — какая-то счастлнвая случайиость в этой его творческой деятельностн, мелкая, преходящая, непредвиденная случайность, которая обречеиа исчезиуть вместе с землей н, быть может, возинкнуть виовь где-либо в простраистве,— возннкиуть в том же нли в нном внде, в иовых сочетаннях нзвечных начал. Этой ннчтожной случайностн — нашему сознаиию — мы обязаны тем, что нам так плохо в этом мнре, создаином не для иас н не прнспособлеиином к тому, чтобы прннимать, размещать, кормнть и удовлетворять мыслящне существа. Созианию же мы обязаиы и тем, что выиуждены — если только мы действнтельно утончены и культуриы — постояиио бороться против того, что все еще называется путямн провндения.

Гранден, слушавший его вннмательно н давио уже знакомый с яркими вспышкамн его воображення, спроснл:

— Зиачит, по-твоему, человеческая мысль есть случайиое порожденне слепого божественного промысла?

— Да, черт возьмн! Непредвиденную фуикцию нервиых цеитров иашего мозга можио сравннть с химическнмн реакцнями, которые получаются при иеожнданном сочетаиии элементов, а также с электрнческой нскрой, вспыхнвающей от треиия илн прн случайном взанмодействнн некоторых тел,— словом, со всеми явлеииямн, какне порождаются бесконечным и плодотвориым разнообразием жнвой матернн.

И доказательства этого, дорогой мой, так и бросаются в глаза всякому, кто только оглянется вокруг себя. Еслн бы человеческая мысль входнла в намерення созиающего свои целн творца н должиа была бы быть тем, чем она стала,— такой непохожей на мысль животного н иа покориость жнвотного, такой требовательиой, ищущей, любозиательной, беспокойной, то неужелн мнр, создаиный для таких существ, какимн мы являемся сейчас, своднлся бы к этому неудобиому н тесному загону для скота, к этим грядам салата, к этому шарообразному, лесистому н камеинстому огороду, где нам по воле нашего непредусмотрнтельиого провндення следовало бы жнть голыми в пещерах нлн под деревьямн, пнтаться трупами убнтых жнвотных — нашнх братьев — нли сырымн овощамн, выросшимн под солнцем н дождем?

Но стонт задуматься иа мнг, н стаиет понятно, что этот мнр сотвореи ие для такнх существ, как мы. Мысль, какнм-то чудом расцветшая н развнвшаяся в ячейках нашего мозга, мысль, бессильная, невежественная н неясная, какова она есть и какой останется иавсегда, делает всех иас, мыслящих людей, вечными н несчастиыми нзгнанннкамн на этой земле.

Взглянн иа нее, на эту землю, которую бог дал ее обнтателям. Разве не ясно, что вся она со свонми растеинямн н лесами предиазначена нсключнтельно для животных? Что найдется на ней для нас? Ннчего. А для ннх все: пещеры, деревья, лнстья, родники — жнлища, еда н питье. Прнвередливые люди вроде меня не могут чувствовать себя здесь хорошо. Довольны н удовлетворены только те, кто прнблнжается к животиым. А как же прочне — поэты, утоиченные илн беспокойиые души, мечтателн, нсследователи? Ах, бедиягн!

Я ем капусту и морковь, черт побери, ем лук, репу и реднску,— ем потому, что прншлось к этому прнвыкиуть, даже найтн в ннх вкус, н потому что инчто другое не растет; но ведь это же еда для кролнков н коз, как трава н клевер — еда для коров н лошадей! Когда я внжу колосья зрелой пшеницы в поле, то не сомневаюсь, что все это выращено землей для воробьниых и ласточкиных клювов, а никак не для моего рта. Стало быть, когда я жую хлеб, то обкрадываю птнц, а когда ем курнцу, то обкрадываю лнснц и ласок. Разве

перепелка, голубь и куропатка не естественная добыча для ястреба? И ведь баран, козел или бык — скорее пища для крупных хищников, чем то жирное мясо, которое нам подают зажаренным, с трюфелями, специально для нас вырытыми из земли свиньей.

Но, дорогой мой, ведь животным не надо ничего делать, чтобы жить здесь. Они дома, у них готовый стол и квартира, им остается только пастись или охотиться и пожирать друг друга, соответственно своему инстинкту: бог не предвидел любви и мирных нравов; он предвидел только смерть живых существ, ожесточенно убивающих и пожирающих друг друга.

А мы!.. Сколько потребовалось нам труда, сил, терпения, изобретательности, фантазии, предприимчивости, способностей, таланта, чтобы сделать эту каменистую, проросшую корнями почву сколько-нибудь обитаемой! Подумай, чего мы только не сделали вопреки природе и против природы, чтобы устроиться хотя бы сносно, хоть как-нибудь, хоть сколько-нибудь удобно, хоть сколько-нибудь изящно, но все еще недостойно нас!

И чем мы цивилизованнее, чем умнее и утонченнее, тем больше нам приходится побеждать и подчинять себе животный инстинкт, который заложен в нас по воле бога.

Подумай только, что нам пришлось создать цивилизацию, всю цивилизацию, включающую столько вещей,— столько, столько всевозможнейших вещей, от носков до телефона! Подумай обо всем, что ты видишь ежедневно, обо всем, чем мы пользуемся так или иначе.

Чтобы скрасить свою скотскую участь, мы придумали и создали все, начиная с жилища, а затем — вкусную пищу, соусы, конфеты, пирожные, напитки, ликеры, ткани, одежды, украшения, кровати, матрацы, экипажи, железные дороги, бесчисленные машины. Мало того, мы изобрели науку, искусство, письменность и стихи. Да, это мы создали искусство, поэзию, музыку, живопись. Все идеалы исходят от нас, как и вся привлекательная сторона жизни — женские туалеты и мужские таланты,— и нам в конце концов удалось хоть немного приукрасить, сделать менее голым, менее монотонным и тяжелым то существование простых производителей, ради которого только и породило нас божественное провидение.

Взгляни на этот театр. Разве в нем не собралось человеческое общество, созданное нами, не предусмотренное извечным промыслом, ему неизвестное и доступное только нашему сознанию? Разве ты не видишь, что это изысканное, чувственное и интеллектуальное развлечение придумано вот таким недовольным и беспокойным мелким животным, как ты или я, и притом придумано им только для себя самого?

Взгляни на эту женщину, на госпожу де Маскаре. Бог сотворил ее для того, чтобы она жила в пещере, нагая или завернутая в звериные шкуры. Но разве такая, как есть, она не лучше? А кстати, ты не знаешь, почему этот болван муж, обладая такой подругой,— и особенно после того, как он позволил себе хамство семь раз сделать ее матерью,— почему он вдруг бросил ее и стал бегать за девками?

Гранден ответил:

— Э, дорогой мой, может быть, в этом-то все и дело. В конце концов он понял, что постоянно ночевать дома — это слишком дорого. И к тем самым принципам, которые ты выдвигаешь философически, он пришел из соображений домашней экономии.

Раздались три удара — сигнал к последнему акту. Приятели повернулись, сняли цилиндры и заняли свои места.

IV

Граф и графиня де Маскаре молча сидели рядом в карете, отвозившей их домой из Оперы. И вдруг муж сказал:

— Габриэль!

— Что вам надо от меня?

— Вы не находите, что это длится достаточно долго?

— Что именно?

— Ужасающая пытка, которую я терплю от вас уже шесть лет.

— Но я не знаю, как вам помочь.

— Скажите мне наконец: который?

— Никогда.

— Подумайте, ведь я не могу видеть детей, не могу быть с ними, чтобы сердце мое не сжималось сомнением. Скажите мне, который? Клянусь вам, я прощу, я буду обращаться с ним так же, как с другими.

— Я не имею права.

— Или вы не замечаете, что я не в силах больше выносить эту жизнь, эту мучительную мысль, этот вечный неотступный вопрос, терзающий меня всякий раз, как я их вижу? Я с ума схожу.

— Вы так сильно страдали?— спросила она.

— Невыносимо. Иначе согласился ли бы я на этот ужас — жить бок о бок с вами, и на еще больший ужас — чувствовать и знать, что среди моих детей есть один — какой, не знаю,—который мешает мне любить всех остальных?

Она повторила:

— Так вы действительно очень страдали?

Сдержанным, измученным голосом он ответил:

— Да ведь я повторяю вам каждый день, что это для меня невыносимая пытка. Разве иначе я бы вернулся? Стал бы я жить в этом доме, вместе с вами и с ними, если бы я их не любил? Вы поступили со мной ужасно. Дети — единственная радость моей жизни, вы это отлично знаете. Я для них такой отец, какие бывали только в давние времена, как и для вас я был мужем старинного склада: ведь я все еще человек инстинкта, человек природы, человек старого времени. Да, признаюсь, вы вызывали во мне жестокую ревность, потому что вы женщина другой породы, другой души, других потребностей. Я никогда не забуду того, что вы мне сказали! Но с тех пор я перестал интересоваться вами. Я не убил вас потому, что тогда у меня не осталось бы средства когда бы то

нн было узнать, который же из нашнх... вашнх детей — не мой. Я ждал, но я страдал снльнее, чем вы можете вообразить, потому что я не смею больше любить нх, кроме, может быть, двух старшнх. Я не смею взглянуть на ннх, позвать нх, обнять, я никого из них не могу посадить к себе на коленн, чтобы тут же не подумать: «Не этот лн?» Шесть лет я был с вами корректен, даже мягок н любезен. Скажнте мне правду, н, клянусь вам, я ничего плохого не сделаю.

В темноте кареты ему показалось, что она тронута, и он почувствовал, что сейчас наконец она заговорит.

— Прошу вас,— сказал он,— умоляю вас...

Она прошептала:

— Я, может быть, виновнее, чем вы думаете. Но я не могла, не могла продолжать эту отвратнтельную жизнь, я не хотела быть постоянно беременной. Другого средства прогнать вас от своей постелн у меня не было. Я солгала перед богом, я солгала, подняв руку над головами детей,— я вам не изменяла ннкогда.

Он схватил в темноте ее руку и, стнснув ее так же, как в страшный день прогулки в Лес, проговорнл:

— Это правда?

— Правда.

Он простонал, содрогаясь от муки:

— Ах, теперь у меня начнутся новые сомнення, и конца нм не будет! Когда вы солгали: тогда илн теперь? Как могу я поверннть вам сейчас? Как после этого вернть женщине? Я иикогда больше не узнаю правды. Лучше бы вы мне сказали: «Жак» нлн «Жанна»!

Коляска въехала во двор особняка. Когда она остановнлась перед подъездом, граф вышел первым н, как всегда, повел графиню по лестнице под руку.

Поднявшнсь на второй этаж, он сказал:

— Можно поговорить с вами еще несколько мннут?

— Пожалуйста,— ответнла она.

Онн вошлн в маленькую гостиную. Несколько уднвленный лакей зажег свечн.

Оставшнсь наеднне с женой, граф заговорнл снова:

— Как мне узнать правду? Я тысячу раз умолял вас сказать, ио вы молчалн; вы были непроницаемы, иепреклонны, неумолимы, а вот теперь говорнте, что это была ложь. Шесть лет вы заставлялн меня верить обману! Нет, вы лжете нменно сегодня, не знаю только, зачем. Может быть, нз жалостн ко мне?

Она ответила искренне и убежденно:

— Но ведь ниаче я за эти шесть лет роднла бы еще четверых детей.

Он восклнкнул:

— И это говорит мать!

— Я вовсе не чувствую себя матерью еще не роднвшнхся детей, мне довольно быть матерью тех, которые у меня есть, и любить их всем сердцем. Я, как н все мы, женщииа цивилнзованного мнра. Мы уже не просто самки, населяющие землю, и мы отказываемся имн быть.

Она встала, но муж схватил ее за рукн.

— Одно слово, одно только слово, Габрнэль! Скажите мне правду.

— Я вам только что сказала правду. Я не нзменяла вам ннкогда.

Он посмотрел ей прямо в лицо, такое прекрасное, в глаза, серые, как холодное небо. В темной прнческе, в этой глубокой ночн черных волос, сверкала, как Млечный Путь, осыпанная алмазамн днадема. И тогда он вдруг почувствовал, он каким-то прозреннем понял, что это существо уже не просто женщнна, предназначенная для продолжения его рода, но странное н таинственное порожденне всех сложных желаний, накопленных в нас веками, отвращенных от своей первоначальной и божественной цели, блуждающнх на путях к непостижимой, неуловнмой и лишь угадываемой красоте. Да, бывают такие женщины, расцветающне только для нашнх грез, украшенные всей поэзней, всем блеском ндеала, всем эстетическим обаянием н чарами, какими цнвилизация наделила женщину, эту статую нз жнвой плотн, возбуждающую не только чувствениую любовь, но и духовные стремления.

Муж стоял перед нею, изумленный этнм запоздалым и загадочным открытием, смутно догадываясь о прнчннах своей прежней ревности н плохо все это понимая.

Наконец он сказал:

— Я вам верю. Я чувствую, что вы не лжете. А прежде, в самом деле, мне все время казалось, что в вашнх словах есть ложь.

Она протянула ему руку:

— Итак, мы друзья?

Он взял ее руку, целуя ее, ответил:

— Друзья. Благодарю вас, Габрнэль!

И вышел, с трудом оторвав от нее взгляд, удивляясь тому, что она еще так прекрасна, н чувствуя, как в нем рождается странное волненне, быть может, более опасное, чем древняя и простая любовь.

КАЛЕКА

Это случнлось со мною прнмерно в 1882 году.

Я только что сел в купе пустого вагона и закрыл дверь, надеясь, что останусь один, когда внезапно дверь снова открылась, н я услышал чей-то голос:

— Осторожнее, сударь, тут как раз скрещнваются путн, а ступенька очень высокая.

Другой голос отозвался:

— Не бойся, Лоран, я возьмусь за поручни.

Показалась голова в котелке и две рукн; уцепившись за кожаные с сукиом поручнн, онн медленно подтянули толстое туловище, а ногн, попав иа ступенькн, стукнулн, словно палка, ударнвшаяся о камень.

Когда человек втащил в купе свое туловище, я увидел обвнсшую штанину, из которой торчал черный кончнк деревянной ногн; вскоре последовала н вторая деревяшка.

За пассажнром показалась чья-то голова.

— Удобно вам здесь, сударь?

— Да, мой друг.

— Ну так вот ваши сверткн н костыли.

В вагои поднялся слуга, похожий иа отставиого солдата; в руках у иего была целая охапка свертков в чериой и желтой бумаге, тщательио завязаииых. Один за другим ои положил свертки в сетку иад головой хозяина и сказал:

— Все здесь, сударь. Пять мест: коифеты, кукла, барабаи, ружье и паштет из гусиной печеики.

— Отличио, дружок.

— Счастливого пути, сударь!

— Спасибо, Лораи. Будь здоров!

Слуга ушел, закрыв за собой дверь, и я взгляиул иа своего соседа.

Это был человек лет тридцати пяти, хотя почти уже седой, с ордеиом, усатый и очень толстый; ои отличался той особой болезиенной тучиостью, которой всегда страдают сильиые и эиергичиые люди, если какое-ибудь несчастье обрекло их на иеподвижность.

Ои отер лоб, перевел дух и спросил, глядя мие прямо в лицо:

— Куреиье вам ие помешает, сударь?

— Нет.

Этот взгляд, голос, лицо были мие зиакомы. Но где, когда я его видел? Да, коиечио, я встречал этого человека, говорил с ним, жал ему руку. Это было давио, очеиь давио и терялось в том тумаие, где память, словио ощупью, ищет воспомииаиия и гоиится за иими, как за ускользающими призраками, не в силах схватить их.

Он тоже рассматривал меня пристальиым, иеподвижиым взглядом, как человек, который что-то припомииает, ио ие может вспомнить до коица.

Эти настойчивые перекрестиые взгляды смутили иас обоих, и мы отвели друг от друга глаза; одиако через иесколько секуид, повинуясь смутиому, ио властиому велеиию ищущей памяти, взгляды иаши встретились сиова, и я сказал:

— Боже мой! Чем битый час разглядывать друг друга украдкой, давайте лучше прнпомиим вместе, где мы встречалнсь.

Сосед с готовиостью отвечал:

— Вы совершеиио правы.

Я назвал себя:

— Меия зовут Аири Боиклер, я чииовник судебиого ведомства.

Он поколебался, а затем проговорнл с той неуверенностью во взгляде н голосе, которая бывает вызвана большнм напряженнем памятн:

— Ах, совершенно верно! Я встречал вас у Пуаиселей... Тогда еще, до войны, двеиадцать лет назад!

— Да, сударь! А... а вы лейтенант Ревальер?

— Да... Я даже стал капнтаном Ревальером к тому временн, как лншился ног... Обе оторвало одиим ядром.

И тут, возобновнв знакомство, мы опять взглянули друг на друга.

Я прекрасно помннл этого краснвого худощавого молодого человека, днрнжнровавшего котнльоиамн с такнм изяществом и воодушевлением, что его, помиится, прозвали «Смерчем». Но за этим образом, отчетливо всплывшим в памяти, витало еще что-то иеуловнмое, какая-то история, которую я зиал н забыл, одиа из тех нсторий, какие выслушиваются с мимолетиым и благожелательиым вниманием и оставляют в иас почти неощутимый след.

История была любовиая. В глубине моей памяти сохраиилось какое-то смутиое впечатлеиие, похожее иа запах, который чует охотничья собака, рыща на том месте, где побывала дичь.

Одиако мало-помалу тумаи стал прояситься, и перед моими глазами всплыло лицо девушки. Потом внезапно, как взрыв ракеты, в ушах прозвучала фамилия: мадмуазель де Маидаль. И тогда я вспомиил все. Это была действительно любовиая история, ио самая баиальиая. Когда я встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблеиа в иего и шли толки о близкой свадьбе. Ои тоже казался очеиь увлечеииым, очеиь счастливым.

Я подиял глаза к сетке, где вздрагивали от толчков поезда свертки, принесеииые слугой соседа, и голос слугн сиова раздался в моих ушах, как будто он еще не смолк.

Ои сказал:

«Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабаи, ружье и паштет из гусииой печеики».

Тогда у меия в голове мгиовеиио возик и развериулся весь ромаи. Ои похож был иа все читаиные мной ромаиы, где жених или иевеста вступает в брак со своей иаречеииой и иаречеиным, иесмотря иа физическую или денежную катастрофу. Итак, после коица кампаиии этот искалечеииый иа войне офнцер вериулся к помолвлеииой с иим девушке, и она, верная своему обещаиию, вышла за него замуж.

Мие казалось, что это прекрасио, ио банальио: так кажутся баиальиыми все жертвы и развязки в кннгах илн в театре. Когда читаешь или слышишь о таких прнмерах великодушия и благородства, думается, что и сам можешь принести себя в жертву с восторжеииой радостью, в великодушном порыве. А на другой день, когда приятель, у которого плохи дела, попросит денег взаймы, прнходншь в очеиь скверное расположеиие духа.

Но вдруг первоиачальиое мое предположенне сменилось новым, менее поэтичным, ио более жизненным. Может быть, онн поженилнсь еще до войны, до этого ужасного иесчастья с ядром, оторвавшнм ему ноги, и ей, безутешной, но покорной, прншлось принять, окружить заботамн, утешать н поддержнвать мужа, уехавшего краснвым и снльным, а вернувшегося безногнм, жалкнм обломком человека, обреченным на неподвнжность, на вспышкн бессннльной злобы н неизбежную тучность.

Счастлнв он нлн страдает? Меня охватило сначала еле ощутнмое, потом все растущее н наконец непреодолнмое желанне узнать его историю, хотя бы главнейшие ее вехн, по которым я угадал бы то, чего ои не может нлн не захочет сказать сам.

Разговарнвая с ннм, я продолжал думать об этом. Мы обмеиялнсь несколькими обыдеииыми фразами; я взглянул на сетку для вещей н стал

соображать: «У него, очевидно, трое детей: конфеты он везет жене, куклу — дочурке, барабан и ружье — сыновьям, а паштет из гусиной печенки — себе».

Я спросил его:

— У вас есть дети?

— Нет,— ответил он.

Я смутился, как будто совершил большую бестактность.

— Простите меня,— сказал я.— Мне пришло это в голову, когда ваш слуга говорил об игрушках. Ведь иной раз слышишь, не слушая, и делаешь выводы, сам того не сознавая.

Он улыбнулся, потом проговорил:

— Нет, я даже не женат. Дальше жениховства я не пошел.

Я сделал вид, будто внезапно что-то вспомнил:

— Ах!.. Правда, вы ведь были помолвлены, когда я вас знал. Помолвлены, если не ошибаюсь, с мадмуазель де Мандаль.

— Да, сударь, у вас превосходная память.

Я рискнул пойти еще дальше и прибавил:

— Да, помнится, я слышал также, что мадмуазель де Мандаль вышла замуж за господина... господина...

Он спокойно произнес фамилию:

— За господина де Флереля.

— Вот-вот! Да... Теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о вашем ранении.

Я взглянул ему в глаза — он покраснел.

Его полное, пухлое лицо, багровое от постоянных приливов крови, побагровело еще сильнее.

Он отвечал с живостью, с внезапным пылом человека, защищающего дело, которое проиграно давно, проиграно в его глазах и сердце, но которое он хочет выиграть в чужом мнении:

— Совершенно напрасно имя госпожи де Флерель произносится рядом с моим. Когда я вернулся с войны — увы, без ног!— я ни за что, никогда не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Разве это возможно? В брак, сударь, вступают не для того, чтобы демонстрировать свое великодушие! Это делают для того, чтобы жить вместе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И если человек представляет собой, как я, например, бесформенную массу, то выйти за него замуж—значит обречь себя на мучение, которое кончится только со смертью! О, я понимаю, я восхищаюсь всякими жертвами, всяким самоотвержением, если они имеют какой-то предел, но не могу же я допустить, чтобы в угоду восторгам галерки женщина пожертвовала всей своей жизнью, всеми надеждами на счастье, всеми радостями, всеми мечтами! Когда я слышу, как мои деревяшки и костыли стучат по полу у меня в комнате, когда я при каждом своем шаге слышу этот мельничный грохот, я так раздражаюсь, что готов задушить слугу. Как вы думаете, допустимо ли предложить женщине терпеть то, что не выносишь сам? И потом, как вам кажется, очень красивы мои деревяшки?

Он замолк. Что можно было сказать? Я видел, что он прав. Мог ли я ее порицать, презирать или хотя бы считать неправой? Нет. И все же... развязка, согласная с общим правилом, с обыденностью, с реальностью, с правдоподобием, не удовлетворяла моим поэтическим запросам. Обрубки героя взывали о прекрасной жертве. Мне ее не хватало, и я был разочарован.

Я его спросил:

— У госпожи де Флерель есть дети?

— Да, девочка и два мальчика. Им я и везу игрушки. Ее муж и она очень добры ко мне.

Поезд поднимался по Сен-Жерменскому откосу. Он прошел туннели, подошел к вокзалу и остановился.

Я хотел предложить свои услуги и помочь искалеченному офицеру выйти, но в это время через открытую дверь к нему протянулись две руки:

— Здравствуйте, милый Ревальер!

— А-а! Здравствуйте, Флерель.

Позади мужчины улыбалась, сияя, красивая еще женщина. Руками, затянутыми в перчатки, она делала приветственные знаки. Рядом с ней прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадными глазами смотрели на барабан и ружье, которые отец их вынимал из вагонной сетки.

Когда калека сошел на перрон, дети бросились обнимать его. Потом все тронулись в путь, и девочка доверчиво держалась ручонкой за лакированную перекладину костыля, как держалась бы за палец своего большого друга, идя рядом с ним.

ПОРТ

I

8 августа 1886 года, после четырех лет плавания, в гавань Марселя вошел трехмачтовый барк «Пресвятая Дева Путеводительница», отбывший из Гавра в китайские воды 3 мая 1882 года.

Разгрузившись в порту назначения, он немедленно заполучил там другой фрахт и направился из Китая в Буэнос-Айрес, откуда повез товары в Бразилию. Все новые рейсы, аварии, ремонты, многомесячные штили и сбивающие с курса шквалы — словом, всяческие случайности, приключения и злоключения, которые так обычны на море, долго удерживали вдали от родины этот нормандский парусник, возвращавшийся теперь в Марсель с полным трюмом американских консервов в жестяных банках.

При отплытии на борту, кроме капитана с помощником, числилось четырнадцать матросов — восемь нормандцев, шесть бретонцев. По возвращении бретонцев осталось пять, нормандцев четверо: один бретонец умер в пути, четыре нормандца исчезли при различных обстоятельствах и были заменены двумя американцами, негром и норвежцем, завербованными как-то вечером в одном из сингапурских кабаков.

Паруса взяли на гитовы, реи обрасопили, и огромное судно потащилось за марсельским буксиром, пыхтевшим впереди, на волнах, которые рябила затихавшая зыбь: ветер упал. Барк обо-

гнул замок Иф, проплыл под серыми скалами рейда, подернутыми золотистой закатной дымкой, и вошел в старый порт, где в затхлой воде слишком тесного бассейна, походя на какое-то гигантское варево и словно маринуясь в собственном соку, жмутся к длинным причалам, сталкиваются бортами и трутся друг о друга корабли всех стран, всех размеров, силуэтов и оснастки.

«Пресвятая Дева Путеводительница» ошвартовалась между итальянским бригом и английской шхуной, которые расступились, чтобы дать место сотоварищу, и капитан, выполнив таможенные и портовые формальности, отпустил две трети команды до утра на берег.

Наступили сумерки. Марсель засверкал огнями. В душном воздухе летнего вечера над шумным, по-южному веселым городом, гудящим от выкриков, грохота экипажей, щелканья бичей, поплыли чесночные ароматы местной кухни.

Как только десять матросов, которых месяцами качало на волнах, почуяли под ногами твердую землю, они парами, словно во время церковной процессии, двинулись в путь, но потихоньку, с неуверенностью людей, вырванных из родной среды, отвыкших от городской жизни.

Они шли, раскачиваясь на ходу, озираясь по сторонам и лихорадочно всматриваясь в прилегавшие к порту улочки,— моряков томил любовный голод, разлившийся у них по жилам за шестьдесят шесть дней последнего рейса. Впереди шагали нормандцы под водительством Селестена Дюкло, рослого, крепкого, продувного парня, игравшего роль главаря всякий раз, когда их увольняли на берег. Он был мастак отыскивать злачные места, учинять различные проделки и при этом избегать драк, столь частых в портах между матросами. Но если уж доходило до кулаков, он никого не боялся.

Нерешительно покружив по темным улицам, которые наподобие сточных канав сбегают к морю, отравляя воздух тяжелыми запахами — дыханием трущоб, Селестен выбрал одну из них, нечто вроде извилистого коридора, где над дверями домов висели зажженные фонари с огромными номерами на матовых цветных стеклах. Под узкими арками входов, на соломенных стульях, сидели женщины в фартуках, похожие на служанок; завидев матросов, они вставали, за несколько шагов добирались до сточной канавы, делившей улочку надвое, и преграждали дорогу веренице мужчин, которые, напевая и перешучиваясь, неторопливо приближались к ним, уже разгоряченные близостью этих тюрем, набитых живым товаром.

Порой в глубине прихожей внезапно распахивалась вторая дверь с коричневой кожаной обивкой, и оттуда выглядывала толстая полураздетая девица, чьи жирные ляжки и крупные икры рельефно вырисовывались под дешевым белым хлопчатобумажным трико. Короткая юбочка смахивала скорее на пояс бантом; дряблая грудь, плечи и руки розовым пятном выпирали из черного бархатного лифа, отделанного золотою тесьмой. Девица окликала издали: «Заходите, красавчики», а подчас выскакивала на улицу, ловила одного из матросов и что есть мочи тянула в двери, вцепившись в него, как паук в жертву, которая крупнее, чем он сам. Мужчина, возбужденный ее приставаньями, почти не сопротивлялся, а товарищи его останавливались и смотрели, не зная, то ли войти, то ли продолжать соблазнительную прогулку. Но когда женщина отчаянным усилием подтаскивала матроса к порогу дома, куда следом за ними уже готова была ввалиться вся компания, Селестен Дюкло, знавший толк в таких заведениях, неожиданно командовал:

— Назад, Маршан! Это не подойдет.

Повинуясь окрику, матрос резко вырывался, приятели гурьбой отправлялись дальше, и вдогонку им неслась непристойная брань взбешенной девки, а тем временем по всей улочке из дверей высыпали привлеченные шумом женщины и хриплыми голосами бросали морякам многообещающие приглашения.

Все больше распаляясь от заигрываний и зазываний хора привратниц любви, поджидавших впереди, и провожаемые грязными проклятиями другого хора — толпы женщин, обозленных тем, что ими пренебрегли, матросы продолжали свой путь. Время от времени навстречу им попадалась такая же публика — солдаты, побрякивающие на ходу саблями, матросы с других судов, одиночные буржуа, приказчики. Со всех сторон перед ними возникали новые улочки, освещенные подслеповатыми фонарями. Они шли и шли через этот лабиринт притонов, по липкой мостовой, где бежали зловонные ручейки, между стен, за которыми таились горы женской плоти.

Наконец Дюкло решился и, остановившись перед довольно приличным на вид домом, повел туда свою ораву.

II

Гулянка получилась отменная! Четыре часа подряд матросы вволю тешились любовью и вином. От жалованья за полгода ничего не осталось.

По-хозяйски расположившись в большом зале, где помещалось кафе, они с неприязнью поглядывали на завсегдатаев, которые устраивались за столиками по углам, куда тотчас же устремлялась одна из незанятых девиц: сперва она прислуживала клиентам, потом подсаживалась к ним.

Едва успев войти, матросы выбрали себе подружек и не расставались с ними весь вечер — простой человек перемен не любит. Они сдвинули три стола, промочили горло, и вверх по лестнице вновь потянулась процессия, ставшая вдвое многочисленней, потому что на каждого парня прибавилось по женщине. Пары долго топотали ногами по деревянным ступенькам, прежде чем узкие двери комнат поглотили нескончаемое любовное шествие.

Затем все вернулись в зал, выпили и опять пошли наверх, потом снова спустились.

Теперь моряки горланили вовсю: они были уже почти пьяны. Глаза у них налились кровью, и, усадив избранниц к себе на колени, они пели, орали, молотили кулаками по столу, лили в глотку вино прямо из бутылок — короче, выпускали на волю зверя, заключенного в человеке. Селестен Дюкло, окруженный товарищами, обнимал рослую красно-

щекую девушку, взгромозднвшуюся верхом к нему на колено, н с вожделением поглядывал на нее. Охмелев меньше других, хотя пнл он вровень со всемн, нормандец не потерял еще способностн соображать, н ему, человеку потоньше, чем остальные, хотелось поговорить. Но мысли у него путалнсь — разбегались, приходнлн вновь, опять нсчезалн, н Селестен тщетно силнлся прнпомннть, что́ нменно порывался сказать.

Он только смеялся и твердил:

— Так, так... Выходнт, ты здесь давно?

— Полгода,— отозвалась девушка.

Он одобрнтельно кнвнул, словно ее слова свндетельствовалн о хорошем поведеннн, н продолжал:

— Нравнтся тебе такая жизнь?

Она помялась, потом покорно ответила:

— Прнвыкаешь. Это не хуже прочего. Что служанка, что шлюха — работа все равно грязная.

Матрос согласнлся, виднмо, и с этой нстнной.

— Сама-то не здешняя?— спроснл он.

Она молча покачала головой:

— Приезжая?

Она кнвнула все так же молча.

— Откуда?

Девушка подумала, словно прнпомнная, н невнятно пробормотала:

— Из Перпнньяна.

Матрос по-прежнему одобрительно протянул:

— Вот оно что!

В свой черед она осведомнлась:

— Ты, похоже, моряк?

— Да, красотка.

— Ходнл далеко?

— Еще как! Навидался разных стран, портов, всякой всячины.

— Может, и вокруг света плавал?

— А как же! Не раз.

Она опять задумалась, словно стараясь восстановить в памяти что-то забытое; потом спроснла, но уже по-другому, серьезнее:

— Много встречал судов по дороге?

— Еще бы, красавнца!

— А «Пресвятая Дева Путеводнтельница» тебе случаем не попадалась?

Матрос ухмыльнулся:

— Всего лишь на прошлой неделе.

У девушкн кровь отхлынула от щёк; побледнев, она спросила:

— Правда? Это правда?

— Сущая правда.

— Не врешь?

Он поднял руку:

— Как перед богом.

— Не слыхал, Селестен Дюкло все еще на ней?

Нормандец уднвнлся, забеспоконлся н решил сначала выспросить, в чем дело.

— Ты его знаешь?

Теперь насторожнлась она.

— Нет, но тут одна женщнна с ннм знакома.

— Из вашего заведения?

— Нет, по соседству.

— С этой улнцы?

— Нет, с другой.

— Что за женщнна?

— Женщнна как женщина, вроде меня.

— Что ей до него?

— Почем я знаю? Наверно, землячка.

Онн пытлнво смотрели друг другу в глаза, уже догадываясь, что между ннми встает нечто серьезное.

— Надо бы нам с ней повидаться,— начал матрос.

— А что ты ей скажешь?

— Скажу... Скажу, что встретил Селестена Дюкло.

— Он хоть здоров?

— Как мы с тобой. Парень-то крепкнй.

Она вновь умолкла, собираясь с мыслямн, потом осторожно поинтересовалась:

— А судно это, «Пресвятая Дева», куда шло?

— Сюда же, в Марсель.

Девушка невольно вздрогнула.

— Правда?

— Конечно, правда.

— И ты знаешь Дюкло?

— Да, знаю.

Она опять задумалась, потом поннзнла голос:

— Так... Так...

— А тебе-то что до него?

— Послушай, скажи ему... Нет, не стонт.

Он смотрел на нее с растущим чувством неловкости. Наконец решнл узнать все.

— Ты тоже его знаешь?

— Нет,— возразила она.

— Тогда что тебе до него?

Неожнданно она собралась с духом, вскочнла, подбежала к стойке, за которой восседала хозяйка, схватнла лнмон, срезала верхушку н выжала сок в стакан; затем долнла стакан водой н прннесла матросу.

— На, выпей.

— Это еще зачем?

— Чтобы хмель прошел. А после потолкуем.

Он послушно выпил, отер губы рукой н объявнл:

— Готов. Слушаю.

— Обещай ннчего ему не говорнть — нн что меня видел, ни от кого узнал то, что я сейчас скажу! Покляннсь!

Он ухмыльнулся н поднял руку.

— В этом, нзволь, клянусь.

— Как перед богом?

— Как перед богом.

— Так вот, передашь ему, что его отец, мать н брат померлн от тнфа трн с половнной года назад, в январе восемьдесят третьего. Все трое в однн месяц.

Он почувствовал, как внутрн у него все похолодело, н на мннуту растерянно замолчал, не зная, что сказать; потом все-такн засомневался и спроснл:

— Ты это точно знаешь?

— Точно.

— От кого?

Она положнла ему рукн на плечи н посмотрела в глаза.

— Я его сестра.

— Франсуаза!— непронзвольно вырвалось у парня ее имя.

Она опять уставнлась на него, потом, вне себя от ужаса н отчаянья, чуть слышным шепотом, почтн не разжнмая губ, выдавнла:

— О-ох! Ты — Селестен?

И онн замерли, глядя друг другу в глаза.

Вокруг надсажнвалнсь товарнщн Селестена. Дребезжанье стаканов, грохот кулаков по столу, топот ног, отбнвающнх такт, н пронзнтельный внзг женщнн вторилн ревущему хору.

Матрос чувствовал ее рядом с собой — теплая, перепуганная, она прнжалась к нему. Его сестра! И, боясь, как бы его не подслушалн, тнхо, так тихо, что даже она еле разобрала слова, он вымолвнл:

— Вот беда! Что же я натворнл!

На глазах у нее мгновенно взбухлн слезы.

— Разве я вннована?— пробормотала она.

Неожнданно он переспроснл:

— Значнт, померлн?

— Померлн.

— И отец, н мать, н брат?

— Я же сказала: все трое в однн месяц. Я осталась в чем была, одна, без гроша: все вещн прншлось распродать — я ведь задолжала доктору, в аптеку н за трое похорон. Тогда я нанялась в услуженне к господнну Каше — помнншь, хромой такой? В ту пору мне как раз пятнадцать стукнуло; когда ты уходнл, мне еще четырнадцатн не было. С Каше я согрешнла: в молодостн все мы дуры. Потом я пошла в прнслугн к нашему нотарнусу. Этот тоже сбнл меня с путн, снял мне комнату в Гавре, но скоро перестал навещать. Трн дня я просндела не евшн, работы ннкакой не нашла н поступнла в однн дом, вроде здешнего,— я же не первая. Эх, н помотало меня по разным местам, да какнм еще скверным! Руан, Эвре, Лнлль, Бордо, Перпнньян, Ннцца, теперь вот Марсель.

Слезы бежалн у нее нз глаз, капалн с носа, залнвалн щекн, стекалн в рот.

— Я думала, ты тоже помер, бедный мой Селестен.

— Что я тебя не прнзнал — это не днво: тогда ты была совсем девочка, а сейчас вот какая вымахала! Но ты-то как могла меня не прнзнать?

Она с отчаяньем махнула рукой.

— Для меня все мужчины на одно лнцо — я нх столько внжу!

Он по-прежнему смотрел ей в глаза, охваченный волненнем, неясным, но такнм снльным, что ему хотелось закрнчать, как ребенку, которого бьют. Обняв за плечн девушку, сндевшую верхом у него на колене, он все еще прнжнмал ее к себе. И вот, вглядываясь, он наконец узнал в ней сестренку, которую оставнл в родном краю с темн, кто умер у нее на руках, пока его носнло по морям. Он обхватнл здоровенными матросскнмн ручнщамн голову вновь обретенной сестры н прннялся целовать ее, как целуют лншь свонх кровных. А затем, подобно пьяной нкоте, нз грудн у него вырвалнсь рыдання, тяжелые мужскне рыдання, нетороплнвые, словно валы в море.

— Это ты, Франсуаза? Ты, малышка моя?— всхлнпывал он.

Вдруг он вскочил, оглушнтельно выругался и так грохнул кулаком по столу, что стаканы попадалн н разбнлнсь. Потом сделал шаг, другой, зашатался, взмахнул рукамн, рухнул ннчком н стал кататься по полу, колотя рукамн н ногамн с крнком н стонамн, похожнмн на предсмертный хрнп.

Прнятелн воззрнлнсь на Селестена н захохоталн.

— Ишь, налнзался!— броснл однн.

— Уложнть его надо,— вступнлся другой.— На улнце его сразу сцапают.

В карманах у парня нашлнсь деньгн, поэтому хозяйка предложнла кровать, н товарнщн, еле держась на ногах, втащнлн его по узкой лестннце в комнату к женщнне, которая только что отдавалась ему, а теперь до утра просидела на стуле у преступного ложа, плача так же безутешно, как он.

СОДЕРЖАНИЕ

Пышка. *Перевод Е. Гунста* 3
Папаша Снмона. *Перевод А. Ясной* 17
Мадмуазель Фнфн. *Перевод Н. Касаткиной* 20
Плетельщнца стульев. *Перевод А. Ясной* 24
Лунный сает. *Перевод Н. Немчиновой* 27
Наследство. *Перевод Л. Коган* 29
Вереаочка. *Перевод Л. Слонимской* 55
Гарсон, кружку пнаа!.. *Перевод А. Поляк* 57
Дядя Жюль. *Перевод А. Кулишер* 59
Старуха Соваж. *Перевод Н. Касаткиной* 62
Прнзнанне. *Перевод Н. Аверьяновой* 65
Ожерелье. *Перевод Н. Дарузес* 67
Ннщнй. *Перевод О. Холмской* 70
Правднвая нсторня. *Перевод В. Мозалевского* 71
Исповедь. *Перевод В. Мозалевского* 73
Туан. *Перевод Н. Дарузес* 75
Господнн Паран. *Перевод И. Татариновой* 78
Зверь дядн Бельома. *Перевод Н. Дарузес* 92
Дуэль. *Перевод Н. Касаткиной* 94
Однссея простнтуткн. *Перевод Н. Жарковой* 96
Бесполезная красота. *Перевод А. Ромма* 98
Калека. *Перевод А. Ромма* 105
Порт. *Перевод Ю. Корнеева* 107

Мопассан Ги де.

М78 Пышка. Новеллы. Пер. с фр. Худож. Д. Бисти.— М.: Худож. лит., 1987.— 111 с.

В сборник вошли новеллы выдающегося французского писателя Ги де Мопассана (1850—1893) о франко-прусской войне, об аморальности буржуазии, о бездуховности обывательских будней, о трудной жизни крестьян, о любви.

М $\frac{4703000000-274}{028(01)-87}$ КБ-55-11-86 **ББК 84.4Фр**

ГИ ДЕ МОПАССАН
ПЫШКА. НОВЕЛЛЫ

Редактор *М. Воксмахер*

Художественный редактор *А. Моисеев*

Технический редактор *Л. Витушкино*

Корректоры *И. Мокаревич, Л. Лобоново*

ИБ № 5166

Сдано в набор 17.10.86. Подписано в печать 05.01.87. Формат 60×84 1/8. Бумага книжно-журнальная № 2. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,06. Усл. кр.-отт. 13,99. Уч.-изд. л. 16,0. Заказ 4549. Изд. № 1-2674. Тираж 1 500 000 (2-й завод 500001—1000000) экз. Цена 1 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена «Знак Почета» типография изд-ва «Московская правда», 123845, ГСП, Москва, Д-22, ул. 1905 года, д. 7

1 р. 30 к.

